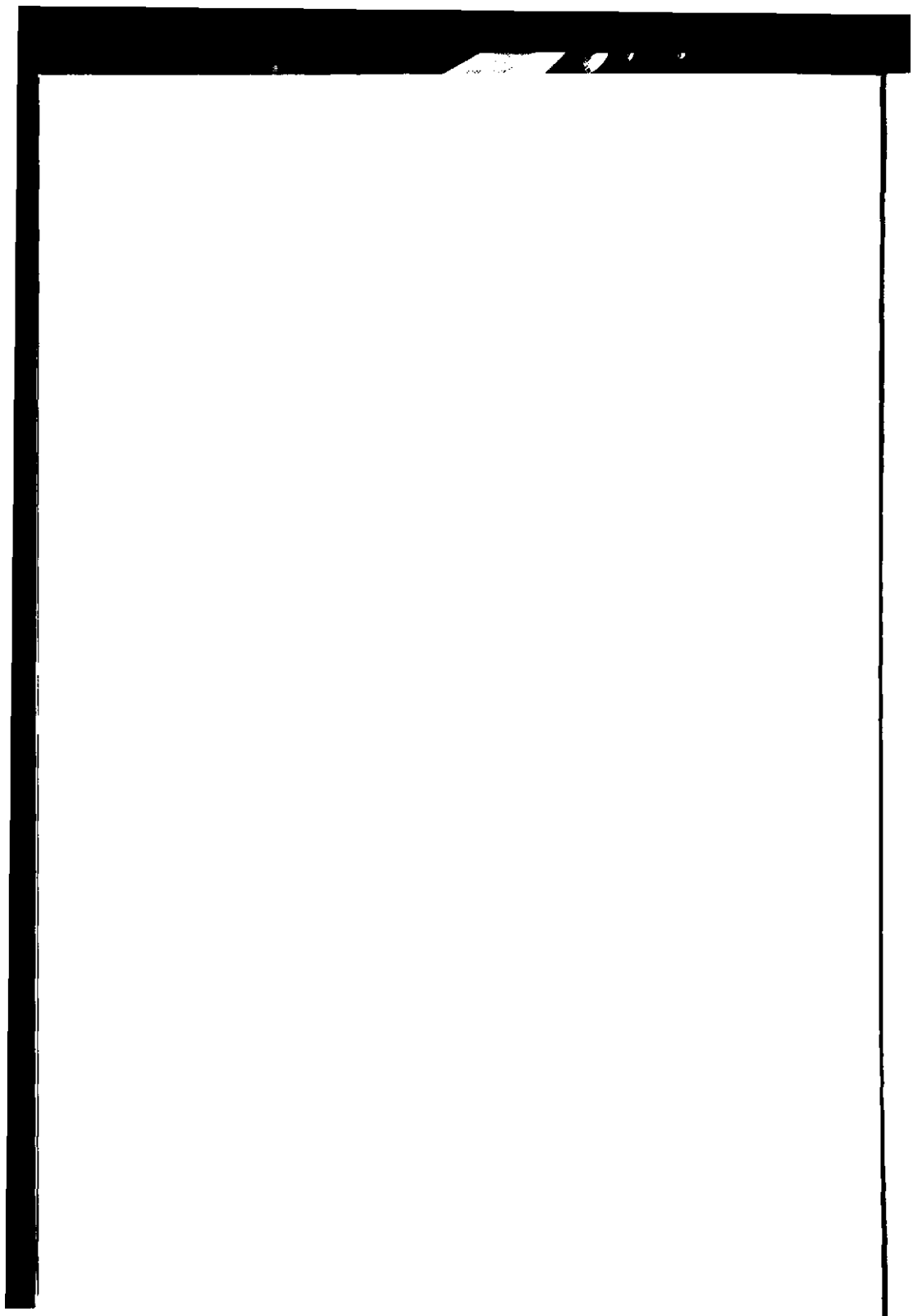


Н.Ф. Алефиренко

«ЖИВОЕ» СЛОВО

Проблемы
функциональной
лексикологии

ФЛИНТА • НАУКА



Н.Ф. Алефиренко

«ЖИВОЕ» СЛОВО

**Проблемы
функциональной лексикологии**

Монография

Москва
Издательство «Флинта»
Издательство «Наука»
2009

УДК 811.161.1
ББК 81.2Рус-3
А48

Рецензенты:

д-р филол. наук, профессор Университета Дружбы народов
В.М. Шаклеин
профессор Университета им. Палацкого в Оломоуце (ЧР)
Л.И. Степанова

Алефиренко Н.Ф.

А48 «Живое» слово: Проблемы функциональной лексикологии: монография / Н.Ф. Алефиренко. — М.: Флинта : Наука, 2009. — 344 с.
ISBN 978-5-9765-0852-1 (Флинта)
ISBN 978-5-02-037174-3 (Наука)

В монографии рассматриваются проблемы становления когнитивно-семиологической теории «живого» слова в рамках взаимодействия языка, познания и культуры. Разрабатываются ее методологические принципы, категории и методы. Определяются синергетические истоки сопряженного кодирования культурно-исторического опыта средствами языка и мышления.

Для лингвистов-исследователей, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов старших курсов.

УДК 811.161.1
ББК 81.2Рус-3

ISBN 978-5-9765-0852-1 (Флинта)
ISBN 978-5-02-037174-3 (Наука)

© Алефиренко Н.Ф., 2009
© Издательство «Флинта», 2009

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Когнитивно-семиологическая природа «живого» слова	11
1.1. Что такое «живое» слово?	11
1.2. Методологические основы когнитивно-семиологического исследования «живого» слова	28
1.2.1. Этноязыковая природа концепта как «живого» понятия	29
1.2.2. Принципы исследования «живого» слова	39
1.3. Теоретические предпосылки исследования «живого» слова	43
1.4. «Живое» слово и его дискурсивная среда	61
1.5. «Языковая картина мира» и этнокультурная специфика «живого» слова	65
1.6. Языковое сознание: миф или реальность?	71
1.7. Концепт и «живое» слово	74
Глава 2. «Живое» слово в познании мира	77
2.1. Проблема взаимоотношения языка и познания в системно-структурном и когнитивном измерениях	77
2.2. Язык как средство репрезентации знаний	84
2.2.1. Информация и знание	84
2.2.2. Познание и знакообразование	86
2.2.3. Что такое вербальный знак?	89
2.3. Знаки языка и знаки речи	90
2.3.1. Семиотические противоречия	90
2.3.2. Биопсихические механизмы знакообразования	97
2.4. Соотношение когнитивных и языковых категорий	101
2.4.1. Концепт и языковое значение	103
2.4.2. Языковое сознание как когнитивно-семиологическая категория	108
2.5. Синергетика культурного концепта и знака в системе языка и тексте	147
Глава 3. Когнитивно-дискурсивная энергия «живого» слова	166
3.1. Метафорическая синергетика «живого» слова	167
3.2. Культурно-когнитивные модели возникновения «живого» слова	175
3.2.1. Нейролингвальные механизмы формирования когнитивной метафоры	176
3.2.2. От когнитивной метафоры — к «живому» слову	179

3.3. Типы когнитивной метафоры в эволюционной истории «живого» слова.....	190
3.4. Когнитивная энергия метафоры	212
3.5. Когнитивно-номинативные уровни порождения и восприятия метафоры	214
3.6. Когнитивно-семасиологическая интерпретация внутренней формы языкового знака	226
Глава 4. Дискурсивное пространство «живого» слова	237
4.1. Дискурсивные истоки «живого» слова.....	237
4.2. Дискурсивная синергетика «живого» слова	247
4.3. Дискурсивные смыслы «живого» слова.....	253
4.4. Дискурсивная стилистика «живого» слова.....	263
4.5. «Живое» слово и речевой жанр.....	271
Глава 5. «Живое» слово в языковой картине мира	285
5.1. «Языковая картина мира» и этнокультурная специфика «живого» слова.....	285
5.2. «Живое» слово и поэтическая картина мира	294
5.3. «Живое» слово, когнитивные структуры и языковое сознание	300
5.4. «Живое» слово и этнокультурные константы языкового сознания	306
5.5. Значение и поэтический смысл «живого» слова.....	310
Заключение	316
Литература	323

ВВЕДЕНИЕ

Новые парадигмы современного языкознания, окончательно укрепив свои позиции в лингвистике XXI века, предполагают не столько *взаимодополнение*, сколько глубинное, имплицитное *взаимодействие* лингвистики, психологии и культуры на уровне общей методологии и частных методик. В когнитивной психологии рано стали осознавать, что получение новых знаний об устройстве мозга и структуре человеческой психики возможно только в результате интеграции креативного потенциала разных наук. Особо тесными оказались взаимосвязи между когнитивной психологией и искусственным интеллектом. Положение о том, что «интеллект — средство переработки информации», стало аксиомой. Но и в этом своём статусе оно не ослабляет полемического накала в вопросе о невидимом Зазеркалье: при помощи каких механизмов полученная информация обрабатывается, в какой когнитивной «упаковке» локализуется в нашем сознании и благодаря чему превращается в «живое» слово?

«Ответственными» за познавательные и исполнительные процессы определены кратковременная и долговременная память (Т.П. Зинченко, Дж. Сперлинг, Р. Аткинсон). Данное направление в когнитивной психологии обосновывает важное для когнитивной лингвистики положение о том, что в повседневном поведении субъекта определяющая роль принадлежит не просто знанию (У. Найссер, А.А. Залевская), а знанию «живому» (Г.Г. Шпет). Такой подход в теории взаимодействия языка и познания стал настолько значимым, что метафорические словосочетания «живое знание» и «живое» слово на глазах превращаются в терминологические (М.М. Бахтин), выражающие вполне определённые научные понятия (см. главу 2). В связи с этим в ряду первоочередных оказались проблема *внутренней репрезентации знания* и способы отражения мира в сознании человека, получившие название *ментальных репрезентаций* (Д.Р. Андерсон, У. Найссер, Р.Л. Солсо). В настоящий период развития когнитивной науки названные три процесса одинаково значимы и для когнитивной психологии, и для когнитивной лингвистики.

Вместе с тем для успешного становления когнитивно-семиологической субпарадигмы важно поставить вопрос о том, чем должны

или не должны заниматься лингвисты в отличие от психологов. При этом следует помнить, что даже в недалеком прошлом нашей науки не было четкой дифференциации их предмета. Поэтому нет ничего удивительного, что когнитивно-семиологическая теория «живого» слова опирается, в частности, на деятельностьную концепцию Л.С. Выготского. Ее фундаментальные положения позволяют выделить основные для когнитивно-семиологической теории «живого» слова векторы взаимоотношения личности, знака и культуры.

1. Культурно-исторический генезис человеческой психики обусловлен средой. Следовательно, когнитивные процессы находятся в известной корреляции с лингвокультурной средой.

2. Культурный знак как производный феномен генезиса человеческой психики является важной составляющей структуры социальной личности, этнокультурную сущность которой определяют интериоризованные в ней социально значимые ценностно-смысловые отношения.

3. Вместе с культурным знаком в процессе социализации личности человека и формирования его сознания возникает феномен значения. Значение выступает формой существования сознания. Оно может быть представлено как значение слова и как значение предмета. С одной стороны, значение — основное свойство знака, а с другой, — конституирующий элемент сознания.

4. Значение есть динамическое обобщение знаний, восходящих своими корнями к предметно-чувственному (культурно-историческому) опыту. С точки зрения когнитивной семантики сущность семантического развития слова заключается в изменении внутренней структуры обобщения, обусловленной изменениями в ценностно-смысловой парадигме данного этнокультурного сообщества.

5. Главная функция значения — смыслообразование. Смысл — это содержание не закрепленного за знаком значения. Именно смыслообразующие возможности значений приводят к смысловому структурированию самого сознания. В этой связи целесообразно вспомнить афористическое суждение А.А. Потебни: «...Язык мыслим только как средство <...>, видоизменяющее создание мысли; <...> его невозможно было бы понять как выражение готовой мысли» (Потебня А.А., 1999: 307).

6. Предметное значение генетически связано с языковым значением. Вербальное значение первично, предметное — вторично.

7. Чтобы быть знаком вещи, слово должно иметь опору в свойствах обозначаемого объекта. В дискурсивной деятельности человека значение освобождается от власти конкретного предмета как элемента ситуации.

8. Благодаря знаку возникает опосредованная форма владения культурно значимым предметом.

9. В культурно-историческом генезисе человеческой психики постепенно вещь замещается значением слова, в результате чего значение вещи отрывается от реальной вещи и возникает новое явление — смысловое пространство.

10. Слово биполярно: в дискурсе оно интегрирует словесное и предметное значения.

Когнитивная лингвистика создавалась не с чистого листа. Она формировалась не одно столетие благодаря деятельности яркой плеяды философов языка, их огромной основополагающей для становления менталингвистики работе. Особенно плодотворной она была в XIX веке (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь, А.А. Потебня и др.), когда взаимоотношения языка и мысли находились в эпицентре научного поиска философов, психологов и лингвистов. В современном виде когнитивная лингвистика, конечно же, отличается от традиционной менталингвистики и своей методологией, и категориально-понятийным аппаратом. И всё же ее специфика не в утверждении нового предмета изучения или необычного поискового алгоритма. **Отличительная черта когнитивной лингвистики обуславливается специфическим методологическим сдвигом и заключается в разработке новых эвристических программ.** Это связано с общелингвистическим интересом к и м п л и ц и т н ы м, недоступным непосредственному наблюдению явлениям, к их теоретическому и гипотетическому моделированию.

Главным условием возникновения когнитивно-семиологической теории «живого» слова стало устранение структуралистских ограничений в исследовании влияния экстралингвистических факторов на формирование семантической структуры языкового знака и утверждение постулатов лингвистического постмодернизма. Стало приемлемым несовместимое со структурализмом положение

о том, что языковые факты могут быть, по крайней мере отчасти, объяснены фактами *неязыковой* природы, притом необязательно наблюдаемыми.

Таковыми явлениями экстралингвистического характера, подлежащими гипотетическому моделированию, в когнитивной лингвистике стали когнитивные структуры: (а) *фрейм* М. Минского (в лингвистике эта структура получила «постоянную прописку» благодаря работам Ч. Филлмора); (б) идеализированная *когнитивная модель* Дж. Лакоффа; (в) *ментальные пространства* Ж. Фоконье и т.д. Однако всё это недоступные непосредственному наблюдению феномены. Эксплицируются они только в процессе исследования *речевой* деятельности.

Прежде всего переосмысления требует один из основных постулатов постсоссюровской лингвистики о системности языка: *каждый язык представляет собой не только и не столько статическую систему, фиксирующую результаты отражения внешнего мира в качестве его адекватной семантической модели, сколько систему функционально-коммуникативную*. Ведь даже в системном своем состоянии язык представляет собой функционирующую и развивающуюся систему. И в этом плане он является не только структурно-системным, но, и — это важнейшая его ипостась, — *динамическим* когнитивно-семиологическим образованием.

Всё это предполагает поиск такого методологического принципа когнитивно-культурологического исследования, который бы адекватно воспроизводил диалектически сложную природу языка как *деятельностной* системы. Базовыми категориями в данном исследовании являются: «когниция», «когнитивная структура», «концепт» и «дискурс».

Когниция — термин, связанный с первым понятием, заимствован из англоязычной лингвистики. По своему содержанию он лишь частично соответствует русскому термину *познание* (ср.: Шестаков Л.А., 2006: 126), поскольку кроме одноименного понятия включает еще и *знание*. Термин *когниция*, таким образом, означает и 1) сам познавательный процесс (причем *обыденный* процесс получения информации, знаний, их категоризации, концептуализации и преобразования, запоминания, извлечения из памяти, использования в речемыслительной деятельности), и 2) результаты этого процесса — знания (ср.: Болдырев Н.Н., 2002: 9). В когниции многие

психические процессы протекают в синергетическом взаимодействии. Восприятие, понимание, интерпретация, воображение и речь «работают» здесь в органическом единстве.

Когнитивная структура — это способ представления знаний, их своеобразная упаковка в нашем сознании. Таковыми являются представление, образ, концепт, гештальт, фрейм и др.

Концепт — особым способом структурированное содержание акта сознания, воплощение в содержательной форме образа познаваемого предмета. Это своего рода энграмма (осадок в памяти) мысленно сформулированного образного содержания, коллективный архетип культуры, и в этом своем существовании служит оперативной единицей мышления (Е.С. Кубрякова). Существует мнение, что концепт — понятие инвариантное, которое реализуется в таких своих разновидностях, как гештальт, фрейм, сценарий и в некоторых других когнитивных структурах.

Дискурс — сложное когнитивно-коммуникативное явление, в состав которого входит не только сам текст, но и различные экстралингвистические факторы (знание мира, события, мнения, ценностные установки), играющие важную роль в понимании и восприятии информации. Чаще всего выделяют два основных направления в лингвокогнитивном исследовании дискурса — (а) структуры представления знаний и (б) способы его концептуальной организации.

Категориальная сущность дискурса достаточно репрезентативно раскрывается уже одним перечислением таких его элементарных составляющих, как излагаемые события, участники этих событий, перформативная информация и «не-события», т.е. обстоятельства, сопровождающие события, фон и ценностно-смысловые оценки участников события и т.п. Ценностно-смысловые отношения между концептуальными элементами дискурса вводят когнитивно-дискурсивные исследования в сферу лингвокультурологии.

Представленные выше определения позволяют рассматривать данные категории не только как системные образования. Будучи категориями речемыслительными, они наполнены функциональными и динамическими составляющими лингвокультуры, что свидетельствует об их бинарности. С одной стороны, эти понятия, несомненно, относятся к сфере когнитивной семантики, а с другой — к семантике контекстуально-функциональной, являющейся предметом семиологии.

Существует убедительная точка зрения, согласно которой язык и дискурс неразделимы <...>. Вместе с тем на начальном этапе своего возникновения различение этих понятий, восходящее к Соссюру (в виде пары «язык / речь»), было достаточно целесообразным. Оно дало импульс развитию семиологии как научной дисциплины. Однако здесь важно отмежеваться от соссюрковского понимания семиологии как науки о знаках вообще. Ученый писал: «... можно представить себе науку, изучающую жизнь знаков в рамках жизни общества <...> мы назвали бы ее *семиологией* (от греч. *semeion* — знак). Она должна открыть нам, что такое знаки, и какими законами они управляются... Лингвистика — это только часть этой общей науки» (Соссюр де Ф., 1977: 54). Как видим, у Соссюра семиология — синоним семиотики. Мы же данный предмет изучения оставляем за семиотикой (наукой о знаках, как определил ее основоположник — Ч.У. Моррис), а семиологией называем тот раздел лингвистики, который изучает закономерности использования языковых знаков в речи и, шире, в дискурсивной деятельности человека. При этом важно подчеркнуть, что дискурсивная деятельность может осуществляться только благодаря сложнейшему механизму взаимодействия языка и речи.

Действительно, дискурсивное пространство определенным образом регламентировано и находится во взаимодействии с системой языка: *язык перетекает в дискурс, дискурс — обратно в язык*. По образному выражению А.-Ж. Греймаса, они как бы держатся друг под другом, словно ладони при игре в жгуты. Ученый полагает, что разграничение языка и дискурса является промежуточной операцией, от которой в конечном счете подлежит отречься. Семиология суждено было бы стать работой по собиранию побочных, ценностно-смысловых продуктов языковой деятельности — продуктов, которые суть не что иное, как желания, страхи, гримасы, угрозы, посулы, ласки; мелодии, досады и извинения в их этнокультурологическом ракурсе, из которых и складывается язык в действии, или дискурсивная деятельность. Подобное определение, не будем отрицать, страдает сугубо личностным восприятием языка в действии. Однако в нем сконцентрирована суть взаимоотношения языка, дискурса и когниции. Наличие между ними ценностно-смысловых отношений позволяет говорить об их лингвокультурологической сущности.

Г л а в а 1

КОГНИТИВНО-СЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА «ЖИВОГО» СЛОВА

1.1. Что такое «живое» слово? 1.2. Методологические основы когнитивно-семиологического исследования «живого» слова. 1.2.1. *Этноязыковая природа концепта как «живого» понятия*. 1.2.2. *Принципы исследования «живого» слова*. 1.3. Теоретические предпосылки исследования «живого» слова. 1.4. «Живое» слово и его дискурсивная среда. 1.5. «Языковая картина мира» и этнокультурная специфика «живого» слова. 1.6. Языковое сознание: миф или реальность? 1.7. Концепт и «живое» слово.

В начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог.
Библия

1.1. Что такое «живое» слово?

Метафорический термин «*живое*» слово принадлежит Г.Г. Шпету и М.М. Бахтину. По сути, к идее его создания причастны лучшие представители разных наук: лингвисты (В. Гумбольдт, А.А. Потебня, Б.М. Гаспаров, А.А. Уфимцева), философы (П.А. Флоренский, М.К. Мамардашвили, Ю.М. Лотман, Дж. Остин, Х. Ортега-и-Гассет), психологи (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.А. Бернштейн, Н.Н. Волков, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюк) и художники слова (О. Мандельштам, А. Белый, Н. Гумилёв и др.). Столь непривычная для науки номинация возникла по аналогии с такими метафорическими терминами, как «*живое*» знание (заинтересованное, пристрастное), *живое* действие (немеханическое — одухотворённое) и т.п.

Понятие «живое знание», пожалуй, впервые наиболее востребованным оказалось для практики обучения. Отечественные мэтры

теории образования были убеждены в том, что в перспективе развития образования достойное место должно занять живое знание, которое ни в коем случае не является оппозицией научному, ядерному, программному знанию. Более того, оно должно опираться на эти виды знания, служить их предпосылкой и итоговым когнитивным продуктом. Живое знание отличается от мёртвого тем, что оно не может быть усвоено, оно должно быть построено. Построено так, как строится живой образ, живое слово, живое движение, живое, а не мертвое, механическое действие. Почему именно *живое знание*? Потому что в нем слиты значение и укорененный в бытии личностный, аффективно окрашенный смысл. От характеристики смысла как бытийного и ненаблюдаемого образования имеется ход к проблеме смысла жизни (бытия), который полностью невыразим в значениях. В то же время каждая не пустая мысль, если таковая возможна, есть, по словам Г.Г. Шпета, мысль о смысле. Поэтому-то и мысль предметна, бытийна.

Иначе говоря, понятие смысла выражает укоренённость индивидуального сознания в личностном бытии человека (эта мысль формулировалась Г.Г. Шпетом), а понятие значения — подключённость этого сознания к сознанию общественному, к к у л ь т у р е. Конечно, если быть правдивым до конца, то следует признать: в этом положении нет ничего принципиально нового. Но, будучи высказанным по поводу сознания, оно как-то незаслуженно оставалось в тени и в педагогической психологии, ориентирующей образовательные программы почти исключительно на фундаменте знания, значения, понятия, и в языкознании, в течение веков придерживающегося картезианской философии рационализма.

Как образованию нужно живое слово, так психологии нужно живое знание, а лингвистике — живое слово. Психологу непросто раскрыть в слове образ человека. Поэту трудно выразить в слове образ мира. Читателю не менее сложно за словом увидеть образ, если он попытается узнать себя в описаниях психологов и лингвистов. Современный прозаик Дина Рубина по этому поводу (с позиций автора и носителя языка) пишет: «Первородный смысл слова накладывается на похожее звучащее, но подчас противоположное по смыслу слово другого языка — так два случайно наложенных друг на друга кадра (техническая неисправность фотоаппарата) образу-

ют некую фантастическую картинку. С детства отлитые в золотую форму воображения контуры слова расплываются, образуя дополнительные зрительные, слуховые и ассоциативные обертоны. Рождается странный гибрид другого измерения, влачащий за собою длинный шлейф иносмысловых теней...» (Д. Рубина).

«Первородный» смысл слова, как следует из этого пассажа, не только и не столько рационален, сколько одухотворён, как сказал бы В. фон Гумбольдт, окутан ореолом народного духа. Живое познание и культура — два источника возникновения и существования «живого» слова. Поэтому изучение «живого» слова только с позиций рациональной лингвистики заранее обречено. Как справедливо полагают психологи, наука, исследующая разум и оставляющая за рамками изучения дух, не имеет шансов разобраться и в разуме (В.П. Зинченко, Б.М. Величковский, Дж.Р. Андерсон и др.). Максимум, на что она способна, это прийти к искусственному, или, что то же самое, — к «инвалидному» интеллекту (выражение В.П. Зинченко), поскольку она игнорирует действительную *природу разума как механизма реализации духа*.

Принимая данный постулат в качестве краеугольного камня когнитивно-семиологической теории «живого» слова, мы тем самым обосновываем её культурологическую составляющую. Культура — синергетический продукт троичного взаимодействия разума, духа и «живого» слова. Пожалуй, лучшим образцом такого понимания культуры и в наше время остаётся афористическое размышление Г.Г. Шпета. Для когнитивно-семиологической теории «живого» слова оно является базовым, поскольку культура в нём — это культ разума, это рождение, преобразование и возрождение духа, т.е. то, без чего невозможно «живое» слово.

Вдумаемся в суждения Г.Г. Шпета: «Только дух в подлинном смысле реализуется, — пусть даже материализуется, воплощается, воодушевляется, т.е. осуществляется в той же природе и душевности, но всегда возникает к реальному бытию в формах культуры. Природа просто существует, душа живет и биографствует, один дух наличествует, чтобы возникать в культуру, ждет, долго терпит, надеется, все переносит, не бесчинствует, не превозносится, не ищет своего... Дух — не метафизический Сезам, не жизненный эликсир, он реален не “в себе”, а в признании. “В себе” он *только* познает-

ся, он *только* идея. Культура, искусство — реальное осуществление, творчество. Дух создается. Без стиля и формы — он чистое и отвлеченное небытие... Дух ждать не устанет, он переждал христианство, переждет и теперешний послехристианский разброд. Но мы-то сами, конечно, уже устали. Недаром умы наших современников иссушаются восточной мудростью, недаром нас оглушает грохот теософической колесницы, катящей жестокую Кали, недаром беснуются ее поклонники, душители разума. Это их последнее беспование» (Шпет Г.Г., 1994: 359).

Из столь страстного пассажа следует, что когнитивной основой «живого» слова является живое знание, формирующееся на взаимосвязях образования, науки и культуры. Причём культура в разных её проявлениях на столетия опережает науку в познании природы и сущности всего живого. С этим можно соглашаться, можно спорить. И дело даже не в когнитивных приоритетах, фокус внимания здесь необходимо перенести на более значимую для теории «живого» слова мысль. Использование в культуре образного, а значит и «живого» слова, точнее о-сознание специфики мировидения и миропонимания, **порождает иное знание**. Это убедительно показала в своей докторской диссертации С.В. Ракитина, исследуя терминотворчество В.И. Вернадского. Так, словосочетание *живое вещество* сначала использовалось учёным как метафора. По мере становления «живого понятия» метафора превращалась в научный термин. С.В. Ракитина пишет: «Понимая, что идёт новыми путями в науке о Земле, учёный стремился уточнить имеющиеся и ввести новые обозначения для рассматриваемых понятий» (Ракитина С.В., 2007:). На основе изложенного о понятии «живое вещество» он заявляет: «*В связи со всем этим в явления жизни я ввёл вместо понятия “жизнь” понятие “живого вещества”, сейчас, мне кажется, прочно утвердившееся в науке*» (Вернадский В.И., 1965: 324). Наука, выстроенная на принципах картезианской философии, расчленяет, дробит мир на мелкие осколки, из которых весьма сложно воссоздать целостную картину. Особенно она преуспела в своей дезинтегративной деятельности, изучении человека. Культура же и рождённое в её анналах «живое» слово сохраняют мир в его первородной целостности. Они-то действительно и побуждают науку (прежде всего науку о языке) моделировать целостный, неосколочный мир.

В свете сказанного В.П. Зинченко в книге «Психологическая педагогика» Ч. 1. «Живое знание». 2-е изд. Самара, 1998) делает ещё один шаг. По его мнению, любое понятие, будь оно эмпирическим обобщением или теоретическим, если оно усвоено, становится живым органом. Понятие, сформированное и усвоенное на уровне обыденного опыта, обеспечивает непосредственное рациональное восприятие «внешности» предметного мира, реальности и т.п. Понятие, усвоенное на теоретическом уровне, обеспечивает столь же непосредственное восприятие, созерцание «внутреннего» в познаваемом мире. Созерцание как итог теоретического мышления — это видение изнутри, инструментом которого является живое понятие.

Сделаем необходимые нам акценты: видение извне в эмпирическом мышлении опосредованно «живым» словом, а видение изнутри в теоретическом мышлении опосредованно «живым» понятием. К пониманию «живого» восприятия мира, конечно же, прежде всего в мире культуры, стремились художники. Им необходимо освоить троичную ипостась воссоздаваемого мира: «живое» понятие — «живое» слово — «живой» образ. Об этом устремлении писал в своём Завещании японский художник Катсусико Хокусаи (1760—1849). В предисловии к «100 видам Фудзи», написанном за 15 лет до смерти, он обозначил свой долгий путь к живому образу: «С 10 лет мной овладела мания зарисовывать формы предметов. К возрасту 50 лет я опубликовал бесчисленное количество рисунков, но все что я сделал до 70 лет, не стоит считать. Только в возрасте 73 лет я понял приблизительно строение истинной природы, животных, трав, деревьев, птиц, рыб и насекомых. Следовательно, к 80 годам я достигну ещё больших успехов; в 90 лет я проникну в тайны вещей, к 100 годам я сделаюсь прямо чудом, а когда мне будет 110 лет, то у меня каждая точка, каждая линия — все будет живым. Я прошу тех, кто проживет столько же, как я, посмотреть, сдержал ли я свое слово» (цит. по: Денике Б.П. 1936: 123). Художник здесь ретроспективно показал путь от живого живописного действия к живому знанию.

Если говорить словами Г.Г. Шпета, к концу жизни у него сформировались поэтические органы чувств. Подобный путь преодолевает также любой художник слова. Только троичная ипостась воплощаемого в слова мира у него представлена четырёхкомпо-

нентным рядом и в несколько иной последовательности: «живое» знание — «живое» понятие — «живой» образ — «живое» слово. Раскрыть тайну их синергетики в процессе речевой деятельности человека — основная задача когнитивно-семиологической теории «живого» слова. В решение этой проблемы важный вклад сделал Г.Г. Шпет, считавший слово архетипом культуры. В развитие этой мысли можно высказать гипотезу о том, что осмысленное живое слово следует признать одновременно генотипом и фенотипом живого знания. Оно представляет не простоместилище для некоторого содержания, пусть даже с открытыми связями с другими понятиями и представлениями. «Живое» слово принципиально неисчерпаемо. Его смысловое содержание, как и смыслы высокой культуры, скрыто от поверхностного взгляда. Примером тому может служить слово *канон*. Возникло оно в греческой «живой» языковой стихии, хотя и было заимствовано греками из семитской языковой среды: *канон* — камыш, тростник. Затем слово *канон* стало означать 'прут, сделанный из тростника или камыша', позже — просто прямой шест, прямую палку, служащую как для опоры, так и для измерения, проведения прямой линии. Со временем оно стало употребляться в значении 'схема'. Далее в порядке возникновения переносных значений слово стало использоваться для обозначения меры, определяющей направление (отвес, линейка для графления у писца), затем приобретает абстрактное значение — 'правило, норма, мера, образец'.

Как видим, осмысленное живое слово действительно является одновременно генотипом и фенотипом живого знания. Слово *канон*, пройдя путь «от камыша — к образцу», теперь выражает абстрактные понятия, в которых нет и в помине даже намёка на камыш; все о нем уже давно забыли. Так, как бы очищаясь от оболочки прикладного смысла, в слове *канон* словно сублимировалось абстрактное значение. Во множественном числе (*канонес*) это слово приобрело значение 'таблицы'. Таблицы могли быть разными: математическими, хронологическими, астрономическими. Но всё же у них было общим то, что в древности все они составлялись с большой любовью, потому что от них многое зависело. Таким образом, в употреблении слова *канон* у александрийцев интегрировались два семантических элемента, с одной стороны — 'сборник, формальный

перечень', и с другой стороны — включенная в этот сборник 'содержательная мера', так как в такой сборник включались только образцовые сочинения. Не случайно поэтому слово канон приобрело ещё более переносное значение 'правило, руководство', как нравственная, так и юридическая норма. В этом смысле оно употребляется и в религиозном дискурсе, впервые появившись в посланиях Апостола Павла: 'жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению какого-либо праздника или святого'. Канон делится на песни, каждая песнь состоит из ирмоса и обычно из 4–6 тропарей. В самом общем смысле канон — это необходимая опора для духовного восхождения и его спасительное направление.

В религиозном дискурсе слово *канон* («подлинник») содержит два семантических пласта. Прежде всего это начало дисциплинарное, род духовной цензуры для икон, с рядом требований прежде всего формального и запретительного характера. Однако, по мнению Сергея Булгакова, не в этом суть *канона* как церковного предания, где оно содержит в себе некое церковное видение образов Божественного мира, выраженное в формах и красках, в образах искусства, свидетельство соборного творчества Церкви в иконописи. Это есть как бы сокровищница «живой» памяти Церкви об этих видениях и видениях, соборное ее вдохновение.

Канон как вещь не просто подвергся сакрализации, он стал двусмысленным, одновременно выражая и мирское, и священное, духовное и практическое. Ср. *канон* как церковное предание и *каноны* военного времени, голливудские *каноны*, *каноны* искусства, *каноны* мировой моды, *каноны* классической музыки, *каноны* жанра. Например: 1) *Пропаганда по канонам военного времени* (К. Бенедиктов); 2) *Схватка по голливудским канонам* (Независимая газ.); 3) *Дизайн и создание садов по канонам китайского, японского, корейского ландшафтного искусства*, в том числе — *миниатюрные сады* (Реклама); 4) *Мы предлагаем вам качественные, радующие взгляд вещи из надежных, прочных и экологически чистых тканей. Дизайн постельного белья создан по канонам мировой моды*. 5) *Данный стиль представляет собой музыку, исполняемую на классических инструментах по канонам классической музыки* («Взгляд»); 6) *Стратегия «Морские Титаны» повествует*

об эпических подводных сражениях трех враждующих цивилизаций. Игра отвечает всем канонам жанра RTS — игрокам придется собирать и накапливать разнообразные ресурсы, грамотно управлять военными базами и создавать боевые подразделения для нанесения решающего удара по врагу (Независимая газ.).

В смысловом содержании живого слова есть напряжение и потенциал для развития и домысла говорящих. Оно, как и объекты культуры, требует толкования, понимания и интерпретации. Для Г.Г. Шпета «...слово-понятие ... не только “объём” и “класс”, но также *знак*, который требует понимания, т.е. проникновения в некоторое значение», в своего рода «интимную» сферу, в «живую душу» живого понятия (Шпет Г.Г. 1994: 310). Самой сокровенной областью «интимной» жизни живого слова, конечно же, является его *внутренняя форма*. Но не только она, поскольку внутренняя форма слова непосредственно связывает «живое» слово с его предметным остовом, значением и смыслом.

Во внутренней форме слова имеется место для действия, сообщающего ему энергию. Без этого слово не может быть глаголом. Слово, как и образ, заимствует **энергию** у действия, накапливает и приращивает её, чтобы затем сторицей вернуть ее действию (Илюхина Н.А., 1999). Предметный остов — не простой указатель на номинируемый объект; он включает в себя и образ действия, и моторную программу, *sollwert*, будущий, возможный, требуемый результат предметного действия, если он обретает смысл для своего осуществления. На первый взгляд кажется, что предметный остов не имеет отношения к живому слову. Действительно, это скорее амодальный образ, чистая амодальная программа. На самом деле такой амодальный образ способен приобретать различного рода модальный (субъективный) облик, способен, по образному выражению В.П. Зинченко, «одеться светом молнии, цветом звуков и т.п.». Более того, вряд ли возможно вообще использование живым словом всей цветосветовой палитры дискурсивных смыслов.

Как несложно заметить, появление термина «живое» слово вызвано необходимостью высвободить слово из оков залогизированной системы языка, абстрактной, глухонемой, мёртвой, рассудочной, чтобы обозначить важнейшее свойство употреблённого в речемыслительном контексте слова — способность отражать по-

мысли, намерения и мотивы *говорящих* (или, как говорят психолингвисты, — субъектов речевой деятельности). Тем самым слово из «опресневшей» единицы с и с т е м ы языка превращается в «живое» слово. Точнее, оно как бы возвращается к своему изначальному состоянию, поскольку «слово с самого начала содержит в своей ткани, плоти вещную, предметную онтологию» (Зинченко В.П., 1994: 52). Говорим «как бы» потому, что на самом деле оно не просто возвращается в первозданной своей ипостаси, а воскрешается из «мёртвых», законсервированных, отречённых от реальных предметов, утративших референтную отнесённость знаков.

«Оживлённое» слово предстаёт нашему сознанию значительно обогащенным осмыслением живого знания, живого действия и событийного контекста — всего того, что современная лингвистика вкладывает в понятия «дискурс» и дискурсивное пространство слова. Только такое «оживлённое» слово — с актуализованной внутренней формой и осмысленной референцией — способно «глаголом жечь сердца людей». Актуализация в слове его внутренних ресурсов опирается на формирование в нём нового смыслового содержания, или просто событийного смысла. Способность его воскрешать языковые знаки объясняется тем, что «смысл не просто укоренён в бытии, а, будучи сам предметом и бытием, придает бытийный характер слову, делает его действительностью» (Зинченко В.П., 1994: 53). В любом случае, утверждает В.П. Зинченко, наличие в действии, в слове названных выше субъектных свойств полезно для отличения живого действия от механического, живого слова от мёртвого. И не согласиться с этим просто невозможно, ведь только ж и в о е обладает порождающими способностями. Наличие же их у действия и событийного слова можно считать доказанным и философией языка, и художественной практикой словесного творчества.

Кажущаяся отвлеченность используемых здесь категорий делает их моментами некоего живого, конкретного, наглядного, единственного целого — с о б ы т и я (Бахтин М.М., 1996: 35). Согласно бахтинской концепции, «живое» слово в устах человека превращает говорящего в заинтересованного субъекта познания, поскольку слово «не только обозначает предмет как некоторую наличность, но и выражает моё деятельностное отношение к предмету, желательное и нежелательное в нём. И этим приводит его в движе-

ние по направлению заданности его, делает моментом *живой* событийности» (Бахтин М.М., 1994: С. 35). Так, для многих слово *война* имеет «архивизированный», неактуальный смысл, связанный с удалёнными от сегодняшнего дня событиями. Совсем иной смысловой ореол оно приобретает для русскоязычной девушки, переехавшей в Израиль — героини из повести Д. Рубиной «На вратах твоих»: «До сих пор в слове **«война»** заключался для меня Великий Отечественный смысл — школьная программа, наложенная на биографии родителей и расстрелянных родственников. Но поскольку Отечество накренилось, сдвинулось и, отразившись пьяной рожей в тысяче осколков разбитого этой же рожей зеркала, полетело в тартарары, неясно стало — **как быть со старыми смыслами** и чего ждать незащищенной коже и слизистой глаз, носа, рта. (Противогазы нам уже выдали. Борис составил их аккуратно на антресолях хозяйского шкафа)». Давно понятное слово, как видим, способно оживать, становиться «живым», а обозначаемый им «предмет» выступать в разных ипостасях — потребности, мотива, ценности, смысла, цели, задачи.

Не случайно, по данным современной психологии (Ф.Е. Василюк), **п е р е ж и в а н и я** входят и в определение предмета, и в определение события, тем самым делая их живыми. Собственно это и делает их «живыми». Живое слово неповторимо, поскольку «всякое новое применение слова... есть созидание слова» (Потебня А.А., 1999: 223).

Происходит это благодаря процессам интериоризации. «Интериоризацией называют, как известно, переход, в результате которого внешние по своей форме процессы с внешними же вещественными предметами преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются специфической трансформации — обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы внешней деятельности» (Леонтьев А.Н., 1983: 149. Т. 2). Однако интериоризация — процесс сложный. Ведь «процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность *перемещается* во внутренний «план сознания»; это процесс, в котором этот внутренний план *формируется*» (Леонтьев А.Н., 1983: 151). Благодаря деятельности Г.Г. Шпета, А.Н. Леонтьева и других были открыты и структурно представлены основные грани

«живого» слова: *внутренняя форма* слова (Г.Г. Шпет), действие (Н.А. Бернштейн), образ (Н.Н. Волков и А.В. Запорожец). И эти формы, несомненно, обладая качествами предметности, не редуцируемы к внешней, предметной, материальной и т.п. деятельности, имеют не одинаковое с ней, а свое собственное устройство.

Именно интериоризация оживляет слово. Действительно, слово оживает тогда, когда в нашем сознании появляется образ обозначаемого им предмета. В связи с этим О. Мандельштам говорил даже о живой поэзии слова-предмета, хотя и не считал его «хозяином» слова. Живое слово, по образному определению О. Мандельштама, свободно блуждает вокруг предмета номинации, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела. Сознание растет в меру того, как человек овладевает проросшими в нём символами и мифами, становится их хозяином. Для достижения этого нужно их экстериоризировать, проникнуть в их внутреннюю потаенную форму, т.е. раскрыть, распечатать их, уразуметь, а затем разоблачить и освободиться от них или интериоризировать, принять в себя. Но интериоризированными они станут, только будучи осмысленными. Так, наши смутные мысли, желания, опасения, подозрения, чувства и т.п. объективируются, выносятся вовне, приобретают ту или иную форму и лишь после этого возможна их полноценная интериоризация, или «присвоение».

Лингвисты, психологи и поэты, даже не будучи знакомы, одинаково воспринимают и интерпретируют живое слово. Так, ещё В. Гумбольдт писал, что язык ни при каких условиях нельзя изучать как мёртвое растение. «Язык и жизнь суть нераздельные понятия и процесс обучения в этой области всегда сводится к процессу воспроизведения» (Гумбольдт В., 1984: 112). «Живое» знание слова и знание «живого» слова строятся на связи объективного и субъективного (художественного, интуитивного) познания действительности, но суть даже не в этом. Субъективное (а значит, «живое») познание порождает знание «живого» слова, что служит принципиальным водоразделом между картезианской лингвистикой и лингвистикой постмодернизма. Картезианские принципы языкознания, лингвистика же постмодернизма пытается сохранить мир слова целостным.

С психологической точки зрения существенно, что для восприятия «живого» слова ведущую роль играет контекст. Именно

контекст завязывает узел движений, превращая движения в действия, действия — в компоненты события (см.: Волков Н.Н., 1977: 149). В этом глубокий дискурсивный (событийный) смысл «живого» слова. За «живым» словом стоит мир действия, мир поступка, мир события. Причем это не только и не столько мир лишь бытия, данности. Ни один предмет, ни одно отношение не дано здесь как просто данное. Переживая предмет, обозначенный «живым» словом, человек тем самым что-то выполняет по отношению к нему. Переживать чистую данность нельзя. Поскольку я действительно переживаю предмет, он становится меняющимся моментом совершающегося дискурсивного события. Поэтому и с психологической, и с лингвистической точек зрения существенно, что для восприятия «живого» слова ведущую роль играет контекст, естественно, в широком его понимании — контекст вербальный (языковой и речевой) и историко-культурный. Именно такой контекст называют дискурсом, обращающим «живое» слово к культуре.

Как правило, с культурой связывают всё искусственное. Как в таком случае в слове согласуется искусственное и «живое» начало? Искусственное, казалось бы, ориентирует на артефактную природу слова. Однако после изложенного ранее трудно согласиться с тем, что слово всего лишь артефакт, орудие, подобное топору, игле или знаку. В этом плане более убедительным кажется В. фон Гумбольдт: «Язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека...» (Гумбольдт В., 1985: 304). Уже поэтому само слово, являясь «каплей росы, в которой отражается весь мир», противится тому, чтобы его уподобляли артефакту.

Культурное в «живом» слове — значит символическое, словесное, знаковое, мифическое, утопическое, магическое. Именно выделенные здесь признаки «живого» слова помогают уяснить своеобразие его отношения к культуре. Достаточно пока остановиться лишь на одном медиаторе — символе. Символ, как и Луна, имеет свои видимую и невидимую стороны. Его внешняя форма элементарна, а внутренняя — бесконечна. Символ — это и вещь, инструмент, и идея, смысл. Крест, например, — это и орудие казни, и идея Воскресения, Возрождения, вечной жизни.

В истории человечества, в натуре переход от вещи к идее и от идеи к вещи осуществляется не прямо, а через символ. Именно

он является медиатором перехода, на что обратил внимание П.А. Флоренский. Это же справедливо для индивидуального развития человека, в котором роль медиатора между стимулом и реакцией выполняет знак, понимаемый в самом широком смысле (Л.С. Выготский). Треугольники Флоренского и Выготского подобны. В их вершинах — символ / знак, а в нижних углах — инструмент / стимул и идея / реакция. Обе схемы представляют лингвокультурологическую сущность так называемой знаково-символической деятельности человека. Благодаря символическому в «живом» слове конструктивно уживаются искусственное и живительное начала.

В символе, по мнению Г.Г. Шпета, сопоставляется чувственное со сферой мыслимого (идеей, идеальностью, действительным опытом, переживанием), со сферой идеального. «Ошибочно утверждение, — писал Г.Г. Шпет, — будто символ устанавливается непременно на основе “сходства”. Сходство физического и духовного, чувственного и идеального — весьма хитрая проблема, если, конечно, под “сходством” понимать “подобие”, а не просто “схождение” с двух безусловно неподобных концов к какому-то условно одному пункту. Символ и не аллегория. Аллегория — рассудочна, “измышлена”, плоско-конечна. Символ — творчески-пророчествен и неисчерпаемо-бесконечен. Аллегория — теософична, символ — мистичен» (Шпет Г.Г., 1994: 357–358). Мало того, символ есть еще своего рода подмена, что само по себе не беда, но именно поэтому он допускает другие подмены, подстановки, спекуляции, обманы, порой достаточно циничные. Видимо, осознавая провокативные и прочие недостатки символа, Г.Г. Шпет на пути от вещественного, материального к идеальному ставит слово. В этом он близок В. Гумбольдту, считавшему язык организмом духа: «Язык — нечто большее, нежели инстинкт интеллекта, ибо в нем сосредоточивается не свершение духовной жизни, но сама эта жизнь; тип и функции языка есть организм духа, как устройство мышечных волокон, круг кровообращения, разветвление нервов — организм тела» (Гумбольдт В., 1985: 365). Гумбольдт хотел понять, как «язык, исходя из природного звука и потребности, становится родителем и воспитателем всего высочайшего и утонченнейшего в человечестве» (Гумбольдт В., 1985: 376). По сути, и для Гумбольдта, и для Шпета язык стал символом

веры, убеждений, с которыми трудно спорить, да и нет в этом никакого смысла.

«Живое» слово изначально имеет когнитивно-дискурсивную природу. Познавая ранее неизвестные предметы и явления, выделяя при этом их бросающиеся в глаза признаки и свойства, человек сравнивает их с уже хорошо известными. Здесь срабатывает закон ассоциации, когда форма, признак, свойство, функция одного предмета, сходные с таковыми другого предмета, вызывают устойчивую связь между предметами в виде взаимозамещения представлений о сходных объектах. Устойчивость такой ассоциативной связи закрепляется номинативным актом: название ранее известного предмета становится языковым знаком нового объекта познания. Имеющееся в языке слово приобретает «второе дыхание», новую жизнь, поскольку не только расширяется его экстенционал (понятийный объем), но и обогащается интенционал (предметно-понятийное содержание).

Расширение экстенционала связано с тем, что под словесный знак подводится большее число предметов, расширяется его номинативное поле, а обогащение интенционала означает, что лексическое значение слова становится более многоаспектным и вариативным (включает больше обязательных семантических признаков), появляется его новый лексико-семантический вариант. Слово становится многозначным, переходит в разряд полисемантов. «Такого рода переносы названий с одного объекта на другие могут быть регулярными, характеризующими не отдельные слова, а целые лексические классы» (Камелова С.И., 1997: 58—64). В результате в языке возникает так называемая регулярная многозначность. Её изучение не только даёт возможность адекватного лексикографического описания слова, но и позволяет а) определить закономерность преобразования семантически связанных слов в слова-полисеманты, б) установить зависимость образования многозначности слова от степени его семантической связанности, в) показать работу внутреннего механизма формирования нового значения.

Семантическая деривация использует ограниченное число средств для создания неограниченного числа единиц. Это обнаруживается при образовании такой разновидности «живого» слова, как сленг. Дело в том, что новые сленговые значения «живого» сло-

ва образуются с помощью уже известных языку средств и по уже известным моделям. Такого рода комплексное исследование обращает нас к осмыслению роли семантической деривации в процессе формирования лексико-семантических групп (ЛСГ) и лексико-семантических полей (ЛСП).

Как показало исследование Р.И. Розиной, деривация сленговых значений «живого» слова происходит в процессе перехода слов из одного ЛСГ в другой. Были выявлены следующие закономерности.

1. Глаголы прибытия переходят из ЛСГ движения в ЛСГ движения времени, в класс мнения, класс эмоций, приобретения социального статуса и в ЛСГ глаголов расположения в пространстве: *ловить* — ‘перемещаться за движущимся объектом с целью остановить руками его перемещение’ —> *ловить* ‘зарабатывать деньги, подрабатывать’; и в том, и в другом случае результатом действия оказывается «обладание» (‘иметь объект’ — ‘иметь деньги’). Ср.: 1) *Однако напомним, что общая сумма задолженности опальной компании оценена почти в \$27 млрд, а имущество ЮКОСа будет продавать с учетом дисконта, по цене в \$26–27 млрд. Таким образом, акционерам ЮКОСа больше нечего ловить, им остается уйти со сцены красиво и без скандалов* (АиФ, 2006, № 27).

2. Глаголы ЛСГ движения вниз переходят в ЛСГ прекращения функционирования, а затем прекращения существования: *опустить, свалить, толкнуть*. Ср.: 1) *Он обязан выполнить некий джентльменский набор — устранить Бориса Тарасюка, убрать Анатолия Гриценко, говоря их слэнгом, «опустить» Ющенко и стать настоящим крутым во власти* (Взгляд, 2007, 12). 2) *Как только начинается последний месяц лета, у меня срабатывают заложенные еще во время СССР психологические механизмы и хочется срочно куда-то свалить. Безо всяких планов, без причины — просто накопить критическую массу поводов повалять дурака пару недель* (Взгляд, 2006, 32). 3) *Аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Рон Смит считает, что прогноз Майзара Рахмана имеет под собой основания. «Дело в том, что сегодня рынок реально испытывает недостаток нефти. Только в результате урагана в Мексиканском заливе ее поставки сократились на 1,5 млн баррелей в сутки. А в условиях дефицита товара любая плохая новость может существенно толкнуть цены вверх», — говорит Рон Смит* (Коммерсант, 2006, № 33).

3. Глаголы ЛСГ движения переходят в ЛСГ ментальных глаголов (*врубиться, въехать*). Ср.: 1) *Проснулся сегодня в пять утра и показалось мне, что уже вечер. А мне то на работу надо было с утра. Пять минут был в шоке — никак не мог **врубиться**. Потом **врубил-ся** и дальше пошёл досыпать* (Сегодня, 2005, № 57). 2) *Не могу **въехать**, как это все работает* (КП, 2006, № 31).

4. Переходы глаголов в различные ЛСГ: *замочить, шить, достать, обломить, грузить, отстегнуть, раздеть, вырубить, наварить*. Ср.: 1) *Визиту Путина посвящается. Игра «**Замочи** его в сортире». Правила же этой игры достаточно просты. Используя подручные средства и сообразительность, нужно **замочить** в сортире своего противника, поразительно похожего на «Газового террориста» (*«Обозреватель»*, 2006, 37); 2) *Алле Пугачевой «**шьют**» дело. Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования возбудило дело в отношении Аллы Пугачевой. Природоохранителям по-прежнему не дает покоя банька Примадонны, построенная незаконно: в 36,5 м от Истринского водохранилища...* (АиФ, 2006, 64). 3) *Я в растерянности! Что делать?! ... Рассказать, что мне действительно очень-очень хреново и поставить под угрозу всё, связанное с морем, тем самым **обломить** родителей на глупо потраченные деньги и забыть про круто оторваться?..* (КП, 2007, 23); 4) *Табаков ввел очень странное правило для актеров, которые работают под его началом. Если кто-то, параллельно с работой в театре, хочет сниматься в кино, то он должен «**отстегнуть**» процент с киногonorаров художественному руководителю МХТ (*«Жизнь»*, 2006, 56); 5) *Наша дорога по лестнице вверх, на один пролет. Охраны будет много, так что далее подробно описываю их местонахождение и предпочтительный способ убийства. Двое побеседуют и разбредутся. Первого легко подкараулить и стукнуть, со вторым труднее. В принципе, если вы очень ловкий человек, можете исхитриться **вырубить** его, но лучше пристрелить метким выстрелом в голову* (*Жизнь*, 2006, № 36); 6) *В Донецкой области махинаторы хотели «**наварить**» на операции с НДС 132,2 тыс. грн. Шахтерской межрайонной прокуратурой (Донецкая область) возбуждено уголовное дело относительно должностных лиц одного из ООО, которые, с целью завладения бюджетными средствами, предоставили в государственную налоговую инспекцию заведомо неправдивую декларацию из НДС и пытались***

незаконно получить 132,2 тыс. гривен (А. Курцановская, Ведомости, 2006, 29 июня); 7) На Березовском «Просвіта» умудрилась незаконно **«наварить»** 3,5 млн грн. (Ведомости, 2006, 14 декабря); 8) В Киеве сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями разоблачены должностные лица Всеукраинского общества «Просвіта» им. Т. Шевченко. На Березовском «Просвіта» умудрилась незаконно **«наварить»** 3,5 млн грн. (День, 2006, 14 декабря); 9) Нога попытается **раздеть** Путина, как только он приедет в Швейцарию. Швейцарская фирма Нога предпримет попытку арестовать имущество президента России Владимира Путина, когда он прибудет с визитом в Швейцарию («Взгляд», 2005, № 55).

При этом происходят изменения тематической категории слова, что способствует образованию литературных и сленговых значений у ряда слов различных ЛСГ. В частности, были установлены закономерные переходы:

- глаголов полного охвата из ЛСГ действия в категорию процесса и категорию состояния,
- глаголов ЛСГ обладания из категории действия в категорию предстояния;
- глаголов ЛСГ действия в категорию происшествия и наоборот.

В процессе семантической деривации происходит также изменение тематических классов участников. Такого рода изменения показаны в ходе анализа способов и средств образования различных значений глагола *взять*, а также изменения при образовании литературных и сленговых значений тематического класса участника (объекта и субъекта).

Р.И. Розина обнаружила, что хотя деривации литературных и сленговых значений служит один и тот же набор средств, используется он по-разному (см.: Розина Р.И., 2005: 156). Так, переход глагола из одной ЛСГ в другую при деривации литературного значения во многих случаях мотивируется **к о н ц е п т у а л ь н о й с т р у к т у р о й**, связывающей в сознании человека разные ситуации реального мира. Следствием такого когнитивного акта является закономерный (регулярный) переход производных значений глаголов одной ЛСГ в другую. При этом обнаруживается достаточно устойчивая тенденция: При образовании сленговых значений

когнитивной основой перехода глагола в иную ЛСГ во многих случаях служит поверхностное свойство между ситуациями. В связи с этим производные значения отдельных глаголов, принадлежащих разным ЛСГ в литературном языке, нередко входят в один и тот же сленговый тематический класс.

Следующей закономерностью семантической деривации является образование сленговых значений за счёт преобразования периферийных смыслов слова, находящегося в системе литературного языка. Характер ядерно-периферийных взаимопереходов сем при образовании сленговых значений отличается от такового в рамках литературного языка. Разницу определяют разновекторные переходы. Переход производного значения в новую таксономическую категорию для литературного языка осуществляется, как правило, в направлении от таксономической категории «действие» в категорию «происшествие», тогда как переход от происшествия к действию является факультативным (он присущ образованию небольшого числа сленговых глаголов). При образовании же сленговых значений — наоборот: переход от таксономической категории «происшествие» в категорию «действие» является основным и, пожалуй, единственным.

Подобная закономерность установлена в процессе наблюдения над изменениями тематических классов участников ситуации. При образовании литературных значений основное направление изменения тематических классов участников — «человек — не-человек», а обратно направленное изменение является периферийным. При деривации сленговых значений используется только одно направление изменения тематических классов участников ситуации «не-человек — человек», которое в литературном языке имеет периферийный характер.

Как видим, модификации значения «живого» слова при деривации сленгового значения имеют гораздо более масштабный характер, чем при семантической деривации в рамках литературного языка.

1.2. Методологические основы когнитивно-семиологического исследования «живого» слова

Становление когнитивно-семиологической теории «живого» слова обостряет внимание к ее методологическим основам (принци-

пам, методам и приемам), основополагающим категориям и принципам. С одной стороны, это категории когнитивной семантики, а с другой — лингвокультурологии. Их объединение в единую парадигму преследует, как нам представляется, описание слова в русле когнитивно-семиологического исследования глубинных механизмов представления объектов культуры в языковом и речевом сознании человека. Однако такого рода интеграция сопряжена с недопустимым механическим объединением категорий когнитивной семантики и традиционной семиологии. Прежде всего, это касается проблемы соотношения *«живое понятие — живое слово»*. Если перевести их в терминосистему когнитивной семантики, то она будет вполне соответствовать соотношению «концепт — значение слова». Тем более что необходимость решения данной проблемы обостряется всё ещё достаточно спорным пониманием категорий и субкатегорий, связанных с первым членом этого соотношения — концептом. Остаётся актуальным и проблема языкового значения (второй член соотношения). Прежде всего, требует обсуждения вопрос о природе и сущности значения слова, в частности, взаимоотношение значения и смысла, значения и семантики «живого» слова.

1.2.1. Этноязыковая природа концепта как «живого» понятия

Основным в когнитивно-семиологической теории «живого» слова является «живое» понятие. Понимание его многокачественной природы отразилось в разных терминологических обозначениях: быденное понятие, концепт, смысл, образ, представление и др. Нередко одно определяется через другое. Так, В.Г. Кузнецов предлагает следующую дефиницию: «Концептом является обобщенное ментальное содержание <...>, то, что называют также смыслом» (Кузнецов В.Г., 2001: 66). Такое толкование концепта / смысла, хотя и в иной терминологии, имеет давнюю традицию (В. Гумбольдт, Г. Фреге, Б. Рассел, А. Черч). В современной когнитивной семантике сосуществует несколько подходов к интерпретации концепта. С.Г. Воркачёв, например, предлагает рассматривать концепт как единицу коллективного знания (сознания), которая имеет языковую объективацию и обладает этнокультурной спецификой (2001:

47). В. Н. Телия также настаивает на том, что любой концепт непременно имеет национально-культурную специфику (1996: 96).

Наличие в содержании большинства концептов культурного компонента побуждает выделять особый тип концепта — *культурный концепт* (см.: Алексеенко М.А., 2000). С другой стороны, признание этого компонента обязательным в составе концепта ставит вопрос о целесообразности рассмотрения культурного концепта как самостоятельного феномена, так как без этнокультурной составляющей концептов якобы не бывает. В связи с этим вызывает сомнение целесообразность введения термина *лингвокультурный концепт*, поскольку он, как мне представляется, лишен своего особого понятийного содержания. Действительно, чем его содержание отличается от понятия, которое выражается термином *концепт* без определения *лингвокультурный*! В любом случае концепт — вербализованная когнитивная структура, что уже делает его категорией когнитивной лингвистики. Иными словами, первая часть сложного прилагательного *лингво-* оказывается терминологически избыточной. Возможно, используя этот термин, пытаются подчеркнуть взаимосвязь концепта как когнитивной структуры с семантической структурой слова. Намерение автора можно понять, однако и здесь трудно согласиться с толкованием лингвокультурных концептов как этнокультурных компонентов слова (С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик). В данной ситуации, как нам представляется, не различаются единицы когнитивной и языковой семантики.

Продолжая поиск решения вопроса, конечно же, следует опираться на осмысление природы языка и культуры в их взаимоотношении. Мы исходим из того, что язык и культура соотносятся как две предполагающие друг друга коммуникативно-когнитивные системы. С одной стороны, язык — «хранилище народного духа, культуры, объединенная духовная энергия народа» (Гумбольдт В., 1985). Обладая коммуникативной природой, он служит основным средством передачи культурной информации. С другой стороны, культура предопределяет ценностные значимости тех реалий окружающего мира, которые, объективируясь в языке, отражаются в наиболее общих понятиях, или концептах. Но, пожалуй, важнейшим результатом воздействия культуры на язык следует считать тот факт, что структурированная совокупность базовых концептов

образует, по Д.С. Лихачеву, концептосферу конкретного языка. Кроме того, обобщая таким образом коллективный опыт народа, культура обуславливает национальную специфику коммуникативного поведения людей, принадлежащих к одному этносу, если под таковым понимать сформировавшуюся культурно-языковую общность людей. Наиболее доступно и, вероятно, в силу этого несколько упрощенно суть взаимоотношения культуры и языка раскрывает Э. Сепир: «Культуру можно определить как то, *что* данное общество делает и думает. Язык же есть то, *как* думают...» (Сепир Э., 1993: 233. Выделено мною. — Н.А.).

Итак, язык — не только средство воплощения культуры. Взаимоотношение языка и культуры осуществляется на паритетной основе: язык «служит» культуре так же, как культура «служит» языку, выступая одним из важнейших факторов, определяющих природу и сущность языка. Значимость естественного языка для культуры обуславливается основными его функциями — коммуникативной, познавательной, кумулятивной, номинативной и директивной. Коммуникативная функция обеспечивает передачу культурной информации; познавательная реализует потребность в опосредованном приобретении культурной информации; кумулятивная позволяет успешно отражать, фиксировать и сохранять культурно-исторический опыт народа; номинативная состоит в знакообозначении познанного (для последующего его хранения, осмысления, интерпретации и передачи от одного поколения людей другому); директивная обеспечивает социализацию человека путем приобщения его к основным «принципам жизни», выработанным в том или ином этнокультурном сообществе, что делает возможным сосуществование индивида с другими членами данного языкового коллектива, его интегрирование в национально-культурное пространство.

Язык, таким образом, связан с культурой и содержательно, и формально. Формальный аспект этой связи представлен прежде всего системой номинативных и релятивных языковых единиц, а содержательный — семантической системой языка, воплощающей в себе основные топики национально-языковой концептосферы (национальное видение мира, заложенные в базовых концептах принципиальные установки мировосприятия и миропонимания).

Причем между формальным устройством языка и его содержанием нет полной и однозначной соотносимости. Например, «живые» слова как актуализированные языковые единицы не предназначены для кодирования в своих значениях *всего* (в полном объеме) содержания культуры. Они отфильтровывают только актуальные для данного этапа развития социума факты национальной культуры и те интернациональные концепты, которые служат вечными ценностями, своеобразно преломившимися в национальной лингвокультуре.

Культурный концепт по природе своей антропоцентричен и в силу этого «живое» слово, его репрезентирующее, оказывается насыщенным культуроносными коннотациями. Такими коннотативными смыслами наполнены окказионально созданные и употреблённые наречия *цветно* и *акварельно*, передающие художественное восприятие Венеции. Культуроносные коннотации усиливаются контекстом: героиня смотрела на «Тайную вечерю» Тинторетто. Ср.: *Отсюда, если смотреть из полутьмы собора, в проеме двери плескалась ослепительной синевы вода лагуны и цветно и акварельно на горизонте лежала Венеция. Она слушала репетицию мессы и смотрела на «Тайную вечерю» Тинторетто...* (Д. Рубина). Восприятие Венеции базируется здесь на использовании ярких культурных концептов, связанных с культурной столицей Европы.

Моделью структурирования семантической системы языка служит, таким образом, не сеть типовых пропозиций, как обычно утверждается в когнитивной семантике, а **пространственная «кристаллическая решетка»**, образуемая национально-языковой комбинаторикой базовых концептов культуры. В этом и состоит, на наш взгляд, специфика языковой интерпретации картины мира и превращения ее в собственно *языковую картину мира*.

Определение культурного концепта предполагает решение проблемы, связанной с его субстанциональностью. Какие концепты могут быть культурными — абстрактные конструкторы типа «Судьба», «Любовь», «Родина» или также и «вещественные» сущности типа «Кувшин», «Дорога» или «Снег»? В известных нам работах, как правило, рассматриваются образования первого типа. Однако безоговорочно согласиться с таким подходом мешает мысль, что материальная культура не менее «духовна», поскольку является матери-

альным воплощением «духа». Полагаю, никто не станет возражать, что известная всему миру София Киевская — не только ценнейшее каменное здание, но и воплощенный в камне фрагмент духовной культуры народа. В ней отражены эстетические, нравственные и мировоззренческие ценностно-смысловые категории, вызревавшие много веков в этнокультурном сознании наших предков.

Подобные этнокультурные смыслы несут и более земные «вещественные» сущности. Достаточно сравнить рус. *изба* и укр. *хата*. Только на первый взгляд кажется, что эти слова представляют одно и то же ценностно-смысловое содержание. Однако если привлечь к анализу достаточно репрезентативный дискурсивный материал, то легко убедиться, что за каждым из них скрывается особый этнокультурный мир. Этнокультурную специфику скрывает внутренняя форма слова: *изба* <— *истопка, истпка, истба* (В. Даль). Ср. также: *избёнка, избёночка, избушка, избушечка, избушёнка, избушёночка, избобка, избобочка*. Первичное значение — «жилой деревянный дом». *Изба рубленая, бревенчатая. Черная, или курная изба* (в такой избе печь без трубы). *Белая изба* (в ней печь уже с трубой и поэтому в ней нет копоти). *Красная изба* (с большим или переплетным окном). *Избушкой* зовут и будку, балаган, сторожку, караулку, маленькое жилье. Разные аспекты этого концепта объективированы в пословичных выражениях, сохраняемых в фольклорных и литературных текстах. Ср.: рус. *Изба крепка запором, а двор забором; Не красна изба углами, красна пирогами* (Посл.); *Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей* (А.С. Пушкин. Руслан и Людмила). Поскольку избу изначально сооружали из бревен, возникло производное имя существительное *избняк* — «строевой, хоромный лес, годный на жилое строение».

Несколько иные оценочно-образные смыслы содержит концепт «Хата», свойственный украинскому языковому сознанию. *Хата, хатина, хатинка, хоточка*. «Хата, — пишет В.И. Даль, — бывает турлучная или плетневая, камышевая, мазанка, бигая, земляная и лимпачная, бревенчатая, из дикого камня». Ср.: *Чим хата багата, тим і рада; Моя хата скраю, я нічого не знаю* (Посл.). *Садок вишневий коло хати, джмелі над вишнями гудуть, а Косарі з роботи йдуть* (Т.Г. Шевченко). Для украинской культуры концепт «Хата» является этнокультурным, способным вызывать такие пережива-

ния, как «малая родина», родительское тепло, отчий край, семья и т.п. Он находится в одном ряду с такими культурными концептами, как «Земля», «Мати», «Хліб», «Доля». Каждая из номинаций таких концептов является носителем первичных и вторичных значений, обладает широкими ассоциативными связями — источниками метафоризации, символизации, персонализации и фразеологизации. Ср.: ФЕ с компонентами *изба, хлеб, мать*. Ср.: *выносить сор из избы, избушка на курьих ножках; хлеб да соль! водить хлеб-соль, хлебом не корми кого; посаженная мать, мать честная! всосать (впитать) что-л. с молоком матери* и др.

Скорее ощущая, чем четко представляя различия между концептом вообще и культурным концептом в частности, вынуждают исследователей искать разного рода словосочетания терминологического характера: «определяющие слова-понятия» (Р.И. Кононенко), «концепты историко-культурного сознания народа» (В.В. Жайворонок). Кстати, В.В. Жайворонок к такого рода концептам относит не только абстрактные конструкторы, но и объекты материального происхождения. Каждый из них, по мнению автора, интенционален, поскольку пропитан разными смыслами, имеющими для членов данного сообщества этнокультурную значимость. И в этом плане противопоставление духовной и материальной культуры — лишь необоснованная, надуманная традиция.

Однако культурные концепты не стоит отождествлять с этнокультурными компонентами слова. Культурный концепт и национально-культурный компонент значения слова — взаимосвязанные, но не тождественные категории, как не тождественны понятия и языковые значения. Например: 1) Джоан откровенно призналась, что без рекламы она могла так и остаться писательницей «любительского» уровня. «Я вовсе не считаю себя бездарностью, — говорит она. — Но сейчас только лишь реклама с многомиллионным бюджетом превращает тебя в звезду. Такова реальность этого мира» (АиФ, 2007, № 29, с. 9) 2). — Вместо должности ограничился чином: — Коллежский *советник*. Почему-то это показалось ей смешным. — *Советник!* — Незнакомка рассмеялась, открыв белые ровные зубы. — Мне сейчас не помешал бы *советник*. Или *советчик*? Ах, все равно. Дайте мне *совет*, уважаемый коллежский *советчик*, что делают с погубленной жизнью? (Акунин Б. Пелагия и черный

монах, с. 164). Ср. понятие и значение «живого» слова: «звезда» — «выдающийся деятель искусства или науки» и *звезда* — «всемирно известная, популярная личность»; «советник» — должность и *советник* — в паронимическом значении «советчик, тот, кто даёт советы».

В этом отношении наиболее явной оказывается взаимосвязь между культурными концептами и ключевыми словами. Основная функция последних, по мнению А. Вежбицкой, — служить средством объективации базовых культурных концептов. Ключевыми она считает обычные, а не маргинальные слова. Они чаще всего обладают самым высоким фразеомообразующим потенциалом (таким, например, является русское слово *душа*), наиболее частотны в устойчивых метафорах; пословицах, поговорках, изречениях, популярных песнях. Ср.: 1) *Зло должно быть наказано. В Володиных толковых руках появилось реальное оружие. Он постоянно совершенствовал свои смертоносные игрушки. ...Потом каждый раз он испытывал странное чувство звенящей ледяной пустоты в душе* (П.В. Дашкова); 2) *Горечь была в размышлениях молодого моего коллеги, горечь, более всего разъедает наши сердца, гасит порой «души прекрасные порывы»* (Известия, 25.02.1988); 3) *Не позволяй душе лениться! / Чтоб воду в ступе не толочь, / Душа обязана трудиться / И день и ночь, и день, и ночь!* (Н. Заболоцкий); 4) *Его душа замирала от волшебных предчувствий, а если что-то и омрачало восторг, то лишь стыд за убожество «Приюта». Сказать, что прибыл инкогнито, с секретной миссией, а в подробности не вдаваться, придумал на ходу полковник. Без подробностей даже еще и лучше получится, загадочней.* (Б. Акунин); 5) — *Ли, не спрашивай. Одно и то же: вопли, амбиции, полнейшее безделье. Душа кровью обливается, говорю тебе откровенно: один из крупнейших Матнасов в стране отдан в руки манекенщику. Какой авторитет может быть у директора, который на всю страну рекламирует собственные яйца?* (Д. Рубина).

А. Вежбицкая считает основными репрезентантами русской ментальности такие ключевые для русской концептосферы слова, как *душа*, *судьба* и *тоска*, а также уникальное *авось*. Такого рода подход к интерпретации культурного концепта можно назвать *вербальным*. Слово (фразеологизм) является базовым, но не единственным средством объективации культурного концепта.

Не менее значимой следует признать визуальную репрезентацию концептов, связанную с именем Р. Лангакера. Ученый приходит к выводу, что, оперируя концептами, человек опирается не на семантические признаки слова, а на целостные образы (см.: Рахилина Е.В., 2002: 370). Вот какие образы и ощущения вызывает у Расула Гамзатова концепт «Мама»:

Слово это — зов и заклинанье,
В этом слове — сущего душа.
Это — искра первая сознания,
Первая улыбка малыша.

Именно благодаря такому способу восприятия мира культурные концепты могут находиться в нашем подсознании, образуя своего рода континуумное пространство. А это, в свою очередь, обуславливает такие категориальные свойства культурных концептов, как не жестко структурированная организация, образность, оценочность и подсознательное существование. Так, слово *родина*, репрезентирующее одноименный концепт в сознании поэтессы Зинаиды Александровой вызывает сложную гамму образов и целых картин:

Если скажут слово «родина», Сразу в памяти встаёт Старый дом, в саду смородина, Толстый тополь у ворот.	У реки берёза-скромница И ромашковый бугор... А другим, наверно, вспомнится Свой родной московский двор.
--	---

Вне такого подсознательного континуумного «бытия» концептов невозможно познание, да и сами культурные концепты возникают только благодаря предыдущему культурно-историческому опыту, который собственно и порождает культурные концепты — конструкты особо сложной речемыслительной системы. В итоге визуальной и вербальной репрезентаций концептов образуется своего рода герменевтический круг в познании и понимании окружающего мира.

Названные способы объективации концептов, протекающей по такому герменевтическому кругу, обеспечивают (в рамках когнитивно-семиологической теории «живого» слова) возможность создания речемыслительного портрета предмета познания (Е. Бартминский). В процессе создания такого «портрета» рисуются отдельные фраг-

менты (элементы) образа предмета, происходит лингвокогнитивный отбор и интерпретация отдельных культурно значимых смыслов (по их происхождению, качеству, внешнему виду, функции, переживаниям) и их знаковое кодирование в виде сем семантической структуры слова (фразеологизма). Таким образом, создание речевого портрета того или иного предмета, по Е. Бартминскому, является средством организации минимальных смысловых элементов внутри языкового значения. Сами смысловые элементы являются производными, возникающими в процессе фиксации интерпретируемых человеком признаков, примет, свойств, качеств и функций познаваемого объекта. Их мы рассматриваем как результат прототипной семантики.

Отобранные таким образом признаки Е. Бартминский называет профилем: «Разные профили являются не разными значениями, а способами организации смысловой структуры того или иного значения. ...Можно понятие прототипа рассматривать как своего рода профилирование, принимая факт существования прототипного профиля и его производных» (Bartminski J., 1980: 220). Итак, результатом процесса создания речевого портрета предмета (профилирования) Е. Бартминский считает профиль. В этом главное отличие концепции Е. Бартминского от позиции Р. Лангакера. Профилирование, по Бартминскому, происходит в общественном сознании, этот процесс состоит в эмпирическом единичном субъекте, где стабилизировались лишь отдельные аспекты (Bartminski J., 1980: 33). Иными словами, в концепциях Е. Бартминского и Р. Лангакера различаются основания профилирования: общественное, этнокультурное сознание у первого и сознание субъективное, индивидуальное у второго. Е. Бартминский также, в отличие от Р. Лангакера, ограничивающего профилирование рамками наблюдения, считает, что опытную рамку формируют различные коды (вербальный, поведенческий, мифолого-идеологический, предметно-символический) (Bartminski J., 1980: 213).

Итак, имеет смысл говорить не столько о разных приемах концептуального анализа, сколько о целесообразности их комплексного использования. Доминирование в этом тандеме того или иного приема определяет специфику соответствующей методики: «визуальной» методики Р. Лангакера (Langacker R.W., 1991: 28-33), методи-

ки «профилирования» Е. Бартминского и его школы (Bartminski J., 1980); описание по предикатным связям и моделированию «диагностических контекстов»; описание концепта по его ассоциативному полю; анализ значения по словарным дефинициям; этимологический анализ; методики изучения концепта через лексико-грамматическое поле лексемы, его репрезентирующей.

Пытаясь «соположить» понятия традиционной и когнитивной семантики, иногда используют в одном ряду понятия *семемы* как основной интралингвальной единицы содержания, лингвокультурные *концепты* и коммуникативные *конструкты*. При таком подходе семемы и концепты как носители разной информации в слове должны пересекаться. Получается, что семемы (структуры языковой семантики) способны выражать информацию, которую не содержат концепты (когнитивные структуры), а это противоречит уже ставшему аксиомой положению когнитивной семантики, согласно которому, наоборот, языковая семантика представляет когнитивные знания не в полном объеме, а избирательно — только те, которые необходимы для данного речемыслительного акта.

Как видим, прямого способа перевода когнитивных структур в структуры языковой семантики нет. Нужны особые механизмы преобразования когнитивной информации в элементы семантической структуры слова или своего рода промежуточные структуры, выполняющие функции фильтра. Такая структура должна фильтровать довербальное смысловое содержание когнитивной структуры для отбора тех смысловых конфигураций, которые являются коммуникативно значимыми для конкретного речемыслительного акта. Ср.: 1) *Что это за масоны такие? — спросил он. — Как бы это тебе попонятнее объяснить, — начал я. — В двух словах не скажешь. Есть много версий, написаны десятки книг... Но если все-таки в двух словах, это такое тайное общество...* (Ю. Поляков); 3) *...подвернулась переводческая «халтура». Три месяца она сидела без работы, и вот неделю назад позвонила подруга, сказала, что «Гринпис» проводит в Москве международную конференцию по глобальным вопросам экологии. Требуются переводчики со знанием английского и французского* (П.В. Дашкова).

Отфильтрованное смысловое содержание объективируется в определенном наборе сем лексико-семантического варианта сло-

ва. Так, из всего смыслового спектра слова масоны ('последователи масонства', 'члены масонской ложи (франкомасоны)', 'сторонники религиозно-этического течения с мистическими обрядами, предназначенными для мирового объединения человечества в религиозном братском союзе') в тексте романа Ю. Полякова «Козлёнок в молоке» отбирается одно — 'тайное общество'.

В тексте романа П.В. Дашковой «Никто не заплачет» деактуализировано основное смысловое содержание слова *халтура* — 'недобросовестная, небрежная и без знания дела работа', 'вещь, сделанная небрежно' и актуализирован относительно недавно возникший лексико-семантический вариант 'побочная, обычно временная работа сверх основной'.

Наше видение путей адаптации теории фильтра к решению проблемы взаимоотношения когнитивных структур и смысловой структуры «живого» слова связано с концепцией Г.Г. Шпета относительно внутренней формы слова.

1.2.2. Принципы исследования «живого» слова

Определим, в чем состоит конструктивная сущность когнитивно-семиологического подхода к «живому» слову.

1. Прежде всего семиологический принцип восстанавливает роль *наблюдения* над конкретным, единичным и особенным, предполагая взаимосвязь «глубинных процессов» дискурсивного порождения мысли с «внешними», непосредственно наблюдаемыми в речи во всем их многообразии и противоречивости (Степанов Ю., 1976: 206).

Данный принцип сосредоточивает наше внимание на взаимодействии двух типов языкового семиозиса: двукратной репрезентации знаний языковыми единицами (двукратной референции языковых единиц), первичной (семиологической) и вторичной (семантической) объективации. Первичная объективация служит исходной точкой семиозиса, а вторичная — конечным этапом знакообразования, формирующим на основе первичного семиозиса культурно значимые единицы языка. Данный семиологический принцип направлен на преодоление недостатков известной знаковой теории Ч. Морриса, не разграничивающей первичное и вторичное

означивание. Кроме того, современный семиологический подход, учитывая человеческий фактор языка, вводит в качестве конституента семиологического процесса так называемую интерпретанту (фазу осмысления знака) и интерпретатора (того, кто воспринимает, осмысляет и интерпретирует знак) (Morris 1938: 43). Это позволяет по аналогии с семантическим треугольником Ричардса-Огдена построить «ономазиологический треугольник». В отличие от семантического треугольника Ричардса — Огдена в его состав входит интерпретант — человек как субъект речемыслительного процесса. Отсюда его краевые точки: «номинатор — номинант — номинат» (Бородин М.А., Гак В.Г., 1979).

2. Функциональная взаимосвязь системы языка и системы мышления представляет собой отношение между системой «означаемых» и системой «означающих». Такого рода взаимосвязь не может быть сведена не только к взаимно однозначному соответствию цельных единиц смысла и текста (в силу принципа асимметрии знака), но и к статичному соответствию компонентов единиц того и другого плана. Речемыслительный механизм, реализующий взаимосвязь двух систем, в свою очередь, опирается на принцип иерархии речемыслительных единиц и на принцип метаморфизма, представляющий собой системное взаимодействие всех участвующих в речемыслительном процессе факторов (Степанов Ю., 1976: 207).

3. Семиологический принцип предполагает не только тесную связь языка с мышлением, но и его сложные когнитивные отношения с действительностью (объективной и субъективной). При этом соотношение содержания и формы выражения интерпретируется как процесс первичного и вторичного знакообразования, в результате осмысления которых создаются языковые единицы в системе языка и в речи, находящиеся в определенной взаимосвязи и иерархии (Уфимцева А.А., 1986: 66).

В гносеологическом плане первичное и вторичное означивание можно рассматривать как старый (имеющийся) и новый (приобретенный) опыт, потому что задачей речемыслительной деятельности является необходимость согласовать новую реальность с уже имеющимся опытом. Средством для этого, писал в свое время В. Скаличка, является представление новой реальности с помощью фиксированных системой языка мыслительных образов (ср.:

Skalicka 1948). Речемышление всегда направлено на познание действительности посредством лингвосемиозиса новой реальности.

4. Согласно семиологическому принципу элементарными речемыслительными функциями языка, по Ю.С. Степанову, выступают *номинация*, *предикация* и *локация*. Номинация состоит в именовании и классификации познаваемых предметов, признаков и действий; суть предикации — в установлении взаимосвязей между познаваемыми предметами; локация располагает названное и взаимосвязанное друг с другом в пространстве и времени.

Новым в когнитивно-семиологической теории слова является введение понятия «виртуальных» и «актуальных» семиотических структур лингвокреативного мышления. Актуализация первых обусловливается лингвокогнитивной спецификой человеческого процесса познания, объективируемого многоуровневыми механизмами взаимодействия системы языка и системы мышления. Общую стратегию взаимодействия первой и второй фазы речемыслительного процесса в свое время наметила А.А. Уфимцева: «Применительно к результатам объективации реальной действительности, которые находят прямое отображение в лексических единицах, первая фаза познания “вещь — деятельность — слово” соответствует акту снятия предметного, чувственного, этапу образования представлений и понятий, которые формируют знаковое значение слова как виртуального знака. Что касается второй фазы познавательного цикла — “слово — деятельность — вещь”, то она соответствует в языковой деятельности акту конкретизации обобщенного значения виртуального знака, его семантическому развертыванию в синтагматическом ряду. Словесный знак, таким образом, — основная когнитивная единица языковой системы, которая фиксирует, храня в скрытом виде, формы “перехода” старого опыта (знания) в новый, своеобразно отражает в своем значении ступеньки человеческого познания» (Уфимцева А.А., 1986: 68).

Прогрессивным в таком понимании лингвокогнитивной деятельности является выявление и описание промежуточного, переходного звена — той обширной языковой сферы между виртуальными словесными знаками и их абсолютной семантической актуализацией в конкретных актах речи. Эту промежуточную языковую сферу составляют свободные сочетания слов, словосочетания и фразы

прямой, переносной и косвенной номинации (ср.: Уфимцева А.А., 1986: 68) в единстве их лексической и грамматической семантики. Действительно, языковая репрезентация мыслительных структур несводима к лексическим средствам вербализации действительности. На эту особенность языковой репрезентации мира указывал еще В. Гумбольдт. Ученый писал, что каким бы богатым ни был словарь, он не в состоянии представить во всей полноте концептосферу того или другого народа, поскольку большинство концептов вербализуется в процессе семантического развертывания слов в составные (описательные) структуры так называемого дескриптивного или метафорического выражения.

Как убедительно доказала А.А. Уфимцева, сопряженная актуализация двух или более слов обладает не только более мощным когнитивным потенциалом, но и служит в высшей степени национально-специфическим средством выражения этнокультурного мировосприятия. К такого рода языковым средствам относятся:

а) свободные сочетания слов с переменными членами лексической синтагмы: *зеленые листья*, *зеленые глаза*, *зелень лесов* и т.п. Это основная форма реализации прямых номинативных значений;

б) так называемые расчлененные наименования типа *зеленый специалист*, *зеленое яблоко*, в которых главные члены синтагм (*специалист*, *яблоко*) реализуют свои прямые значения, а зависимый *зеленый (-ое)* переносное значение;

в) лексические синтагмы, в которых оба члена переосмыслены: *зеленый друг* — 'о деревьях, лесе, зеленых насаждениях';

г) многообразные фразеологизированные выражения: от фразеологически связанных сочетаний до идиом типа *до зеленого змия* — 'мертвецки, до галлюцинаций, нервного расстройства и т.п. (напиваться, быть пьяным)', *открывать зеленую улицу* кому, чему — 'устранять препятствия, задержки, мешающие осуществлению чего-либо', 'давать возможность осуществить что-либо', *елки зеленые прост.* — 'выражение досады, восхищения, недоумения и т.п.'.

Что же касается метода концептуального анализа, то в строго терминологическом смысле его пока не существует. Само словосочетание *концептуальный анализ* используется метафорически, а если отдельные авторы и называют «свой» анализ концептуальным, то он, как правило, представляет собой набор приемов, взятых из

уже известных методов (ср.: Кошарная С.А., 2002). В настоящее время имеет смысл говорить не столько о специфических приемах концептуального анализа, сколько о методологической целесообразности комплексного использования общелингвистических приёмов:

- «визуальной» методики Р. Лангакера, методики «профилирования» Е. Бартминского и его школы;
- описания по предикатным связям и моделированию «диагностических контекстов»;
- описания концепта по его ассоциативному полю на основе анализа языковых значений по их словарным дефинициям;
- этимологического анализа С.А. Кошарной (2002: 103);
- методики изучения концепта через лексико-грамматическое поле лексемы, его репрезентирующей.

Доминирование в этом тандеме того или иного приёма определяет специфику соответствующей методики.

1.3. Теоретические предпосылки исследования «живого» слова

Обоснование когнитивно-семиологического статуса «живого» слова опирается на следующие гипотетические установки.

1. Если исходить из двуединой сущности языка, то частью когнитивно-дискусивного подхода может быть *семиологический* принцип описания языка, отражающий представления Ф. де Соссюра о двуплановом модусе существования языка / речи. По Соссюру, семиологическое измерение знака представляет собой фиксацию разных этапов отношения знака к понятию (эти отношения графически обозначаются правой стороной семантического треугольника Огдена—Ричардса). В рамках знаковой теории языка семиологический принцип нашел свое развитие в трудах Э. Бенвениста, в частности, в его теории о двойном означивании языковых единиц. Позже этот принцип был воспринят И.А. Бодуэном де Куртенэ, также убежденном в билатеральной сущности языка — как комплекс категорий и как беспрерывно повторяющегося процесса.

В отечественном языкознании основополагающие постулаты семиологического принципа впервые были сформулированы

Ю.С. Степановым в 1976 г. (1976: 206), а затем конкретизированы и развиты А.А. Уфимцевой (см.: Уфимцева А.А., 1986: 68). В наше время разработка семиологического подхода была продолжена за рубежом в трудах А.-Ж. Греймаса, а в отечественном языкознании последователями Ю.С. Степанова — В.В. Мартыновым, А.А. Уфимцевой, Н.Н. Болдыревым и др.

Для зарубежной лингвистики характерно предельно широкое понимание семиологии. Наиболее ярко ее представляет Ролан Барт. В актовой лекции, прочитанной им 7 января 1977 г. при вступлении в должность заведующего кафедрой литературной семиологии в Колледже Франс, обширность этого подхода сформулирована следующим образом:

1. Семиология — это не категориальная сетка, в которую можно было бы непосредственно уложить реальность, приписав ей универсальную смысловую проницаемость. Скорее, ее задача в том, чтобы — время от времени то в одном, то в другом месте — будоражить реальность; она утверждает, что такой будоражащий эффект возможен и без всякой сетки; наоборот, именно тогда, когда семиология пытается стать такой сеткой, она теряет всякую будоражащую силу. Отсюда следует, что семиология не способна подменить собой ни одну конкретную науку. Хотелось бы, чтобы семиология не вытесняла ни одной исследовательской дисциплины, но, напротив, помогала им всем, служила своего рода джокером современного знания, подобно тому, как сам знак является джокером всякого дискурса.

Семиология окажется скорее *семиотропией*: повернувшись лицом к знаку, она заморожена им, взирает на него и его воспринимает <...> как некое воображаемое зрелище. Знак — по крайней мере, знак, предстающий взору семиолога, — всегда дан ему непосредственно, он бросается ему в глаза со всей очевидностью, словно вспышка воображаемого. Именно по этой причине семиология, в понимании Р. Барта, **не есть герменевтика**, она не столько раскапывает смыслы, сколько зарисовывает реальность... Ее излюбленные тексты созданы воображением: это повествования, образы, портреты, разного рода экспрессивные образования, идиолекты, страсти, структуры, обладающие видимостью правдоподобия и в то же время недостоверностью истины. По мнению Р. Барта, семиологией можно было бы назвать последовательность операций, позволяю-

щих (или сулящих возможность) обращаться со знаком как с расписным полотном или, если угодно, с вымыслом.

Подобного рода рассуждения звучат для нас несколько витиевато, однако в них содержится глубокий смысл, позволяющий выделить *предмет* лингвокультурологической семиологии в безграничном семиотическом Космосе, оставив за его рамками интересы герменевтики и общей семиотики.

Дело в том, что семиотика изучает знаки не только естественных, но и искусственных языков, знаки техники, архитектуры искусства, поведения и т.д. (Б.В. Григорьев). Своеобразие предмета лингвокультурологической семиологии состоит в том, что он изучает знаки с точки зрения их а) **синтактики** — сочетаемости знаков между собой по своим собственным законам, б) **семантики** — их способности выражать культурно маркированные значение и смысл, в) **прагматики** — лингвокультурологического интерпретатора.

Для когнитивной лингвокультурологии опора на принципы семиологии соответствует основному свойству объектов самой лингвокультуры. Он органически совмещает в себе их важнейшие параметры: стабильность и динамизм. При этом, не отрицая стабильности языковой системы (всякая система стабильна; утратив стабильность, система распадается), декларируется ее *динамический* характер. Единство противоположностей достигается, если перефразировать Ю.С. Степанова, с помощью «челночной процедуры» абстрагирования от дискурса к семантике, а от семантики снова к дискурсу и обратно.

2. Учитывая тот факт, что язык при семиологическом подходе понимается прежде всего как комплекс категорий, поиск адекватного методологического принципа для когнитивной лингвокультурологии целесообразно вести в направлении *когнитивной интерпретации самих языковых категорий и принципов их формирования*.

В этом отношении, по мнению Н.Н. Болдырева, может оказаться полезным прототипический принцип формирования категорий, позволяющий по-новому взглянуть на проблему взаимоотношения семантики и дискурсивных условий ее формирования, на единство системного и функционального аспектов в языке (см.: Болдырев Н.Н., 2002: 98 и сл.).

Особенно методологически ценным этот подход может оказаться в рамках теории синергетики языка, сознания и культуры, поскольку он отражает идею непрерывности категориального континуума, т.е. идею зыбкости межкатегориальных границ, что выражается в плавном и непрерывном переходе от одной категории к другой (см.: Болдырев Н.Н., 2002: 81).

В центре структурирования категории находится идея относительного сходства, или подобия (но не абсолютного тождества!) объектов мыслительного отражения. Это означает, что объекты, подводимые под ту или иную категорию, воспринимаются в фокусе их соотношения к прототипу данной категории, по степени их сближения с прототипическими свойствами категории. Соответственно, эта же идея оказывается определяющей при выявлении «семейного сходства» вновь познаваемых объектов. Она лежит и в основе всей многоуровневой категоризации мира: системной и функциональной, сенсорно-рефлекторной и когнитивно-дискурсивной.

Реализация прототипического принципа одновременно с системной и дискурсивной (функциональной) категоризацией культурно значимых языковых единиц обеспечивается «нежестким» характером категориальных границ. Именно такая гибкость и лабильность дискурсивной категоризации, опирающейся на общие с прототипом свойства и признаки, позволяет включать в состав категорий не только наиболее ярких представителей данной категории, но и менее типичные объекты познаваемой действительности. Единственным принципиально важным условием такого решения служит их смысловая релевантность в одних и тех же контекстах и соответствие целям или установкам речемыслительного акта.

Прототипический характер формирования категорий открывает новые (когнитивно-дискурсивные) перспективы применения семиологического подхода к лингвокультурологическому описанию языка и его единиц. А поскольку прототипическая категоризация мира является по своему существу когнитивной, есть все основания такой принцип исследования назвать *когнитивно-семиологическим*. Принципы когнитивно-семиологического исследования, в противоположность генеративному, структурному и традиционно-описательному, впервые в отечественном языкознании, как уже отмечалось, были сформулированы Ю.С. Степановым и конкретизированы

А.А. Уфимцевой. Затем семиологический подход был незаслуженно отодвинут с авансцены лингвистических исследований, видимо, в связи с его структуральным прошлым. Однако в наше время, когда идеи генеративной и структурной лингвистики подвергаются переосмыслению (а значит, и переоценке) с позиций интеграционного подхода к явлениям речемыслительной деятельности, возникает необходимость обратиться к истокам семиологии, чтобы отделить зерна от плевел — семиологический креатив от структурального догматизма. Прежде всего попытаемся уяснить, как соотносятся между собой семиология и семантика.

Семиология и семантика. Для решения этой задачи может оказаться поучительным опыт А.-Ж. Греймаса. Ученый предлагает различать два самостоятельных *уровня речи* — семиологический и семантический, он считает их двумя разными способами речевого представления содержания. Элементы таким образом структурированного содержания, вступая в дискурсе в парасмысловые отношения, обеспечивают двухуровневое существование значения. Выделяются, однако, названные уровни не с целью последующего описания, а для уточнения способа их *содействия* и ради того, чтобы очертить их контуры и конфигурации.

Введением в структуру означающего универсума двух уровней значения особо подчеркивается их взаимная относительная независимость. Вместе с тем утверждается, что, будучи рассмотрены совместно, эти два уровня образуют имманентный универсум значения, по праву *предшествующий проявлению составляющих его элементов в дискурсе*. Семантика слова существует в двух измерениях — в системе языка и в дискурсе. Причем в дискурсивной деятельности нередко появляются смыслы, которые системой языка не эксплицируются. Они порождаются когнитивными пропозициями в конкретном высказывании. Если предложение-высказывание — это модель факта, модель действительности, какой мы ее себе представляем, то его, по мнению Т. де Мауро, можно назвать «проекцией возможной ситуации» (Мауро де Т., 2000: 75) в семантическом пространстве «возможных миров» (Л. Витгенштейн, Дж. Сёрль, Д. Вандервекен, В.В. Целищев, Вяч. Вс. Иванов, Н.В. Черемисина, А.П. Бабушкин). Речевая интенция, т.е. потребность выразить пропозитивный смысл, или пропозициональное содержание (Лайонз Дж., 2003: 157, 163),

предопределяет позиционную схему высказывания, для заполнения позиций которой подбираются соответствующие слова.

В связи с многозначностью этого термина уточним, что нами он употребляется для обозначения особой оперативной структуры сознания (Ю.Г. Панкрац), порождаемой восприятием событий и явлений в их взаимодействии. Пропозиция — «речемыслительное отражение "положения дел", представляющего предмет не в отвлечении от совершающихся в нем процессов, а изменяющийся объект, рассматриваемый в единстве с процессом» (Кацнельсон С.Д., 2001: 459).

Поскольку нужного слова в системе языка нет, приходится использовать имеющиеся лексемы, которые вынуждены, погашая свое системное значение, «подстраиваться» (Попова З.Д., 1999: 11) под объективируемый в дискурсе пропозитивный смысл, связанный с переживанием субъективной значимости тех явлений или событий, которые оказались в зоне действия ведущего мотива. В результате семантика слова видоизменяется и становится предметом семиологии, науки о процессуальной (дискурсивной) семантике. Эта *противопоставленность системы процессу* принимается далеко не всеми исследователями. Более того, семиология сегодня становится сферой, где встречаются интересы нескольких гуманитарных дисциплин.

А.-Ж. Греймас, например, стремится противопоставить собственную позицию структуральному пониманию. Прежде всего этим он пытается привлечь внимание тех лингвистов, которые сущность семиологии ищут в недрах феноменологической психологии или генетики и нередко представляют такое понимание как самостоятельную теорию, существующую параллельно собственно семиологическому подходу.

Прежде всего отметим, что ученый стремится убедить нас в логическом предшествовании и самостоятельности семиологического уровня по отношению к уровню семантическому. Автор противопоставляет свое понимание семиологии основным постулатам теории лексического символизма, его природы и происхождения. В частности, он критически настроен к «Антропологическим структурам воображаемого» Ж. Дюрана. Это противопоставление вызвано тем, что его оппонент касается по существу тех же проблем, которыми озадачен сам А.-Ж. Греймас. Однако методы, применяемые иссле-

дователями, а также предлагаемые ими решения находятся на разных методологических полюсах.

Так, теория символической семантики, которая особенно занимает Ж. Дюрана, основана на критериях генетического характера. Она опирается на рефлексологию Бехтерева и на основополагающее различие трех *доминантных рефлексов*: двигательного, пищеварительного и копулятивного. Именно рефлексологический уровень, рассматриваемый в качестве онтогенетически исходного, породил, по мысли Дюрана, некое подобие систематизации телодвижений, находящихся «в тесном сосуществовании» с символическими представлениями. Этот уровень, сам по себе еще не являющийся символическим, и лежит в основании семантического символизма. Такой, например, является символическая семантика фраземы *махнуть рукой* на кого, на что — ‘перестать обращать внимание; перестать заниматься кем-либо или делать что-либо’. Ср.: 1. *Затем приехал в Киев и, махнув рукой на дела, три дня проходил хмельной и радостно возбужденный по городу, по обрывам на Днепром* (И. Бунин. Деревня); 2. *Пробовали, конечно, повлиять на него, и не раз, но все без толку... Так и махнули на него рукой* (В. Шукшин. Алеша Бесконвойный). Благодаря семантическому символизму, — убежден Дюран, — становится возможным развитие воображаемого, представленного в *схемах* и *архетипах*. При этом Ж. Дюран покрывает зависимость архетипов от схем. В качестве примера рассматриваются телодвижения человека, которые выступают первичным звеном на оси возникновения символа. И в силу этого телодвижения могут быть названы *схемами*, на базе которых формируются *архетипы*. Так, жест вертикализации, основанный на двигательной доминанте, порождает определения-прототипы «высокий — низкий» (*птица высокого полета*, (быть) *на высоте*, *с высоты своего величия* — *птица низкого полета*, *ниже своего достоинства*, *тише воды*, *ниже травы*). Точно так же, как движение проглатывания, соответствующее пищеварительной доминанте, в случае своего продолжения производит прототипы «содержащее — содержимое» (*проглотить пилюлю* — ‘молча, терпеливо, без всякой внешней реакции снести обиду, оскорбление, выслушать что-либо неприятное; оставить обиду безответной’). Кроме того, те же самые схемы порождают *субстантивные* архетипы типа «свет — тьма», «цвет», «сосуд», «форма — субстанция».

Словом, работа Ж. Дюрана, с точки зрения А.-Ж. Греймаса, одновременно содержит и достоинства, и недостатки, присущие эклектизму. На этом фоне А.-Ж. Греймас стремится найти истинные принципы построения двухуровневой структуры значения. Их поиск основан на понимании семиологии как *процесса*, а семантики — как *системы*. В первом случае семиология соприкасается с проблемой символической репрезентации объектов лингвокультуры.

Семиология и символизм. А.-Ж. Греймас пытается показать, что символизм, в какой бы форме он ни выступал, по природе своей не отличается от других проявлений значения и что при его описании используется та же методология. Затем ученый считает необходимым уточнить свое понимание. Было бы неверно, по его мнению, уподоблять символизм способу существования семиологических структур. Если для самостоятельного функционирования символ и должен опираться на семиологический уровень, он, тем не менее, всегда вынужден содержать в себе ссылку на нечто иное, на некий уровень речи, отличный от уровня семиологического. К сожалению, автор не разъясняет, что представляет собой это «нечто иное». Полагаем, это нечто должно проецироваться природой самого символа, который «не только обозначает что-то, но одновременно и выявляет обозначаемое: выявляет истину, делает ее чувственно, интеллектуально и духовно воспринимаемой» (Колесов В.В., 2002: 67).

Понимание символа чувственно, интеллектуально и духовно воспринимаемой величиной сближает его с вербализованным концептом. Как и в концепте, в символе объективируется предметно-чувственное (образное) и сигнификативное (понятийное) отражение познаваемого. Однако символ — не простой сплав образа и понятия; в нем в потенциальном развитии одновременно сосуществуют сущность и явление, тогда как концепт — только сущность, объективированная в слове. В силу такого рода отличий символ принадлежит к сфере семиотических явлений, а концепт — к области когнитивных категорий. И как таковой символ служит своего рода посредником между концептом и словом.

Выполнение символом столь важной функции становится возможным благодаря его специфическому референту. Содержательная специфика символа обуславливается референтом как идеей, а специфика слова — референтом как вещью. Референт как идея — это

неоформленная «живая форма», из которой может возникнуть «живое понятие» и «живое слово» (см. главу 2). Идея как референт символа — ценностно-смысловая категория, способная формировать культурные концепты. Символ, лишь указывая на референт, сам по себе становится референтом, создавая «известную иллюзию удвоения сущностей» (Колесов В.В., 2002: 69). Этим, собственно, и объясняется тот общеизвестный факт, что референт как идея может быть обозначен и именован разными символами: *птица счастья* (завтрашнего дня), *синяя птица*, *золотая рыбка*. В связи с этим у символа нет собственного денотативного (предметного) значения. Ср.: а) *синяя птица* — «идиллическая, прекрасная, но недостижимая мечта», б) «символ счастья, удачи»; *золотая рыбка* — «счастливая возможность, шанс». Его актуализация осуществляется в конкретном акте дискурсивной деятельности. Например: 1) *Но ведь так бывает: погнался за синей птицей мечты и приехал сюда, к алтайским кедром, еще совсем мальчишкой* (Е. Соломенко); 2) *Правда, бывает, что синяя птица удачи садится на плечо режиссера* (Л. Быченкова). С точки зрения содержания символ является неким когнитивным образованием, отсылающим к подразумеваемому ценностно-смысловому феномену — культуре. С точки зрения формы символ выполняет функцию косвенной отнесенности к содержанию, и главное, не столько указывает, сколько намекает, подразумевает, подсказывает.

Своим явленным аспектом символ может преобразовать слово в слово-символ. «Может» потому, что слово всегда знак, но не каждое слово — символ. Интеллектуально-эмоциональным потенциалом своей сущности символ стимулирует рождение концепта. В обоих случаях мы имеем дело с категориями лингвокультуры: в первом случае — с культурно маркированным словом, т.е. с появлением в семантике слова этнокультурного компонента, а во втором — с культурным концептом. Иными словами, и слово, и концепт своим вхождением в культуру обязаны символу. Ср: *Госпожа министрша погрузилась в обморочное состояние: — Как ты мог подумать? — разрыдалась она. — Я свято несу свой крест — быть женою великого человека.* (Пикуль В.С.). Символ христианского культа, войдя в общекультурное пространство, стал в составе фраземы выражением страдания, испытания.

А.-Ж. Греймас допускает, что семиологическое образует некую разновидность означающего, которое сочленяет символическое означаемое и включает его в сеть различаемых значений. Однако тут же автор поясняет, что область семиологического структурирования гораздо шире любой частной формы символизма. Другими словами, не существует устойчивой корреляции между определенным семиологическим пространством и определенным типом символизма. Семиологическое безразлично к символизму, который содержит его внутри себя. В итоге автор приходит к выводу, что описание семиологического уровня представляет собой самостоятельную задачу, которая должна быть разрешена без принятия во внимание той или иной разновидности символизма.

Сопоставление символического и семиологического позволило А.-Ж. Греймасу увидеть некоторые очертания семиологического уровня, представляющего собой форму содержания. Однако понятия *семиологического* и *формы содержания* не тождественны: если все семиологическое с необходимостью принадлежит форме содержания, то обратное утверждение неверно. Такое соотношение рассматриваемых категорий требует к себе особого внимания со стороны когнитивной науки.

Семиология и когниция. Согласно А.-Ж. Греймасу, семиологический и семантический способы представления содержания встречаются в дискурсе, порождая тем самым особые когнитивно-дискурсивные условия существования значения (Греймас А.-Ж., 2004). Поскольку свойством познавательной креативности обладает именно семиологический уровень, есть основание квалифицировать соответствующий принцип лингвокультурологического исследования как когнитивно-семиологический. Его содержательными составляющими служат семиология, семантика, когниция и дискурс. К сожалению, определение последних остается дискуссионным. Причиной тому является отсутствие понимания их связи с нейролингвистикой.

В связи с этим представляется достаточно перспективной мысль А.-Ж. Греймаса о том, что современные семиологические штудии могут быть активизированы когнитивной психологией и биолингвистикой совместно с логико-семиологическими изысканиями. Справедливо и обратное: интенсивное развитие когнитивной линг-

вистики как интегрированной науки находится в плоскости интеграции семиологических и семантических принципов исследования имплицитного взаимоотношения языка, сознания и культуры, что служит дополнительным аргументом в пользу его именованного когнитивно-семиологическим.

Конечно же, как бы не стремились исследователи найти способы разграничения семиологии и семасиологии, важно не забывать и об их родстве. Семасиологический подход родственен семантическому уже тем, что также обращен к содержательному аспекту языкового знака. Специфика же его — в ориентации на внутреннюю структуру языкового значения. В его активе такие понятия, как *семантема*, *семема*, *сема* и т.п. От семасиологического подхода семиологический отличается тем, что при его использовании в фокусе внимания находится человек как *интерпретатор* результатов мыслительного отражения действительности и центр лингвосемиозиса. Он интегрирует в себе идеи семасиологического и семиотического исследования.

Семантические сети как способ кодирования и хранения знаний. Вербальное кодирование знаний — основная проблема когнитивно-семиологической теории. Дело в том, что, в отличие от когнитивной психологии, продуктом вербального кодирования является не просто знание, а знание языковое. Если когнитивное знание — хранитель информации, то знание языковое формируется в процессе креативной трансформации, переработки и преобразования информации. В итоге лингвокультурное сообщество получает в общественном сознании особую форму структурирования своего внешнего и внутреннего мира — языковую картину мира. Такая картина мира гораздо богаче и многограннее логической картины мира, поскольку содержит не только объективную, но и субъективную информацию, закодированную в прагматической и коннотативной семантике в соответствующих единицах языка. Возьмем, к примеру, известное четверостишие:

Не сотвори себе кумира
Ни на земле, ни в небесах:
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах.
А.Н. Плещеев

Любой носитель русского языка без особого труда из дискурсивного содержания высказывания извлечет больше информации, чем содержится се в его языковом компоненте. Здесь и пословично-метафорическое содержание библейского происхождения: «Не следует создавать божества, идола из кого-, чего-либо; не стоит слепо поклоняться кому-, чему-либо». За ним стоит обобщенный пассаж жизненной философии изначально религиозного характера (2-я Божья заповедь). И метафора *дары мира*. И обобщенно-переносное содержание предложения «*Мы не падем пред ним во прах*» — ‘не будем раболепствовать’.

За счет чего расширится смысловой диапазон дискурсивного образования? Данные когнитивной лингвистики позволяют нам предполагать, что первоначально объективированное предметно-смысловое содержание обогащается за счет его перевода из системы логического мышления в систему мышления лингвокреативного и включения его в глобальную, континуумную модель — языковую картину мира. Поэтому слушая собеседника или читая произведение (художественное или научное), мы пытаемся проникнуть в его подтекст, интертекстуальные и даже интердискурсные связи. В итоге содержание воспринимаемого текста (устного или письменного) постигается нами через *абстрактные когнитивные модели*, которые связаны с процессами концептуализации и категоризации познаваемого мира. Дж. Лакофф выделяет четыре такие модели: пропозициональные, образные, метафорические и метонимические. Понятно, что это лишь лингвокогнитивные модели. Они ни в коей мере не тождественны логическому содержанию воспринимаемого текста. И все же лингвокогнитивная модель соответствует той логической структуре знания, которая позволяет идентифицировать основную идею и языковое значение дискурсивного образования.

Итак, обратимся к пропозициональному моделированию наших знаний об окружающем мире. Есть мнение, что именно этот способ репрезентации знаний является основным. Так, Дж. Андерсон, Г. Бауэр, В. Кинч утверждают, что любые знания о мире хранятся в долговременной памяти человека исключительно в виде единой пропозициональной системы, состоящей из семантических сетей. При этом они, правда, не разграничивают вербальную и невербальную информацию, полагая, что и та и другая подвергаются одинако-

вой семантической интерпретации. И это единство обеспечивается единой пропозициональной системой.

Данная точка зрения интересна тем, что позволяет представить всеобщий механизм получения, переработки и хранения информации. Однако для этого необходимо иметь непротиворечивое понимание сущности самой пропозиции. Пока же понятие пропозиции в разных лингвистических направлениях трактуется, к сожалению, неоднозначно. Так, в работах З.Д. Поповой под когнитивной пропозицией понимаются смыслы, не имеющие языкового выражения («невыразимое», «несказанное»). В случае потребности все-таки выразить пропозитивный смысл мы ищем для этого нужное слово. Но поскольку пропозитивный смысл невербализован, за ним нет закрепленного в языке знака. Поэтому вместо прямого извлечения слова из языковой памяти мы подбираем имеющуюся в языке лексему, которая, как подсказывает нам языковое сознание, может хотя бы косвенно объективировать пропозитивный смысл. В таком случае семантика данной лексики вынуждена адаптироваться к выражению речевой интенции. А это уже задача семиологическая.

Мы будем исходить из современного лингвокогнитивного понимания: пропозиция — единица хранения знаний, а система пропозиций — способ моделирования целостной картины мира в этнокультурном сознании человека.

Механизмы формирования целостной картины мира во многом определяются формами репрезентации самих знаний. Различают знания фактов и знания операций (Андерсон Дж., 2002). Однако и в том и в другом случае информация преобразуется в пропозиции. Дело в том, что границы факта устанавливаются пропозицией в процессе его субъективной верификации. Этим, собственно, факт и отличается от смежных категорий: реалии, события, пропозиции и др. Прежде всего факт не является онтологической единицей (см.: Арутюнова Н.Д. 1999: 488 и сл.). Факт, в отличие от сходных категорий, интерпретируем в процессе *осмысления* познаваемого фрагмента действительности. Осмысленность — тот признак, по которому факт отличается от реалии (она независима от воспринимающего ее человека). Реалия, таким образом, первична; факт как осмысленная категория — вторичен. Однако не следует забывать, что факт референтен. Поэтому осмысленность не означает безграничную от-

влеченность от реального мира. Этим он противостоит фантазии, «кривому зеркалу», исключает связь с личностью говорящего (его оценками, дополнениями, разъяснениями) — всем тем, что затрудняет верификацию. Этим, собственно говоря, факт (хотя и является продуктом осмысления) отличается от таких отвлеченных построений, как теория и концепция. В отличие от концепции, факт не требует доказательств; в отличие от теории, создающейся на основе обоснования и развития, факт устанавливается. Это суждение отлито Н.Д. Арутюновой в лаконичный постулат: «теории надо п о н и м а т ь, а факты — з н а т ь» (Арутюнова Н.Д. 1999: 496).

Восприятие фрагмента действительности, разумеется, не сводится к одному какому-либо факту. Для этого необходимо тем или иным образом представить всю совокупность фактов. Обычно такая совокупность представляет собой *событие*. Причем событие — не простая механическая совокупность фактов, а результат их *осмысления* и *аранжировки*. Именно события представляют собой основное этнокультурное пространство, при этом на первый план выдвигается идея связей и отношений (Там же: 404). Указанное свойство чрезвычайно важно для когнитивно-семиологическое исследования, поскольку когниция — это познание и семиологическая репрезентация явления в его многообразных связях и отношениях. Этнокультурную значимость события передают такие его образные определения, как «веха, а иногда и поворотный пункт на жизненном пути», «зарубка на шкале жизненных уровней, отмечающая высоту взлета или глубину падения», поэтому «событие нельзя не заметить» (Там же: 509). С точки зрения семиологии, событие — «это пункт, в котором онтологическое значение граничит с пропозитивным» (Там же: 519), или фактообразующим. Вспомним: границы факта устанавливаются пропозицией в процессе его субъективной верификации. Если онтологическое значение объективно, то пропозитивное локализуется не в реальном, а «в логическом пространстве, организованном координатами истины или лжи» (Там же: 442) на основе субъективной верификации факта.

В отличие от логической семантики в когнитивистике существует и более широкое понимание пропозиции как категории, которая отражает «нские онтологические существующие отношения

между предметами или предметом и его свойством и осмысленные как таковые в голове человека» (КСКТ 1996: 138). Для конкретизации столь широкого определения можно воспользоваться суждениями С. Д. Кацнельсона: пропозиция является речемыслительным отражением ситуации, проецирующим так называемое «положение дел». Ситуация, в определении В.В. Красных, это «фрагмент объективно существующей реальности, частью которой может быть и вербальный акт» (2001: 194).

Ядром пропозиции выступает «предикат, определяющий собой не только глобальную характеристику «положения дел», или, что то же, события, отраженного в пропозиции, но и аргументов, предполагаемых ее предикативным ядром» (Кацнельсон С.Д., 2001: 458, 459). Введение в данное определение речемыслительного аспекта призвано подчеркнуть, что «пропозиция формируется в концептосфере говорящего человека» (Попова З.Д., Стернин И.А., 2001: 82). Повторяющиеся в одних и тех же речемыслительных ситуациях пропозиции шлифуют их инвариантный остов, или типовую пропозицию, лежащую в основе структурной схемы простого предложения. Определенным способом организованная совокупность типовых пропозиций образует семантическое пространство языка (Там же). Его же структурообразующим принципом, в нашем представлении, и служат семантические сети.

Идея семантической сети, понимаемой как модель памяти, была разработана исследователями в области искусственного интеллекта, в дальнейшем она была развита в работах Ю. Чарняка, Д. Скрэгга и других зарубежных лингвистов. В упрощенном виде семантическая сеть представляет собой совокупность точек, каждая из которых мыслится как узел; сцепление узлов — представление некоего понятия. Однако семантическая сеть — это модель памяти вообще, а значит применима не только в области искусственного интеллекта. Это модель и человеческой памяти.

Человек, будучи сложнейшей целостной системой, причем систем разноаспектных и динамических (биологической, психической, социальной, культурной) находится с каждой из subsystem и со всеми ими вместе взятыми в постоянном взаимодействии (см.: Васильев И.А., 2004: 48-49). В этом контексте вполне допустимо предположить, что и его взаимоотношение с семантическими

сетями является таким же сложным и многоаспектным *системным взаимодействием*.

Сложность человека обуславливается тем, что его конституирует наномасштабное множество достаточно мобильных компонентов и многообразных связей между ними. Более того, органичность и многоаспектность такого рода взаимосвязей предопределена изоморфной организацией анализируемой системы и ее subsystem. Дело в том, что сетевая организация семантического пространства как бы наследует «сетевидную» структуру всей жизнедеятельной системы человека. Подобный системный изоморфизм порождается *системной синергетикой*, обеспечивающей единую комбинаторную жизнедеятельность человека как социокультурного феномена. Именно системная синергетика лежит в основе слаженной работы всего когнитивно-семиологического механизма: 1) актуализация любого элемента семантической сети автоматически приводит к выполнению функциональных «обязанностей» всех других элементов единой синергетической системы; 2) результаты синергетического взаимодействия человека с семантическими сетями, пройдя фильтрацию в кратковременной памяти, закрепляются в анналах *памяти долговременной*, также имеющей «сетевидную» организацию. В связи с этим возникает необходимость выяснить, как соотносятся «сетевидная» организация долговременной памяти и сетевая структура семантического пространства.

Когнитивно-семиологический анализ семантического пространства языка вскрывает имплицитную сущность семантических сетей, выявляет те их конструктивные звенья, которые этими сетями объединяются в целостное семантическое образование. Конструктивными звеньями семантических сетей выступают разные по формату и функциям когнитивные структуры. Их количество и сущность остаются в когнитивной семантике дискуссионными: обычно исследователи используют одну родовую когнитивную структуру — концепт, в пределах которой выделяют несколько ее разновидностей. Имяются также работы, в которых наряду с концептами называются и иные когнитивные образования — представление, схема, понятие, образ и др. Мы выделяем три типа когнитивных структур: гештальты, фреймы и концепты.

Гештальты — целостные образы, например: *море* (при этом не актуализируются такие его детали, как берег, волны, рыбы, корабли и т.п.); *путешествие* (здесь растворяются в целом путешественники, способ их передвижения, снаряжение); *пустыня* (имплицитными остаются такие атрибуты пустыни, как верблюд, песок, знойное солнце и др.).

Фреймы (скрипты, или сценарии) — сложные когнитивные структуры со стандартным набором удерживаемых в памяти компонентов: *экскурсия* (группа, экскурсовод, рассказ, осмотр достопримечательностей и возвращение на исходную позицию); *рыбалка* (рыбак, рыба, удочка, сеть, баркас и т.п.); *операция* (больной, хирург, медицинское действие, наркоз, наложение швов и др.); *свадьба* (жених, невеста, дружки, гости, венчание, застолье и т.п.). Разделяя мнение Е.Г. Беляевской (1992: 28), О.Н. Прохорова называет важнейшими такие свойства фреймов, как а) их способность к взаимопроникновению; б) структура, позволяющая фокусировать внимание человека на одной из частей фрейма; в) стереотипное, типизированное представление в сознании человека некоторой ситуации (Прохорова О.Н., 2005: 248—254).

Собственно *концепт* — когнитивная структура, выступающая в роли оперативной единицы сознания. Когнитивные структуры, как известно, являются результатом членения семантического пространства языка и коррелятивного структурирования единиц мыслительного и языкового кода. Языковой знак, по образному выражению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, это «ключ, открывающий для человека концепт как единицу мыслительной деятельности» (2001: 38), «он включает концепт в наше сознание, активизируя его в целом и «запуская» его в процесс мышления» (2001: 39). Данная аналогия справедлива также для гештальта и фрейма, поскольку цитируемые авторы рассматривают их как разновидности концепта.

Важнейшим механизмом формирования смыслового содержания каждого из выделенных типов когнитивных структур является *пропозиция*, поскольку именно она опирается на оценочно-ценностные ориентиры человеческого мышления.

Человек, по утверждению Н.Д. Арутюновой, сначала выделяет некий фрагмент (реалию) окружающей действительности, затем сосредоточивается на одном из его аспектов, структурирует его по

модели суждения (оно, как известно, может быть истинным или ложным) и наконец в результате его верификации получает факт. Конструктивным элементом факта, как и пропозиции, является предикат. Получение факта предполагает приписывание пропозиции значения истинности. А это значит, что пропозиция должна соответствовать реальной действительности, хотя исключить субъективные моменты в содержании факта невозможно.

Пропозиция очерчивает не только границы (объем), но и «семантическую глубину» (уровень погружения в действительность), количество сообщаемой информации. Так, знание о мире, объективируясь в том или ином высказывании, постепенно из совокупности реальных преобразуется в *представление* о мире как о совокупности фактов и событий. Знания фактов и событий составляют имплицитное содержание высказывания. Смысловое содержание высказывания, имплицитное содержание факта, называется фактообразующим. Динамический характер смыслового содержания высказывания детерминируется, как правило, глагольными предикатами.

Действительно, смысловая структура фактообразующего содержания высказывания проектируется релятивным значением глагольного предиката. В силу чего именно предикат становится ядром смыслового содержания высказывания (Н.Д. Арутюнова, Н.Ю. Гончарова). Это, утверждают когнитологи, обусловливается психологическими особенностями нашего мышления, важнейшей из которых является *событийность*.

Причем фактообразующее смысловое содержание не стоит искать в поверхностной структуре высказывания. Оно формируется в процессе интерпретации соответствующей пресуппозиции (фоновых знаний конкретной ситуации). И все же, при всей имплицитности, фактообразующее содержание должно быть хотя бы косвенно выражено языковыми средствами. Как правило, таким средством выступает категория модальности. Знание о реальном положении дел, указывающем на определенный факт, человек получает из формально-грамматического оформления глагольного предиката. В языковом сознании данная информация о факте приобретает пропозициональную форму.

Как видим, пропозиция и пропозициональная форма — это важнейшие средства построения когнитивных моделей для вербально-

го получения, хранения и передачи информации. Вербализованная концептуальная картина мира образует этнокультурное по своей сути семантическое пространство языка.

Таким образом, можно выстроить следующую последовательность кодирования (фиксации и осмысления) в нашем сознании познаваемой действительности: *реалия* → *факт* → *событие* → *пропозиция* → *семантические сети* → *картина мира* → *семантическое пространство языка*.

Декодирование информации, хранящейся в семантическом пространстве языка, направлено на воспроизведение в языковом сознании картины мира и осмысление конкретных событий, фактов и реалий.

1.4. «Живое» слово и его дискурсивная среда

Возможность создания когнитивно-семиологической теории «живого» слова опирается на фундаментальное положение когнитивной науки, ориентированной на изучение закономерных связей и отношений языковой системы со средой. В лингвистике понятие среды впервые обосновано А.В. Бондарко: «это множество языковых (в части случаев и неязыковых) элементов, играющее по отношению к исходной системе роль окружения, во взаимодействии с которым она выполняет свою функцию» (Бондарко А.В., 2002: 194). Его содержание основано на двойственности картины мира, поскольку включает в себя объективную действительность и ее отражение в нашем сознании, т.е. реальную действительность и идеальный мир человека. Семиотизированный внутренний мир человека — основа лингвокультурологии, поскольку «человеческие культуры создаются на основе той всеобъемлющей семиотической системы, которой является естественный язык» (Лотман Ю.С., 2000: 400). В этом, собственно, и состоит главное отличие когнитивной лингвистики от системного языкознания, изучающего внутривидовую организацию языка.

Задача когнитивной лингвистики значительно шире: изучать «живое» слово как средство организации, обработки, хранения и передачи информации. Когнитивно-семиологическая теория слова

не просто принимает участие в решении значительной части этих задач, но и специфически их решает. Специфика определяется ролью данной теории, представляющей характер и механизмы взаимодействия языка и соответствующего культурного пространства. Задача этой теории — показать пути и средства преобразования знаний о среде (этнокультурном пространстве) в смысловые элементы языковой семантики.

Предметом когнитивно-семиологической теории «живого» слова являются *системно-функциональные* механизмы интериоризации знаний, представлений, мнений об объективной действительности, выработанных человечеством в рамках той или иной этнокультуры, их вербализации в виде компонентов (сем) семантической структуры номинативных единиц языка. И в этом плане такого рода системы оказываются творением человеческого разума, продуктом ценностно-смыслового восприятия действительности. Наиболее известные из них: *картина мира, концептуальная система мира, модель мира, образ мира*.

Каждая из этих систем представляет собой относительно завершенный и целостный фрагмент *глобального образа мира*, который, в свою очередь, является буферным звеном между предметно-практическими (материальными) и духовными (идеальными) аспектами нашей жизнедеятельности, выступая универсальным средством образования того или иного этнокультурного сообщества. Они представляют структуры особой философии познания мира — *герменевтики*, которая в отличие от гносеологии *не открывает, а истолковывает* познаваемую действительность. Возможность структурирования познаваемого мира исходит из сущности основополагающей категории когнитивно-семиологической теории лингвокультуры, которой, в нашем представлении, и является *глобальный образ мира*. В основу когнитивно-семиологического структурирования глобального образа мира кладется та же тройственная связь между «предметом», «концептом» и «словом», с тем лишь отличием, что исходной точкой здесь оказывается не «концепт», а «слово», связующее предмет и его отражение в нашем сознании (ср.: Колесов В.В. 2002: 8). При таком подходе даже универсальные (общечеловеческие) концепты типа «Жизнь», «Смерть», «Любовь», «Вечность», «Добро», «Зло» рассматриваются с точки зрения их этнокультур-

ного понимания, поскольку «живое» слово — продукт герменевтики, знаковое средство этнокультурного истолкования познаваемого фрагмента действительности. Поэтому столь правдиво воспринимается четверостишие В. Берестова: *Не бойся сказок. Бойся лжи. / А сказка? Сказка не обманет. / Ребёнку сказку расскажи / — На свете правды больше станет.*

Можно сказать, что интерпретированное слово, став этнокультурным знаком, вне всякого сомнения, наполняется тем жизненным содержанием, без которого человеку было бы сложно (если не вовсе невозможно) ориентироваться в ценностно-смысловом пространстве родной культуры.

Глобальный образ мира — основа субъективного миропонимания, результат системной духовной активности человека по освоению всей своей предметно-практической деятельности. Такого рода субъективный образ объективной действительности, оставаясь образом реального мира, непременно подвергается семиотизации, объективируется разными подсистемами языковых знаков, которые, не будучи зеркальным отражением реальности, творчески ее интерпретируют и после такой герменевтической обработки вводят в уже сложившуюся систему мировосприятия (Роль человеческого фактора 1988: 21). В итоге глобальный образ мира усилиями коллективной лингвокреативной деятельности этнокультурного сообщества превращается в этноязыковую картину мира, поскольку, во-первых, различные этносы используют разные средства интериоризации и семиотизации открытого для себя (познанного) мира; во-вторых, у каждого из них уже имелась ранее сложившаяся система мировосприятия. В отличие от концептуального образа мира, который, со всей очевидностью, имеет двойственную природу (с одной стороны, это элемент сознания, с другой — еще неопредмеченный образ реального мира), этноязыковая картина мира не только опредмечивает (при помощи семиотических систем не обязательно собственно языковой природы) когнитивное сознание, но и переводит его в «автоматический режим», т.е. на уровень под-
с о з н а н и я. Это достигается, как мне представляется, в процессе объективирования концептуальной картины мира (его денотативно-сигнификативного образа) в семантическое пространство естественного языка.

Этноязыковая картина мира, будучи вторичным, производным образованием, — сложна, вариативна, динамична. И тем не менее у нее есть некий инвариантный остов: этноязыковые константы, входящие в состав сознания каждого члена данного этноязыкового сообщества. Благодаря этноязыковым константам обеспечивается взаимопонимание столь разных индивидуальных сознаний не только в рамках одной этноязыковой культуры, но и так называемая межкультурная коммуникация. Последняя осуществляется благодаря общим для языка и культуры категориальным свойствам, среди них: 1) культурные и языковые формы сознания, отражающие мировоззрение этноса, которые 2) ведут между собой постоянный диалог, поскольку коммуниканты — всегда субъекты определенной этнокультуры (субкультуры); 3) язык и культура имеют индивидуальные и общественные формы существования; 4) им свойственны нормативные коды, подчиняющиеся принципу историзма; 5) они взаимно предполагают друг друга: язык — основной инструмент усвоения культуры, форма воплощения национальной ментальности; культура находит свою реальную жизнь в языке как одной из важнейших систем ее семиотического воплощения.

«Внешний мир, в который погружен человек, чтобы стать фактором культуры, подвергается семиотизации (оязыковлению. — И.А.) и разделяется на область объектов, нечто означающих, символизирующих, указывающих, то есть имеющих смысл, и объектов, представляющих лишь самих себя» (Лотман Ю.М., 1999: 178). И все же говорить о полной идентичности языка и культуры нет оснований. Каждое из явлений обладает своими различительными признаками:

1) *язык* как средство коммуникации одинаково принадлежит всему этнокультурному сообществу, хотя средством ее существования является индивидуум; *культура* наиболее полно эксплицируется в элитарном коллективе;

2) *язык* — обладает ярко выраженной синергетикой; *культура* без знаковых опосредователей не способна к самоорганизации. Следовательно, это разные семиотические системы: первая обслуживает вторую, хотя вторая наиболее рельефно проявляется только на фоне языкового ландшафта;

3) эти и другие различия обусловлены их разными системно-функциональными возможностями: лингвосемиотика как система

не полностью «покрывает» предметную область культуры и, наоборот, этнокультурное пространство многообразнее и богаче культурно значимого семантического пространства языка. Речь можно вести лишь о синергетике языка, сознания и культуры (Алсфиренко Н.Ф., 2002). И ведущим механизмом в этом синергетическом континууме оказывается языковая модель мира, поскольку именно в ней отображается многоплановая действительность: а) исторически сложившийся в данном этноязыковом сообществе образ мира, б) зафиксированный в грамматике канонический свод нормативных субъектно-объектных отношений между конституентами этноязыкового пространства, в) выработанный веками лингвосемиотический механизм *концептуализации* мироздания. В силу этого каждое этноязыковое сознание отражает именно ту, а не иную картину мира, способ ее восприятия и кодировки — семантическое пространство соответствующего языка. Семантическое пространство языка соотносимо с этноязыковым сознанием, ибо представляет собой единую и целостную систему взглядов — коллективную философию, которая усваивается всем этноязыковым сознанием в целом и сознанием каждого члена языкового коллектива в отдельности, как в капле росы отражающем этнокультурный мир человека.

Целостное этноязыковое сознание является способом существования концептосферы языка (Ушакова Т.Н., 2000). И в этом своем статусе соотносимо с такой основополагающей категорией когнитивной семиологии, как «языковая картина мира».

1.5. «Языковая картина мира» и этнокультурная специфика «живого» слова

Само понятие в лингвистический обиход было введено В. Гумбольдтом. И все же, несмотря на огромную популярность, оно пока не обрело терминологической определенности. Ю.Н. Караулов отмечает скованность лингвистов при оперировании этим понятием в строгом терминологическом смысле и в результате придание ему метафорического характера (Караулов 1999: 89). Все это побуждает исследователей к более четкому определению самого термина и от-

граничению его от смежных категорий, таких, например, как «модель мира».

Используем прежде всего толковый словарь. Рассмотрение значений слова *картина* помогает выделить важнейшие свойства данного понятия. «Картина» в Словаре Ожегова означает 'то, что можно видеть, обозревать или представлять в языковых образах', а также 'вид, состояние, положение чего-нибудь'. Большой толковый словарь русского языка (БТСР) дополняет первое из представленных здесь значений: 'яркое и выразительное словесное изображение чего-нибудь'. При этом изображение толкуется через образ, а образ определяется как 'воспроизведение сознанием предметов и явлений внешнего мира'. Следовательно, языковая картина мира несет в себе изображение мира при помощи языковых средств, которое и создает наглядное представление о предметах и явлениях окружающей действительности. В конечном итоге «языковая картина мира» есть воспроизведение в языке при помощи средств языка предметов и явлений окружающей действительности. *Картина* подразумевает целостное отражение, которое тем или иным способом воспроизводит положение, состояние предметов и явлений окружающего мира. Картина мира отражает действительность подобно тому, как отражает ее художественное полотно. Она отражает сами элементы в их различных состояниях, связях. Отражая мир в его бесконечном многообразии и целостности, языковая картина мира указывает на составляющие картины, их состояние, положение, т.е. связи по отношению друг к другу.

«Языковая модель мира» терминологически иногда употребляется синонимично «языковой картине мира». Возможность их взаимозамены, тем не менее, не исключает необходимости выявить различия между ними. Модель может означать 'предмет, точно воспроизводящий в уменьшенном виде или в натуральную величину какой-либо другой предмет', а также 'схему, математическое описание устройства какого-либо физического объекта или процесса, протекающего где-нибудь' (БТСР). Таким образом, модель воспроизводит другой объект, представляя его схему, описывая устройство. Соответственно, языковая модель мира указывает на то, как мир устроен. Она акцентирует функциональный аспект данного типа представления. Языковая модель мира представляет возмож-

ное понимание устройства мира, выраженное при помощи языковых средств.

Представляется, что языковая картина мира и языковая модель мира — термины не взаимозаменяемые и даже разнопорядковые. Модель мира представляет собою результат концептуализации мировоззренческих категорий культуры, и в этом смысле языковая модель мира есть некая абстракция. Языковая модель мира предполагает языковое воплощение модели мира как таковой. Модель мира относится к объектам исследования культурологии, философии; языковая модель мира изучается лингвокультурологами с целью выявления особенностей языкового воплощения модели мира. Языковая картина мира создается посредством анализа языкового материала. Лингвокультурология черпает сведения о языковой картине мира из лингвистики. Подобного рода суждения снимают вопрос о первичности / вторичности *картины мира* и *модели мира*. Представляется, что первична модель мира. Она может быть репрезентирована как в языке, так и в других медиаторных средствах. В широком смысле модель мира имеет *объяснительную* силу, картина мира — *описательную*, констатирующую. Однако в обоих случаях единицей объяснения и описания служит «концепт».

По выбору материала исследования в лингвокультурологии наблюдается несколько направлений изучения концептов. Вежбицкая использует «ключевые культурные концепты», обнаруживая национально-культурную специфику через семантические примитивы на материале несблизкородственных языков (Вежбицкая А., 1996: 329). Преимущественно одноязычный анализ концептосферы языка представлен, например, в проекте «Логический анализ языка» студии Т.В. Булигиной и А.Д. Шмелева. Их исследования прекрасно раскрывают сущность концептосферы русского языка. Однако попытки некоторых авторов показать этнокультурное своеобразие языковой картины мира на материале одного языка не имеют доказательной базы. Если устранение концептов «материального мира» из поля зрения исследователя лишь ограничивает картину мира, то суждения о национально-культурной специфике, делающиеся на одноязычном материале, вульгаризируют. Второе уязвимое место в лингвокультурологии — многоликость концепта и механический перенос его понимания из когнитивной

психологии. А между тем интерпретация концепта во многом предопределяет выводы, делаемые в лингвокультурологическом исследовании. Считается целесообразным закрепить за концептом статус оперативной единицы ментальности, которая на вербальном уровне обозначается словом, словосочетанием или фразеологизмом. Как ментальная единица концепт выполняет в структурировании картины мира роль стержневого элемента.

Для лингвокультурологии неприсмлемо понимание концепта как образа исключительно абстрактной сущности. Видимо, поэтому было создано понятие культурного концепта. Намерения благие: спустить концепт с высот абстракции на осязаемую лингвокультурологическую почву. При этом обнаруживается другая крайность — попытки закрепить за культурным концептом исключительно этноцентрическое содержание. На наш взгляд, нет достаточных оснований причислять к культурным концептам лишь те объекты, которые обладают ярко выраженной национально-культурной спецификой. Только широкий подход к пониманию культурного концепта позволит не только развивать теорию взаимосвязи мышления, сознания, культуры и языка, но и приблизиться к когнитивно-дискурсивным тайнам порождения национально-культурного компонента в семантике языкового знака. Только в единстве лингвокультурологических и когнитивно-семиологических методик может быть решена проблема полномасштабного моделирования языковой картины мира, а также выявления тех механизмов, которые определяют ее этнокультурное своеобразие.

Словосочетание «национально-культурный компонент языкового значения», хотя и стало популярным в современных исследованиях, еще не обрело устойчивого и общепринятого понимания. Понятно лишь, что оно призвано фокусировать смыслы, рождаемые взаимодействием национального и культурного факторов формирования семантической структуры слова (фразеологизма). Но в чем его терминологическое содержание? В поисках ответа на этот непростой вопрос В.Г. Гак предлагает различать национальную и культурную специфику.

Национальную специфику слова, по его мнению, предопределяют два фактора: объективный и субъективный. Выявляются они путем сопоставления языков. Под *объективным* фактором понима-

ется ценностно-смысловая значимость естественных и культурных реалий, определяющих своеобразие жизненного пространства того или иного народа. *Субъективный* фактор характеризуется возможностью факультативного выбора знакообозначений одних и тех же реалий, которые по-разному представлены ментальностью разных языковых сообществ. Иными словами, национальная специфика проявляется различными языковыми репрезентациями одних и тех объектов реальной или воображаемой действительности. Причем такие различия не всегда культурно маркированы, а часть таких различий и вовсе могут быть не обусловлены культурными факторами. Культурная специфика, согласимся с В.Г. Гаком, предполагает соответствие слова определенному элементу ментальности или какому-либо объекту предметно-культурного пространства народа, его истории, верованиям, традициям и естественным условиям жизни (Гак В.Г., 1999: 48). В этой сфере и следует искать источники синергетики национального и культурного компонентов семантической структуры слова. Именно таким является слово *распутищина* в романе В. Пикуля «Нечистая сила»: *Вернувшись в Верхотурья, Распутин был явно ненормальным, потом он вроде оправился, и здесь летописцы отмечают в нем страшный взрыв чувственности, словно нечистая сила поселила в нем беса блудного! Но дикую животную похоть Гришка неизменно облакал в формы богоугодничества — этим он невольно закладывал первый камень в фундамент будущей «распутищины»* (Пикуль В.С.).

Необходимо, однако, заметить, что разведение национальной культурной специфики не представляет единственно возможного толкования анализируемого явления. Ряд лингвистов в качестве предмета анализа исследуют национально-культурную специфику слова в ее единстве. В основе такого подхода — точка зрения А. Бердяева, признававшего культуру национальной по сути: «Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть национальная» (Бердяев Н., 1997: 85). Именно данное философское воззрение является базовым для исследований национально-культурной специфики фразеологизмов русского языка В.Н. Телия. Она считает, что все, что может быть истолковано в терминах оценочности, при-

надлежит к кругу национальной культуры (Тслия В.Н., 1998: 214). Другие исследователи (например, Н.М. Фирсова) полагают, что национальная специфика слова этнически обусловлена, т.е. продиктована фактом принадлежности к определенному этносу.

Итак, лингвокультурологическое исследование сосредоточено прежде всего на анализе национальной специфики, реализующейся в особенностях культурно-языкового взаимодействия. Поэтому второй задачей лингвокультурологии является исследование культурно-языковой специфики. Для этого предлагаются два метода: сравнительный и интроспективный. Сравнительный подход (см. Седых А.П., 2005: 118) предполагает сравнение с другими языками и культурами, поскольку именно сравнение способствует выявлению общих и специфических черт. Интроспективный анализ предполагает работу с информантами и текстовый анализ языкового материала с целью выявления национально-культурной специфики языка (Добровольский 1997: 40). Сочетание интроспективного и сравнительного методов при изучении национально-культурной специфики поможет уйти от полного этноцентризма (Стефаненко Т.Г., 2000: 153–154), когда культурно-языковым стандартам одного сообщества придается статус универсалий. С другой стороны, сочетание данных исследовательских эвристик позволяет избежать противоположной крайности, состоящей в обособленном лингвокультурологическом описании «живого» слова, которое невозможно решить без обращения к внутренней взаимосвязи культурно-языковых универсалий и уникалий. Насколько это важно для изучения национально-культурной специфики слова?

В настоящее время этот вопрос находит различные, вплоть до взаимоисключающих, решения. С одной стороны, нигилистический взгляд на признание устойчивых связей языка и культуры ведет к недопущению концепции культурно-языковой специфики «живого» слова. С другой стороны, признание тотального доминирования национально-культурной специфики «живого» слова в качестве следствия не допускает существования значимых универсалий. Нам представляется, что культурно-языковая специфика «живого» слова и культурно-языковые универсалии не находятся в отношениях взаимоисключающего противодействия. Они с о с у щ е с т в у ю т

то т. Такая точка зрения согласуется с утверждением Б. Рассела, что наше знание о мире и вещах (речь в данном случае идет о вербализованном знании) «состоит из знания двух видов — когда вещи известны как конкретности и как универсалии» (Рассел Б., 2001: 74). Соответственно, универсальная и национально-культурная составляющие слова находятся в комплиментарных отношениях друг к другу. Наличие культурно-языковой специфики отнюдь не отрицает действия культурно-языковых универсалий. Универсальное и культурно специфичное находят отражение в языке как с и с т е м е, которая при анализе выстраивается в определенную языковую картину мира.

Системообразующими свойствами картины мира являются: 1) целостность, 2) космологичность (глобальность образа мира), 3) внутренняя безусловность и достоверность, 4) стабильность и динамичность, 5) наглядность и конкретность проявления элементов (см. работы Б.А. Серебренникова, Э.Д. Сулейменовой и др.).

1.6. Языковое сознание: миф или реальность?

Вопрос о правомерности выделения языкового сознания в отдельную категорию остается в науке открытым. Так, М.В. Никитин пишет, «что не удастся найти разумных оснований, которые бы оправдывали существование таких ментальных структур, как “языковой концепт”, “языковое значение” и <...> “языковое сознание” в собственном смысле этих слов» (Никитин М.В., 2003: 276). Что касается первой ментальной структуры, автор прав: концепт остается концептом вне зависимости от способов его объективации. Понятие «языковое значение» объективно необходимо, поскольку существует еще и «предметное значение» (его обоснование см. в настоящей работе). В когнитивно-семиологической теории слова наряду с понятием «сознание» находит свою нишу и понятие «языковое сознание».

Если первая форма общественного сознания интегрирует энциклопедические знания, то его вторая форма — языковое сознание — использует вербализованные знания, которые служат средством активизации соответствующих элементов когнитивного сознания,

прежде всего социального, культурного и мировоззренческого происхождения. В итоге происходит трансформация элементов когнитивного сознания в языковые пресуппозиции, которые, подвергшись речемыслительным и модально-оценочным преобразованиям, перерастают в культурно-прагматические компоненты языковой семантики. В результате таких трансмутационных процессов (от энциклопедических знаний через языковые пресуппозиции к языковому сознанию, объективированному системой языковых значений) формируются специфические для каждой национальной культуры *артефакты* — языковые образы, символы, знаки, заключающие в себе результаты эвристической деятельности всего этнокультурного сообщества. Они выступают средствами интериоризации продуктов мироустроительной жизнедеятельности определенного этноязыкового коллектива, его мироощущения, мировосприятия, мировидения и миропонимания. В силу этого язык становится не только средством упорядочения, категоризации и гармонизации концептуальной картины мира, но и способом относительной детерминации поведения людей в том или ином этнокультурном сообществе (Ю.А. Сорокин, И.Ю. Марковина).

Социально значимая активность лингвокультурологических единиц (словесных образов, языковых знаков и символов) обусловливается прежде всего их репрезентативно-прагматической сущностью, ориентированной на выполнение различного рода директивных, воздействующих и экспрессивно-оценочных функций в зависимости от речевых интенций коммуникантов. Система порождаемых смыслов является содержательной основой языкового сознания. Реальная практическая деятельность человека, отражаясь в сознании и закрепляясь в языке, преобразуется во внутреннюю отраженную модель мира. Системообразующим фактором такого моделирования мира является формирование смысла бытия, смысла жизни, смысла самого себя для себя (Д.В. Ольшанский).

Образ как продукт восприятия и понимания мира — категория сознания. Будучи включенным в речемыслительный процесс, он превращается в *языковой образ* — категорию языкового сознания, в контексте которого он вступает в новые ассоциативные отношения, необходимые для языкового моделирования того или иного феномена национальной культуры, для формирования языковой

картины мира в виде образных представлений. В этом плане весьма ценными для лингвокультурологического осмысления знаков вторичной номинации могут оказаться понятия «образное поле» и «образ», в интерпретации Н.А. Илюхиной (1999).

Образное поле представляет собой совокупность образных средств, которые обозначают один и тот же денотат. Ср. метафоры (и образы, стоящие за ними), которыми в недавнем прошлом именовали в средствах массовой информации первого президента России Б.Н. Ельцина: царь, добрый царь, царь Борис; партийный волк (вышел из партии), главный герой, дирижер, игрок, удельный князь и др. (Баранов Н.Н., Караулов Ю.Н., 1991: 119–120). Языковой образ — совокупность образных средств языка, обозначающих один сигнификат. Причем, если образное поле манифестируют, как правило, знаки вторичной номинации (вспомним: они сохраняют мотивированность единицами прямой номинации), то языковой образ создают знаки косвенно-производной сигнификации. Так, концепт «Успех» представляют фразеологизмы *идти в ногу (вверх)*, *пожинать лавры*, *вкушать (пожинать) плоды* чего, *далеко пойти*, *почивать на лаврах* («благоденствовать после успеха») и др. Такое понимание языкового образа не является, на наш взгляд, бесспорным, поскольку в нем не разграничиваются два смежных понятия — образ и средства его манифестации. Однако если его понимание свести к ассоциативно-образному ряду, отражающему вариативность этнокультурной манифестации концепта, то оно оказывается достаточно эффективным приемом лингвокультурного описания образного слова. При этом для языковой объективации явлений культуры важным оказывается способность когниции подвергаться в языковом сознании «переплавке», переосмыслению и обобщению. Ассоциативные связи языкового образа с другими элементами сознания позволяют ему высвечивать не один «кадр», а их синкретическую совокупность, т.е. некоторую обобщенно-целостную картину мира (см. подробнее: Буянова Л.Ю., Коваленко Е.Г., 2004: 43). Языковыми средствами её репрезентации служат идиоматика, тропы и устойчивые стилистические фигуры. Ср.: (варить, готовить, запечь) *как (будто, словно, точно, ровно) на Маланьину свадьбу; ни одну свечка ни черту кочерга; пуп земли* (библейзм); (быть, чувствовать себя) *на седьмом небе* и т.п. Подобные языковые образования

как этнокультурные феномены являются результатом интеллектуально-эмоционального отражения действительности, под которым следует понимать не только совокупность естественных и общественных отношений, но и социокультурную сеть смысловых связей, высвечивающих любое конкретное явление или предмет как узел всеобщих отношений человеческого бытия.

1.7. Концепт и «живое» слово

Понятие «константа» заимствовано современной лингвокультурологией из математики. И так же как в математике, его основное содержание составляет неизменная, постоянная, наиболее устойчивая величина в ряду изменяющихся. Как философская категория «константа» — реальность или идея, которая доминирует над другими на протяжении длительного времени (Э. д'Орс). По сути своей константами культуры выступают концепты-архетипы. Концепты, по Степанову, — это «пучки представлений, знаний, переживаний, ассоциаций, которые сопровождают слово, <...> — это как бы ступок культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт — это то, посредством чего человек — рядовой обычный человек, не “творец духовных ценностей” — сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» (Степанов Ю.С., 1997: 40). Итак, понятие «константы», выйдя за рамки точных наук, приобретает все более широкий лингвофилософский смысл. Поэтому такие *константные* признаки концепта-архетипа, как *неизменность* и *постоянство*, становятся все более относительными.

Дело в том, что «константы культуры» антропоцентричны, поскольку оказываются в зависимости (чаще — в косвенной) от человека как единственного субъекта и творца культуры. Иными словами, культурные константы не субстанциональны, поскольку отражают объекты мироздания не сами по себе. Они, скорее, операциональны и представляют образ действия человека в отношении к объектам мироздания. Мир устроен не как некая заданная нату-

ральная внешняя реальность, а как действительность, сформированная в ходе культурного развития самого человека, который находится в центре мироздания. Культурные константы, как правило, не осознаются человеком, но служат инструментом упорядочения и рационализации опыта, полученного из внешнего мира.

Все чаще концептам приписывают способность субъективно отражать мир в наиболее обобщенном виде, в форме размытых, слабо структурированных мыслительных образований. Насколько справедливо такое утверждение? Точнее, все ли в концепте субъективно? Если нет, то в каком соотношении находятся в концепте субъективное и объективное? Ответы на эти вопросы важны еще и потому, что помогают разграничению таких смежных категорий, как *концепт* и *понятие*. Ясно, что демаркационной линией при этом служит наличие или отсутствие в них субъективного элемента.

Исходя из теории Ю.С. Степанова, концепты в отличие от понятий обладают двумя специфическими признаками: 1) определенным уровнем субъективности и 2) многоярусной организацией. Действительно, концепты не только *мыслятся*, но и *пересмеиваются*. Они отражают человеческие *эмоции, симпатии и антипатии*, а иногда и *столкновения* (Степанов Ю.С., 1997: 41). Согласно теории многоярусной организации концепта в нем выделяют три основных слоя: 1) «активный» (актуальный) слой концепта — своего рода верхушка айсберга — основной, очевидный для всех ныне живущих людей признак концепта, позволяющий к нему апеллировать и им оперировать даже на уровне обыденного сознания; 2) «пассивный» (исторический, фоновый) слой концепта, включающий дополнительные признаки, — «кристаллизация» его важнейших осмыслений и толкований в различные культурные эпохи (Ю.С. Степанов); 3) внутренняя форма, или этимологический признак концепта, — его мысловое первоначало, запечатленное во внешней словесной форме (см.: Алефиренко Н.Ф., 2004: 70). Соположенность и взаимодополняемость этих слоев служат доказательством гармонического сочетания в концепте постоянных и видоизменяющихся компонентов.

Стабильность и постоянство обеспечивает концепту его внутренняя форма — первооснова, воплощенная во внешней словесной форме (Воронкова О.А., 2007: 69). Речемыслительная мобильность концепта опирается на динамическое соотношение смыслового со-

держания его первых двух слов — актуального и исторического, благодаря чему становится возможным модификация исторического, фонового содержания, актуализация одних и погашение других смыслов. В этом плане концепт остается всегда незавершенным, структурно «открытым».

Для понятия же эти свойства не характерны. Определяющими его признаками выступают стабильность, объективность, концентрация наиболее существенных признаков и абстрагирование от всего несущественного, частного и субъективного. Ср.: понятие «спартанец» — житель Спарты и концепт «Спартанец» (о строгих, суровых, неприхотливых людях с сильным характером). Например: *Он сохранил военную выправку, жил **спартанцем** и монахом.* — И.С. Тургенев, *Новь*). Содержание понятия интенционально, содержание концепта импликационально.

Г л а в а 2

«ЖИВОЕ» СЛОВО В ПОЗНАНИИ МИРА

2.1. Проблема взаимоотношения языка и познания в системно-структурном и когнитивном измерениях. 2.2. Язык как средство репрезентации понятий. 2.2.1. *Информация и знание*. 2.2.2. *Познание и знакообразование*. 2.3. *Что такое вербальный знак?* 2.3. Знаки языка и знаки речи. 2.3.1. *Семантические противоречия*. 2.3.2. *Биопсихические механизмы знакообразования*. 2.4. Соотношение когнитивных и языковых категорий. 2.4.1. *Концепт и языковое значение*. 2.4.2. *Языковое сознание как когнитивно-семантическая категория*. 2.5. Синергетика культурного концепта и знака в системе языка и тексте.

Тот, кто жизнью живёт настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык.

Н. Заболоцкий

2.1. Проблема взаимоотношения языка и познания в системно-структурном и когнитивном измерениях

Обозначенная проблема для языкознания не нова. Увлечение когнитивной семантикой на рубеже XX—XXI веков иногда сознательно или подсознательно связывается с представлением о том, что системно-структурные аспекты лингвистического анализа исчерпали свой эвристический потенциал. Такому пониманию как ошибочному противопоставляется убеждение А.В. Бондарко, что развитие когнитивной семантики не только не противоречит, но, наоборот, предполагает системно-структурный подход. Их совместимость допустима и с точки зрения описания средств формально-выражения языковых значений, и с точки зрения системного моделирования семантических категорий языка и речи (единиц языка, высказывания и даже целого текста) (Бондарко А.В., 2003: 25—33).

Нет сомнения, что речь должна идти о системно-когнитивном исследовании языковой семантики. Вместе с тем это не значит, что допускается возможность простого объединения семантики системно-структурной и семантики когнитивной. Этому противостоит отсутствие у них единого принципа. Системно-структурная семантика исследует содержание слова с позиции объекта (логический подход), а когнитивная семантика с позиции субъекта (антропоцентрический подход). Некоторыми учеными высказываются суждения о несовместимости двух названных подходов (Чернейко Л.О., 2003: 189). Думается, что здесь нет оснований говорить о несовместимости методологических позиций. Наоборот, системно-структурный подход не противоречит стратегическим основам когнитивной семантики. Последняя хотя и опирается главным образом на «синтетическое видение объекта во всей его целостности и сложности» (Чернейко Л.О., 2003: 189), все же не может обойтись без аналитического осмысления реальной действительности (без разложения целого на части и установления между ними закономерных связей и отношений). Более того, синтез предполагает аналитическое мышление: прежде чем синтезировать познаваемое событие, необходимо знать, что именно в данный момент моделирования картины мира (или отдельного ее фрагмента) подлежит мысленной интеграции.

И все же подобного рода аргументы останутся неубедительными, если не уточнить, о какой системно-структурной семантике идет речь. Сразу же необходимо указать, что исключаются принципы того лингвистического структурализма, который представлен в его ортодоксальном виде. Тем более что большинством структуральных школ (американским дескриптивизмом и копенгагенской глоссематикой) семантика вообще выводилась за рамки лингвистического исследования (исключение составляли Лондонская структуральная школа и Пражская функциональная лингвистика). Речь идет о таком подходе, при котором ставятся и решаются вопросы, связанные с у с т р о й с т в о м объекта исследования. Именно в ходе реализации такого подхода была достаточно основательно структурирована семантическая система языка в отечественном языкознании. В ее моделировании, как известно, используются элементы структурной семасиологии, а разработанная методика компонентного анализа позволила смоделировать семантическую структуру

зыка в целом, представить семантическую структуру отдельных языковых единиц и на этой основе описать принципы упорядочения отдельных семантических подсистем (ЛСГ, семантических полей и т.п.).

Однако для комплексного и корректного рассмотрения проблемы синергетики сопряженного кодирования информации языковыми и мыслительными средствами этого явно недостаточно. Собственно проблема состоит в том, что наши знания обычно не поддаются эксплицитной языковой и логической репрезентации. Эта сложность задана на нейробиологическом уровне, поскольку образная информация сохраняется в правом полушарии коры головного мозга в виде зрительных образов, а мыслительная (понятийная) информация — в левом полушарии в виде сигнификатов линейно упорядоченных вербальных единиц (см.: Величковский Б.М., 2006: 17). Ясно, что знания обоих типов существуют не изолированно, информация при необходимости перебрасывается с одного полушария в другое, она постоянно сверяется, коррелируется.

Чрезвычайно важно понять, при помощи сопряжения каких мыслительных и языковых механизмов возникает та неуловимая синергетика слова, которая позволяет ему быть не только средством передачи, но и средством формирования и выражения мысли. Полагаю, что решение данной задачи нуждается в особом когнитивно-семиологическом подходе, опирающемся на синтетико-аналитическое осмысление взаимодействия внеязыковой и языковой семантики. Структурные элементы (написмыслы) образного и понятийного познания на разных этапах отражения и интерпретации действительности находятся в интерактивном режиме: переходят друг в друга. Такая взаимность возможна лишь в том случае, если смысловые структуры языкового и доязыкового мышления изоморфны на уровне глубинной семантики (см.: Величковский Б.М., 2006: 237).

Объективирование информации языковыми и довербальными средствами можно рассматривать как явление двойного кодирования. Согласно теории двойного кодирования в процессе взаимодействия языкового и довербального кодов включаются механизмы избирательного внимания, благодаря которому при переходе от ощущений к восприятию и представлениям запоминаются наиболее

значимые для человека признаки и свойства познаваемого объекта. Это приводит к конденсации и кристаллизации приобретенной информации в форме первичного концепта. Он представляет собой продукт многократного перекодирования мысли с правого, довербального, полушария коры головного мозга в левое (речевое) и наоборот. Такое перекодирование, преодолевая законы линейного мышления, порождает симультанные, синергетические (нелинейные) содержательные формы концепта, образующие его многослойную организацию, на которую впервые обратил внимание Ю.С. Степанов (1997: 45).

Многослойный характер смыслового содержания концепта обуславливается двумя факторами: а) поэтапной, слойно-ярусной обработкой информации и б) триединством ее категоризации в а) когнитивную систему, б) эмотивно-оценочную и в) языковую. Многослойная структура концепта формируется в результате взаимодействия разных креативных источников — эмпирического (предметно-чувственный опыт), мотивационного, рефлексивного и интерпретационного. В результате на основе иерархически организованной информации, с одной стороны, формируется знание индивида и со-знание как общественная когнитивная категория, с другой — структурируется семантическое пространство языка.

Основой такого структурирования служат понятия «смысл», «значение» и «значимость» (см. наше понимание этих понятий: Алефиренко Н.Ф., 1999: 72). В семасиологии бытуют различные толкования этой триады. В семасиологической концепции академика Д.Н. Шмелева, например, смысл определяется как «внеязыковое предметное содержание» слова (Шмелев Д.Н., 1973: 15). В нашей концепции такое понимание смысла является исходным, но не единственным. Кроме довербального, мы выделяем еще и речевой смысл. Однако и во второй его разновидности он оказывается проецированным на внеязыковую действительность. Это позволяет использовать категорию смысла в исследованиях по когнитивной семантике в процессе познания и вербализации объектов внеязыковой действительности. В этом плане некоторые исследователи усматривают возможность параллельного употребления таких двух смежных понятий когнитивной семантики, как «концепт» и «смысл».

Сопоставляемые понятия действительно тесно взаимосвязаны, однако не абсолютно тождественны. Концепт является одной из форм отражения действительности и в этой ипостаси пребывает в общем онтологическом ряду с другими формами отображения мира — «понятие», «представление» и «образ». По своей функциональной сущности он действительно имеет много общего со смежными (соотносительными) категориями. Более того, каждая из этих категорий находит особое преломление в содержании концепта, делая его многоярусным образованием, выполняющим роль речемыслительного посредника между языковым знаком и мыслительными коррелятами знака — образами, представлениями и понятиями. Роль связующего звена в цепочке речемыслительных процессов обуславливается его антропоцентрической сущностью, это время как образы, представления и понятия, скорее, категории логики.

Концепт — форма, в которой осуществляется дискурсивная переплавка эмоционального и интеллектуального отражения действительности; образы, представления и понятия — это «вылитые» в процессе переплавки логико-эпистемологические структуры, оплодотворяющие соответствующее миропонимание, результаты интеллектуально-эмотивной интерпретации познаваемого. И в этой своей ипостаси концепт становится «приводным механизмом» возникновения словесного знака, его протовербальным субстратом, поскольку для объективации концептуального содержания и тем более возможности его передачи другим людям нужен знак.

Однако на этом роль концепта в «жизни» знака не ограничивается. Он остается потенциальным источником дальнейшего дискурсивно-смыслового развития слова. Сказанное позволяет рассматривать *концепт* как одностороннюю психическую сущность понятийно-смыслового характера, обладающую протовербальным и поствербальным потенциалом. Его протовербальный потенциал состоит в том, что, не обладая ни предметным значением, ни референтной связью, концепт до объективации словом является неформированным конструктом, тем геном, энергетика которого, собственно, и продуцирует развитие семантической структуры словесного знака, его интенциональное и экстенциональное содержание. Каждый слой смыслового содержания концепта своеобраз-

но участвует в формировании денотативных, сигнификативных и коннотативных сем, структурируя их в рамках интенционала или экстенционала словесного знака. При этом концепт не растворяется в семантической структуре слова: он остается этимологическим коррелятом внутренней формы слова.

Концепт, будучи генератором языковой семантики, оказывается в эпицентре семантической эволюции языкового знака в синтагматике (формировании его комбинаторных и валентностных свойств) и парадигматике (развитии его полисемии, синонимии, антонимии). Синтагматика слова отражает характер линейных отношений между концептами, парадигматика — смысловую глубину концепта, формируя тем самым концептосферу (систему вербализованных концептов) каждого конкретного языка. Сформулированное положение служит методологической основой исследования генетической и функциональной взаимосвязи концепта и слова. «Концепт — явленная в слове сущность» (Колесов В.В., 2002: 128). При таком понимании соотношения концепта с образами, представлениями и понятиями становится реальной возможность определения роли довербального смысла в формировании языкового значения.

Вербализованный смысл невидимыми нитями связан с внутрисистемным статусом языкового знака, на что обратил в свое время внимание Д.Н. Шмелев (1973: 15), тем самым понятие значимости языкового знака приобретает расширенное толкование: от системы чистых ценностей, зависящей от места данной единицы в системе других единиц языка — до её содержательной интерпретации. Значимость, в понимании Д.Н. Шмелева, — это элемент внеязыкового содержания слов, выделяемый в результате их внутрисистемного «соизмерения».

Значение, в отличие от значимости, представляет внешние связи слова (вне лексико-семантической системы данного языка), которыми оно в познавательном процессе связывается с когнитивно-дискурсивным пространством. При этом результаты познания находят свое содержательное элементарное отображение в семантической структуре слова. Иными словами, значение слова преломляет в себе «все те индивидуальные признаки, которые по своей совокупности отражают свойства предметов». Однако значение никоим образом не является формой отражения действительности

свойств предметов и самих явлений) (ср.: Шмелев Д.Н., 1973: 153).
Формой отражения действительности служат не языковые, а мыслительные категории. Поэтому не стоит говорить также и о том, что в единицах языка отображается внеязыковая действительность» (Шмелев Д.Н., 1973: 18).

Вместе с тем следует согласиться с Л.О. Чернейко (2003: 285), выделяющей точку зрения Д.Н. Шмелева, что «индивидуальное лексическое значение слов в значительной степени обусловлены природой обозначаемых словами предметов и явлений самой действительности» (Шмелев Д.Н., 1973: 13). Действительно, проблема характера взаимоотношений означающего и означаемого в структуре словесного знака предельно ясна: с одной стороны, между названными частями словесного знака нет никакой природной связи, с другой — между означаемым и познаваемым предметом действительности существует устойчивая и закономерная когнитивная связь. С таким положением дел, по мнению Л.О. Чернейко, можно согласиться лишь в той части, когда речь идет о физической действительности. Слово как носитель конкретного лексического значения словно выступает представителем предмета в общественном знании, превращая его телесную сущность в образно мыслимую абстракцию. И наоборот, «абстрактный субстантив делает "вещами" акты сознания (свойства, отношения явлений) — *зависть, ненависть, любовь; цель, мечта, идеал; конфликт, согласие; быт, уют, комфорт*» (Чернейко Л.О., 2003: 285). Такого рода «вещи» приобретают исключительно антропоцентрическую природу, поскольку соотносят словесные знаки не только с внешним, но и с внутренним миром человека, т.е. имеют преимущественно интроспективную сущность. Причем средствами объективации концепта как процесса преобразования телесной сущности в образно мыслимую абстракцию выступают не только лексические, но и грамматические категории (см.: Полонский А.В., 2004). Разноуровневые единицы языка, объективирующие культурные ценности («слова-действия, крылатые слова, фразеологизмы, прецедентные тексты»), являющиеся стандартным типом языковой реакции носителя языка на внешние стимулы», В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова называют лингвоэпистемами (2000: 88).

2.2. Язык как средство репрезентации знаний

Вынесенная в заголовок формула, хотя и стала аксиомой когнитивной лингвистики, требует обстоятельного обсуждения в двух аспектах: семиотическом и семиологическом. С точки зрения семиотики в центре внимания когнитивной науки находится феномен знания, наряду с которым в лингвокогнитивных исследованиях все чаще используется понятие «информация» (ее обработка и различные виды операций с ней).

2.2.1. Информация и знание

Этимологическое значение термина *информация* (< лат. *informatio*) — «разъяснение, осведомление, изложение». Но в современных работах по когнитивной семантике термин употребляется достаточно произвольно: и как *значение*, и как *знание*. Причиной тому является смысловое родство соответствующих понятий: как правило, информация служит основой возникновения значения и знания.

Однако если под информацией понимать только сведения, необходимые для деятельности организма в определенной ситуации, то «значение» и «информация» суть разные понятия, поэтому нет основания определять их одно через другое. Обратимся в качестве примера к условным рефлексам. Любой раздражитель (звонок, свет, запах пищи и т.д.) несет определенную информацию, но значения не имеет. Значение он приобретает, только став сигналом в условно-рефлекторной деятельности. Чтобы информация стала значением, ей необходимо приобрести мотивационный статус. Как он приобретается, можно показать на примере сказок о принцессе. Чаще всего их сюжет разворачивается вокруг исчезнувшей принцессы (или красавицы). Возникающая при этом знаковая ситуация имеет несложную структуру: обозначаемый предмет — *принцесса*, отличительные признаки места ее нахождения — *знак*, деятельность, направленная на ее поиск, — *значение*.

В результате замещения причины деятельности знаком последний приобретает значение. По отношению к другим (первичным) явлениям человеческой деятельности значение является вторичным. В связи с этим можно выделить два уровня деятельности. На

первом этапе деятельности определяются объективные свойства знака. Обычно его называют **познавательно-информационным** уровнем, где полученные сведения подчиняются общим законам современной теории информации. Второй уровень деятельности носит собственно речемыслительный характер, поскольку осуществляется при дискурсивном взаимодействии субъекта и объекта. Если на первом уровне извлекается необходимая информация, то на втором, глубинном уровне формируется значение, которое выражается неким материальным предметом, преобразуя его в означающее знака (сигнал).

Итак, и н ф о р м а ц и я — это сведения о фактах, событиях, процессах; данные, приходящие к человеку по разным каналам и обрабатываемые в текущем сознании. Информация поступает человеку двумя путями: *извне* — по чувственно-перцептивным и сенсорно-моторным каналам и *изнутри* — по каналам ментальной репрезентации, где они уже переработаны и интериоризированы нашим сознанием. Поступившие сведения о фактах и событиях в сознании человека подвергаются так называемым информационным процессам — процессам восприятия, передачи, преобразования и использования информации. Такого рода процессы могут осуществляться только при наличии двух объектов — источника информации и ее потребителя. Сведения от источника к приемнику передаются в материально-энергетической форме. При речевой коммуникации это звуковая и графическая формы.

З н а н и е — продукт общественной, предметно-практической и мыслительной деятельности людей; содержание и способ существования сознания. Чтобы быть переданным другому человеку, знание непременно должно концептуализироваться в языковые формы, иными словами, знание должно оформиться в виде вербализованного концепта. И в этом виде (в виде концептуальной информации) оно (знание), собственно, и представляет интерес для когнитивной лингвистики, непосредственно занимающейся процессами языковой обработки информации и формирования значений языковых знаков.

Как способ существования сознания знание фиксируется и хранится при помощи языковых знаков. При этом следует помнить, что языковые знаки здесь выступают не простыми фиксаторами зна-

ния. Ведь языковые знаки принимают участие в познании не изолированно, а в системе, образуя знаковую систему. А это значит, что знание, объективируемое знаком, вводится в определенную систему знаний, тем самым подвергаясь обработке, преобразованиям и интерпретации с позиции системного знания. И в этом своем статусе становится языковым знанием. Формой же выражения языкового знания служит языковое значение.

В свете сказанного **з н а ч е н и е** — это не просто информация, а информация об осознанной связи между двумя мыслительными объектами, где один объект (им может быть вещь, предмет, явление или событие) актуализирует мысль о другом объекте и информационно настраивает на него наше сознание. С точки зрения когнитивной семантики значением является мысль о втором объекте, выступающая информационной функцией первого объекта. Это а) факт сознания, б) производящая база знака (знак произведен от значения) и в таком плане в) первичное по отношению к знаку образование. Из этого вытекают чрезвычайно важные для когнитивно-семиологической теории слова положения. Содержание языкового знака, или его семантика, конституируется двумя составляющими: стабильной и вариативной. Стабильная, постоянная часть содержания языкового знака является его значением, а вариативная, переменная, динамическая — его смысловым содержанием (см.: Алефиренко Н.Ф., 2005: 69). Проблема значения и смысла имеет прямое отношение к семиозису. Наиболее таинственной при этом справедливо считают саму технологию появления знака.

2.2.2. Познание и знакообразование

В современной семиотике утвердилось мнение, что процесс возникновения знака начинается со взаимодействия познающего субъекта с предметом познания, поскольку значение предмета познания определяется его местом и значимостью в человеческой деятельности. При этом формирование значения связывается с отражением в нашем сознании внешнего события, которое в соответствующей знаковой ситуации становится выразителем реальных взаимоотношений объекта и субъекта. В языковом знаке результат этого взаимодействия и опыт практической деятельности человека закрепля-

тся за соответствующим звукосочетанием, которое в знаке становится его означающим.

С этого момента звукоряд становится не только обычным средством обозначения предмета, но и средством активизации когнитивно-семиологической деятельности, направленной на кодирование свойств и признаков познаваемого и называемого предмета.

Процесс декодирования уже имеющегося в нашем сознании знака осуществляется по несколько иному алгоритму. В этом случае когнитивно-дискурсивная деятельность человека начинается с восприятия знака, затем развивается в направлении, противоположном тому, в котором осуществлялся процесс семиозиса. Алгоритм когнитивно-дискурсивной деятельности при восприятии знака, можно сказать, выстраивается по известной уже схеме знакообразования. Однако таков наиболее общий способ семиозиса главным образом довербальных знаков, по этим же семиотическим законам происходит порождение и языковых знаков. И все же процесс лингвосемиозиса имеет свою специфику, обусловливаемую предназначением языкового знака. В отличие от довербальных языковой знак — не только средство обозначения, но и средство обеспечения речемыслительного процесса.

Можно, разумеется, говорить о языковом знаке вообще. Однако можно помнить о специфике языковых знаков разных типов. Особенно же, эталонным для всех типов языковых знаков является словесный знак. Его образование осуществляется по схеме довербального семиозиса: формирование означаемого предшествует возникновению означающего — звуковой или графической материальности словесного знака. Как считают логики, начальной точкой объективации означаемого служит выделение конкретного объекта из класса ему однородных. Искомый объект получает свое словесное обозначение после того, как превратится в «найденный», «определенный», «понятный». Это универсальная схема порождения каждого словесного знака.

Понимание и декодирование словесного знака в общем повторяет алгоритм его возникновения. Если следовать ему, то такая методика откроет возможность проникать в сущность взаимодействия структуры означающего и структуры означаемого языкового знака. В этом важно не упускать из вида, по крайней мере, два момента:

а) что такое взаимодействие определяется диалектикой взаимоотношения объекта познания и субъекта речемыслительной деятельности и б) что данное взаимодействие опосредовано. Роль такого посредника выполняет открытая А.А. Потебней внутренняя форма слова. Значит, структуру словесного знака следует представлять не как монологическую (знак — это означающее) и не как билатеральную структуру (знак — единство означающего и означаемого), а как триединство означающего (звуковой или графической структуры), внутренней формы и означаемого. Внутренняя форма показывает, как и каким способом в нашем сознании представлено значение слова. В наиболее простом виде внутреннюю форму слова формирует признак, положенный в основу наименования и отражающий *первоначальное* понимание (восприятие, видение) обозначаемого предмета. Внутренняя форма слова связана с наиболее близким этимологическим его значением и является «отношением содержания мысли к сознанию», т.е. представлением, сущность которого в том, что оно объективирует чувственный образ и обуславливает его осознание. Обычно говорят, что внутренняя форма выступает способом передачи значения (однако не всегда указывают, при помощи каких средств). Таким средством служит мотивационный признак производного слова, который актуализируется или его морфемной структурой, или ассоциативно-смысловыми связями производного значения с исходным.

Диалектическое противоречие между чувственным образом и абстрактным значением служит источником знакообразующей энергии речемыслительной деятельности. На определенном этапе в процессе познавательной деятельности смысловое содержание концепта становится связующим средством между акустическим образом слова и чувственным образом обозначаемого предмета. В результате такого синергетического взаимодействия и осуществляется преобразование *образа* предмета в *понятие* о предмете. Согласно теории А.А. Потебни, такие когнитивные переходы осуществляются только при помощи слова, реализующего эвристическую функцию языка. Данное положение было выражено им крылатой для когнитивно-семиологической теории фразой: «Язык есть средство не выражать готовую мысль, а создавать ее... он не отражение сложившегося мирозерцания, а слагающая его деятельность» (Потебня А.А.,

1976). Для реализации этих функций служат вербальные знаки (языковые и речевые). Каждый речемыслительный шаг, связанный с их возникновением, направлен на обеспечение онтологической предназначенности языка.

2.2.3. Что такое вербальный знак?

Рассмотрение условий и этапов знакообразования невозможно без предварительного определения сущности самого языкового знака и его основных свойств. Хотя им и уделялось достаточно много внимания, всё же знаковая теория языка остается чрезвычайно запутанной и потому дискуссионной. Так, в практическом применении оказывается малопродуктивным ставшее популярным определение знака Л. Ельмслевым: «Знак характеризуется прежде всего тем, что он является знаком чего-то» (1960: 302). В основе данного определения лежит указательная функция знака и только, при этом даже не упоминается о его структуре и об отношении к человеку и сознанию. Рассмотрение механизмов семиозиса на фоне данного определения заранее обречено. Однако это можно списать на счет структуральной концепции языка, под гипнозом которой находился датский ученый.

Обратимся поэтому к наиболее авторитетному в отечественной лингвистике изданию — «Лингвистическому энциклопедическому словарю» (ЛЭС, 1990). Читаем: «Знак языковой — материально-идеальное образование (двусторонняя единица языка), репрезентирующее предмет, свойство, отношение действительности» (с. 167). Здесь имеется указание на структурное своеобразие языкового знака: его материально-идеальную билатеральность и репрезентативность (свойство представлять разные внеязыковые объекты). Далее автор (А.А. Уфимцева) отмечает взаимосвязь двух сторон знака: «Две стороны языкового знака, будучи поставлены в отношение постоянной опосредованной сознанием связи, составляют устойчивое единство, которое посредством чувственно воспринимаемой формы знака, то есть его материального носителя, репрезентирует социальное приданное ему значение» (с. 167).

Из данного рассуждения выделяем еще несколько свойств языкового знака: материальность формы, социальность, опосредован-

ность сознанием, способность выражать значение. В монографии А.А. Уфимцева объясняет свою приверженность билатеральной теории знака тем, что понимание знака односторонней физической сущностью приводит к отождествлению его со знаками механических семиотических систем (коды, дорожные знаки и т.п.), лишая тем самым естественный язык функции общения, репрезентации и идентификации предметов объективного мира.

Разделяя эту точку зрения, все же нельзя не остановиться на достаточно спорном утверждении: «Материальность словесного знака — свойство, почти никогда не подвергается дискуссии, вполне очевидное» (Уфимцева А.А., 1986: 52). Бесспорно, здесь то и привычно, что о нем говорит преимущественное большинство авторов. Однако если знак языковой, а язык — идеальное образование, то вполне закономерно возникает сомнение: как материальный объект локализуется в нашем сознании. А.А. Уфимцева делает по этому поводу следующее заключение: «Форма знака (означающее) существует в двух его ипостасях, как все материальное: материальной и идеальной, так как звуковой состав слова обретает форму идеального образа материальной стороны знака» (1986: 52). Следовательно, согласно этой теории означающее языкового знака функционирует то как материальный (чувственно воспринимаемый), то как идеальный, недоступный наблюдению феномен. Для теории словесного знака это очень важное наблюдение. Однако оно нуждается в когнитивно-семиологическом обосновании. Выход из столь застойного положения видится в разграничении знаков языка и знаков речи, поскольку именно оно показывает, как сопряжены в них свойства материальности и идеальности.

2.3. Знаки языка и знаки речи

2.3.1. Семиотические противоречия

Если теориями разграничения единиц языка и единиц речи доказано, что вторые реализуют (объективируют) первые, то было бы вполне логично предположить подобное диалектическое сосуществование знаков языка и знаков речи. Знаки языка — идеальные

сущности, знаки речи — сущности материальные (физические). Последние материальны в том смысле, что их планом выражения служит звуковая, т.е. физическая, субстанция. Однако при этом не следует забывать, что они имеют не только план выражения, но и план содержания, поскольку являются носителями определенного смысла, соотносимого со значением языкового знака. Это предполагает диалектическое (противоречивое) взаимодействие знаков языка и знаков речи.

Диалектика здесь такова: 1) эталонный знак языка конституирует план выражения речевых знаков, а 2) некоторое множество материальных знаков речи служит материалом для формирования инварианта — образцового эталонного знака.

Без знаков языка невозможны знаки речи, и наоборот. Такой подход создает новый стимул для развития лингвосемиотики, в частности, открывает возможности для создания в ее рамках когнитивно-семиологической теории знака, включающей его когнитивные, семиотические и прагматические свойства. Без последовательного различения знаков языка и знаков речи сложно определить, как язык в процессе познания выполняет одну из своих основных функций — объективирует в сознании человека то, что ему уже каким-то образом известно. В связи с этим утверждается, что знак — понятие прежде всего гносеологическое. Лингвисты акцентируют внимание на коммуникативном предназначении языковых знаков, поскольку они служат средством передачи сообщений. Противоречие снимается разграничением знаков языка и знаков речи. На самом деле, когнитивную функцию выполняют знаки языка, а коммуникативную и прагматическую — знаки речи. Причем функциональное предназначение одного служит условием выполнения «функциональных обязанностей» другого. Действительно, прежде чем передать сообщение определенной комбинаторикой речевых знаков, необходимо при помощи знаков языка обработать, преобразовать и закодировать соответствующую информацию в общественном сознании, превратить ее в знание. При этом репрезентация языковых знаков речевыми — процесс не механический. Дискурсивные задачи при общении требуют дополнительной обработки информации как со стороны ее отправителя, так и со стороны получателя. Речевые знаки располагают для этого необходимым интерпретационным

механизмом. Всякая дискурсивная интерпретация языкового знака опирается на опыт, а «знаковость сущности есть функция, аргументом которой является опыт» (Кравченко А.В., 2001: 85).

Понятие *знаковой интерпретанты* ввел в семиотику Ч.С. Пирс, под которой он понимал то, что объясняет знак или переводит его в иное измерение. Ч. Моррис подчеркивает прагматическую составляющую интерпретанты — способность знака производить определенный эффект, воздействовать на интерпретатора. В. Дресслер такую прагматику языкового знака связывает с его интерпретантой, под которой понимает в его содержании то, что указывает на способ представления значения в знаке. Р.О. Якобсон, по сути, приравнивает данное понятие к значению и выделяет две разновидности интерпретант: одна связывает знак с системой знаков, другая — с контекстом его использования.

Е.С. Кубрякова, опираясь на якобсоновскую концепцию знака, предлагает разграничивать интерпретанту и языковое значение. Она полагает, что можно выделить целую серию интерпретант, с помощью которых можно было бы показать, каким способом в нашем сознании представлены разные аспекты языкового значения — когнитивный, концептуальный, прагматический, эмотивный и экспрессивный. Если следовать этой логике, то значение языкового знака окажется формой существования сознания, а интерпретанта — сам способ репрезентации значения в языковом знаке. При таком понимании соотношения значения и сознания интерпретанта как свойство знака находится в генетической связи с его внутренней формой, служит способом знаковой репрезентации значения и использования знака в речемыслительной деятельности как уже готовой единицы.

Внутренняя форма, представляя нашему сознанию связь между языковым знаком и объектом знакообозначения, служит смыслогенерирующим источником в процессах формирования значения. Связь между знаком и обозначаемым объектом удерживается в сознании благодаря актуализации в нем образного денотативного признака, определившего характер данного знакообозначения. Поскольку образные признаки отображают осмысленные свойства номинируемых предметов и являются непосредственными участниками семиозиса, они становятся элементами значения. Отсюда

внутренняя форма — это категория языковой семантики, а интерпретанта знака — категория когнитивная, связанная с кодированием и декодированием информации, ее преобразованием в знание, пониманием и использованием знака в когнитивно-дискурсивной деятельности.

Поскольку же и интерпретанта, и внутренняя форма принадлежат языковому знаку, то сам знак, по А.Ф. Лосеву, «есть акт интерпретации как соответствующих моментов мышления, так и соответствующих моментов действительности» (Лосев А.Ф., 1982: 96), потому что языковое мышление является а) пониманием самого мыслительного процесса и б) своеобразным его преломлением сквозь призму предыдущего опыта, зафиксированного в языковых знаках. Это, в свою очередь, предполагает, что любой языковой знак «существует исключительно как единица определенной семиотической системы» (Кубрякова Е.С., 2004: 503), что вне такой системы нет знака (Степанов Ю.С., 1971: 81), как нет его и без интерпретатора.

Системный характер и интерпретанта языкового знака обеспечивают ему когнитивно-семиологическую свободу, на что обращал внимание А.Ф. Лосев: «Всякий языковой знак, отражающий ту или иную систему отношений в обозначаемом им предмете, пользуется этим отражением свободно, произвольно и уже независимо от объективной истинности отраженной в нем предметной системы отношений, равно как и от самого мышления, актом которого является знак языка» (Лосев А.Ф., 1982: 95). Этим свойством обладают, в отличие от иных семиотических систем, только языковые знаки. Заканчивая свой фундаментальный труд и возвращаясь к определению знака тем, вероятно, чтобы учесть весь существующий семиотический опыт, Е.С. Кубрякова пишет: «Знак — это нечто воспринимаемое, образующее тело знака и представляющее в языковом коллективе как сообществе интерпретаторов некое содержание, которое замечает означаемое или обозначаемое в языковых или метаязыковых операциях...» (Кубрякова Е.С., 2004: 503–504).

Как видим, здесь определяется знак в широком его понимании. Автор, как можно предположить, сознательно в начале дефиниции не использует словосочетание «языковой знак». Иначе возник бы вопрос: каким образом материальный (физический) объект, которым является «тело знака», становится фактом языка — феномена

идеального? С другой стороны, чтобы служить сообществу интерпретаторов при порождении и восприятии сообщения, знак должен быть воспринимаемым. Всё это возвращает нас к необходимости разграничения знаков языка и знаков речи. Их специфика обуславливается тем, что, как утверждает В.А. Виноградов, система языка ориентирована на символизацию, а дискурс — на иконичность (Виноградов В.А., 1991: 243). Только опираясь на данные факторы, можно выявить своеобразие языковых и речевых знаков в контексте их возникновения. К этому побуждает и сама Е.С. Кубрякова: «Возникая в акте семиозиса, знаки приобретают в этом акте свое строение и свое внутреннее устройство» (Кубрякова Е.С., 2004: 502).

Сущность знакообразования состоит в семасиологизации (И.А. Бодуэн де Куртене), означивании (Э. Бенвенист) и преобразовании звукоочетаний в социально обусловленные средства рече-мыслительной деятельности. С точки зрения когнитивной лингвистики знакообразование представляет собой процесс превращения предметов реальной действительности в знаки, отображающие историко-культурный опыт данного этноязыкового сообщества. Наименование предметов звуко-символами, таким образом, является одновременно и осмыслением этих предметов, овладение ими не только материально, но и «идеологически» (В.И. Абаев). Иными словами, словесный знак является одновременно основной когнитивной единицей, которая фиксирует, имплицитно хранит формы «перевода» фактов внешнего и внутреннего мира в мыслительные категории, т.е. в своего рода «упаковки» знания. Тип и характер таких «упаковок» соответствует этапам и уровням познания.

1. Прежде всего отметим, что план выражения знака языка и знака речи не одно и то же. Планом выражения знака речи служит некая экспонентная структура, иными словами, реально произносимый и воспринимаемый звуковой или графический комплекс. Планом выражения знака языка выступает акустический (звуковой) образ того звукоряда, который соотносится с предметом именования.

2. План содержания и языкового, и речевого знака сущность, разумеется, идеальная. Однако и здесь имеются различия. Если планом содержания знака языка является представление (понятие) о серийном, типовом и обобщенном предмете номинации, то пла-

том содержания знака речи выступает выделенный из того или иного класса, типа, разряда конкретный предмет, о котором идет речь в общении. Ср.: 1) *Книга* — источник знаний и 2) «*Дети капитана Гранта*» — моя любимая в детстве книга.

3. Основная функция знаков языка — обслуживать отражательные процессы и мыслительную деятельность человека (фиксировать, обобщать, дифференцировать, выделять, интерпретировать получаемую информацию). Основная функция знаков речи — репрезентативная, т.е. быть средством манифестации и обозначения нужного в данном акте общения предмета, средством идентификации и узнавания обозначаемых предметов или явлений.

4. Различия в устройстве также обуславливаются идеальным статусом знаков языка и материально-идеальной природой знаков речи. Элементами языкового знака являются обобщенный образ предмета (денотат), сигнификат и акустический образ. Составляющими знака речи выступают их реальные корреляты: предмет номинации, дискурсивный смысл (предметное значение) и экспонентная структура речевого знака (звукоряд).

5. Облигаторным свойством любого знака является его значение. Однако и здесь имеются некоторые различия, которые можно обозначить достаточно банально: значение языкового знака — языковое, а значение знака речи — речевое. Но за банальностью формулировок скрываются существенные различия. Они заключаются в понимании сущности этих значений. На самом деле, что такое значение языковое и значение речевое? Собственно значением мы называем лишь содержание языкового знака. Речевой знак обладает мысловым содержанием. Значение — стабильная часть семантики знака, связанная с отражением социально значимого опыта данного языкового сообщества. Смысл — категория личностная и поэтому вариативная, переменная часть семантики знака, связанная с дискурсивной интерпретацией и актуализацией одного из аспектов языкового значения. Смысл, таким образом, является контекстуально обусловленной единицей семантики (контекст при этом может быть речевым, ситуативным; подробнее см.: Алсфиренко Н.Ф., 2005: 69).

6. Благодаря наличию в языковом знаке интерпретанты, он, как правило, многозначен. Полисемия — универсальное свойство зна-

ков языка, поэтому для актуализации нужного в данном речевом акте лексико-семантического варианта необходим соответствующий контекст. Речевые знаки всегда однозначны, поскольку не имеют множественных интерпретаций.

7. Знаки языка и знаки речи связаны и генетическими различиями: языковые знаки первичны, поскольку ими обладают люди непреднамеренно, естественным путем, а речевые знаки вторичны, поскольку создаются на базе знаков языка и светят, так сказать, «отраженным светом» (Шафф А., 1963: 201). Что же касается свойства замещать, то если знаки языка являются заместителями предметов, то знаки речи — замещают в нашем сознании не только номинируемые предметы, но и соотносимые с ними знаки языка.

Из сказанного выше следует, что основными факторами вербального знакообразования являются сознание и мышление. Как констатировал С.Д. Кацнельсон, сознание невозможно без мышления, а мышление невозможно без содействия языка. Механизмы такого «содействия» находятся в его знаковости. Без языковых знаков не может состояться актуализация знаний в мышлении. Без знаков речи немыслимо общение, если под таковым понимать кодирование и декодирование информации. Да и сама «память сознания», «кладовая знаний», хранение знаний в сознании невозможны без участия языковых знаков. Потому что процесс накопления и упорядочения знаний представляет сведение их в такие когнитивные структуры, которые, собственно, и обеспечивают их хранение в общественном сознании. Такими структурами являются разного рода концепты, объективируемые языковыми знаками и их речевыми коррелятами. Именно когнитивные структуры для своей объективации стимулируют процессы «свертывания» речи, ее превращения во внутреннюю, а затем в «потенциальную» речь, что в конечном итоге индуцирует образование языковых знаков.

Значимость языковых знаков для нашего сознания определяется, по крайней мере, двумя факторами. Во-первых, тем, что в процессе знакообразования происходит накопление и обновление концептов. Во-вторых, тем, что языковые знаки снабжают механизмы сознания семиотическими средствами элементарного мышления. Как видим, это двусторонний процесс. «Развертывания» элементов сознания и «свертывания» продуктов речи без знаковой

системы не осуществимы. Развитие речемыслительной деятельности не только создает внешние семиотические структуры для репрезентации мыслительного содержания, но в единстве с процессами выработки и упорядочения знаний стимулирует возникновение необходимых промежуточных звеньев и механизмов (так называемые внутреннюю и потенциальную речь), без которых немыслимо не только общение, обмен мыслями, но и само сознание. Следовательно, знаковая подсистема языка служит не просто приложением к сознанию, позволяющим оформлять конечные фабрикаты мышления — концепты, «упаковывая» их в языковые формы, но и средством формирования сознания. Не остаются в стороне от этого процесса и речевые знаки. Они вызывают в сознании такие структурные изменения, которые делают его более совершенным, порождая при этом новые языковые знаки, прежде всего знаки историчной (метафоры) и косвенно-производной номинации (фразеологизмы).

2.3.2. Биопсихические механизмы знакообразования

Наиболее популярное в современной науке понимание знака как единства материального и идеального побуждает нас попытаться рассмотреть взаимодействие физиологических и психических факторов семиозиса. Начнем с того, что в нашем сознании внешний мир, с одной стороны, дан как некая объективная и независимая от него реальность, а с другой — представляется в субъективных переживаниях человека в виде образа мира. На первом этапе взаимоотношения человека и среды его обитания воспринимаются в единстве. Но по мере осмысления внешнего мира человек дистанцируется от него, а позднее происходит даже противопоставление человека внешнему миру: человек — субъект отражения этого мира, внешний мир — объект отражения. Отраженный в сознании человека мир превращается в психический феномен, в образ мира. Это исходная точка семиозиса. Исходная потому, что правильно представляет «положение дел» в его наиболее общих, контурных чертах: идеальное — существенная характеристика психического. Однако сам процесс порождения идеального на этом этапе остается неосознанным, своеобразным «черным ящиком». На его входе —

внешний мир (причина), на выходе — образ мира (следствие). Что внутри черного ящика — тайна за семью печатями.

Технология создания образа мира во многих своих «узлах» остается неизученной до сих пор. Пока лишь ясно, что душа (= идеальное) пытается возвыситься над телесным (= материальным) миром. Об этом в свое время размышлял Гегель: «В феноменологии душа, посредством отрицания своей телесности, поднимается уже до чистого идеального тождества с собой, становится сознанием, становится “я”, в противоположность к своему другому существует для себя» (Гегель, 1956: 54). Для понимания закономерностей лингвоссмиозиса это положение важно, подчеркнем, только как точка отсчета в поисках начальной фазы знакообразования, поскольку в дальнейшем более существенным представляется понимание сути **взаимодействия** психического и физиологического, а не их противоположности.

Основополагающим в решении столь непростой задачи служит учение И.П. Павлова об условнорефлекторной деятельности, поскольку в нем впервые показана сопряженность физиологического и психического. Физиологическое в условном рефлексе проявляется в виде сложного взаимодействия организма со средой: изменения во внешнем мире с закономерной последовательностью вызывают соответствующие изменения в организме. Однако физиологическое в условном рефлексе служит лишь канвой, на которой, как говорил И.П. Павлов, создается «психологический узор» (1951: 152). Психическая природа условнорефлекторной деятельности проявляется в том, что условный рефлекс — одновременно и функция мозга, и отражение действительности. Для знакообразования психический аспект особенно важен, поскольку он открывает путь к пониманию взаимосвязи материального и идеального через важнейший закон психологии — закон а с с о ц и а ц и и.

Условный рефлекс, по И.П. Павлову, — один из частных видов ассоциации. Условный раздражитель — пусть и специфический, но своего рода знак. Центральным механизмом в условнорефлекторной деятельности выступает «замыкание временных связей». «Замыкание» означает формирование новых временных связей между различными элементами мозга, а «место этой замыкательной способности есть пункты сцепления нейронов» (Павлов И.П., 1951:

362). «Замыкание временных связей» — пожалуй, центральное звено в процессе знакообразования, поскольку здесь происходит превращение индифферентного раздражителя в *значимый, сигнальный*, и с этого момента сигнал становится *заместителем* безусловного раздражителя (первопричины познавательной деятельности человека).

Предназначение сигнала как условного раздражителя — вызывать «обратную связь», чтобы организм реагировал на сигнал так же, как он реагирует на соответствующий безусловный раздражитель. Именно здесь и происходит рождение в семиозисе идеального. Для того чтобы вызвать «обратную» реакцию, сигнал должен содержать в себе в «снятой», разумеется, форме действие безусловного раздражителя. «Снятая» форма как раз и является формой *идеализации* безусловного раздражителя в сигнале. Такого рода «замыкание временных связей» и «снятие» (идеализация) отражаемого предмета превращают сигналы в знак (сигналы сигналов), поскольку у них является важнейшее семиотическое свойство — оказывать *мотивационное* воздействие на психику человека; появляется собственно человеческая вторая сигнальная система — словесная, знаковая. Ее возможности неограничены. Словесный знак как единица второй сигнальной системы, кроме безусловнорефлекторной функции, обретает возможность выполнять индикативную, номинативную, когнитивную, прагматическую (как средство воздействия) и экспрессивную функции. Достаточно вспомнить прагматические возможности слова в гипнозе!

Представленные рассуждения позволяют с биопсихической точки зрения укрепить билатеральную теорию знака. Уже на *материальной* (сигнальной) стадии семиозиса знак-сигнал предстает *материальным* феноменом, обладающим в бытийном мире (как и все материальные явления действительности) своим собственным лицом, своей *первичной материальной плотью*; обратной же стороной материальности, связанной с «функциональным бытием» знака, его скрытым *смыслом* становится значение. Билатеральность знака, как видим, обусловлена единством физиологических и психических механизмов безусловнорефлекторной деятельности человека.

Последний штрих в создании динамической картины лингвистического семиозиса призван вывести билатеральные категории вер-

бального знака из-под давления биопсихических категорий. Еще С.Л. Рубинштейн признавал, что отождествление понятий «физиологическое», «объективное» и «материальное» создает дополнительные труднопреодолимые противоречия (Рубинштейн С.Л., 1957: 41). По его убеждению, эти понятия не взаимозаменяемы: *физиологическое* — всё то, что относится к жизнедеятельности организма; *объективное* — относящееся к объекту; предметный, реальный мир, не зависящий от природы и интересов субъекта. *Материальное* — вещное, телесное. Для понимания сущности знакообразования важно различать данные категории, но различать в их взаимосвязи: физиологическое относится к процессам «естественного» знакообразования, объективное — к отражаемой реальной действительности, а материальное — к устройству языкового знака.

То же относится и к понятиям «психическое», «субъективное» и «идеальное». *Психическое* — само отношение образа к отражаемому предмету, и в этом плане в устройстве языкового знака оно противопоставляется физическому, телесному. *Идеальное* — это образ предмета знакообозначения, образ мира. *Субъективное* — всё то, что относится к объективации в языковом знаке психического состояния субъекта и зависит от него. При этом субъективные категории содержания языкового знака следует отличать от личностных. Субъектом познания на его высшей, обобщающей стадии может выступать этноязыковое сообщество в целом.

Последние три категории непосредственно характеризуют «функциональное бытие» знака — его семантику, составляющими которой являются смысл и значение. Смысл — категория субъективно-объективная, поскольку это всегда смысл номинируемого предмета для субъекта. В свете изложенного выше смысл знака развивается в направлении от биологического к сознательному. Такой путь и способ развития смысла обуславливаются формированием значений. По Л.С. Выготскому, «значение есть категория общественного сознания, есть категория принципиально-языковая; значение, следовательно, объективно и устойчиво; оно — отношение предмета не к индивиду, но к коллективу, отражает устойчивое в предмете и устойчивое в общественной потребности субъекта» (см.: Выготский Л.С., 1982: 209).

Смысл открывает путь к значению и заканчивает его: **смысл — значение — смысл**. Смысл кристаллизует в себе схемы предметной деятельности, поэтому принадлежит не предмету, а деятельности. Отсюда на первой стадии формирования значения смысл входит в значение, точнее, в семантическую структуру знака в виде минимальных смысловых элементов — сем.

Значение же принадлежит предмету. Отсюда термин «значение предмета» (предметное значение). Значение предмета представлено теми свойствами, которыми предмет открыт субъекту.

2.4. Соотношение когнитивных и языковых категорий

Целесообразно различать *языковые значения, концепты и понятия*, хотя все три категории входят в когнитивное содержание языкового знака. Языковое значение — категория лингвистическая, концепт — категория обыденного сознания, а понятие — категория научного знания (см.: Мечковская Н.Б., 2004: 109). Есть опасение, что при таком подходе исследователем могут отождествляться онтологические свойства познаваемого объекта и смысловые компоненты языкового значения. Последние являются результатом эвристической интерпретации свойств реальной действительности. В этом отношении стоит прислушаться к мнению Э. Бенвениста, который подчеркивал, что извлекаемое из семантической структуры слова имеет характер модели — объекта эпистемологического, гипотетического, ни в коей мере не претендующего и не имеющего оснований претендовать на статус объекта онтологического, единственного в своем роде. Поиски в формальной системе языка «слепка с логики», будто бы внутренней присущей мышлению и, следовательно, внешней и первичной в отношении к языку, Э. Бенвенист назвал «путем наивных воззрений и тавтологий».

Несмотря на свою непомерную употребительность, содержание термина «концепт» в настоящее время является, пожалуй, одним из самых противоречивых, что, в частности, объясняется тем, что идя в понятийный аппарат ряда наук (математики, философии, культурологии, нескольких направлений лингвистики и т. д.), кон-

цент интерпретируется с точки зрения методологических установок каждой из них. С другой стороны, столь значительные «разночтения» даже в пределах одной науки, несомненно, объясняются сложностью природы этого феномена.

Так, Н.Н. Болдыреву концепт представляется в виде снежного кома (Болдырев Н.Н., 2002). В.В. Колесов называет концепт зернышком первосмысла, из которого произрастают новые смыслы (Колесов В.В., 2002). Конкретизировать метафорическую неопределенность таких определений помогает теория Ю.С. Степанова, который выделяет в концепте три конститутивных слоя — основной, дополнительный и этимологический. *Основной* актуальный признак известен каждому носителю культуры и значим для него. *Дополнительные* признаки являются неактуальными, историческими. *Этимологический* признак, не находясь в светлой зоне обыденного языкового сознания, существует как «основа, на которой возникли и держатся остальные слои значений» (Степанов Ю.С., 1997).

Представление о «слоистом» строении концепта поддерживается многими современными исследователями (В.И. Карасик, Г.В. Токарев, И.А. Тарасова, Г.Г. Слышкин и др.). В процессе развития концепта видоизменяется его содержание, растет количество порождаемых им ассоциаций, более тонкой становится стилистическая дифференциация языковых средств его репрезентации. Причем выделенные слои концепта обуславливают формы его существования, вектор развития, вместе с дискурсом, эпицентром которого является данный концепт, участвуют в порождении его новых смысловых обертонов. Этим прежде всего концепт и отличается от понятия.

В концепте разного уровня обобщения и абстрагирования внеязыкового и языкового смыслового содержания выражаются как лексическими, так и грамматическими средствами. Иными словами, они служат средствами создания обыденного «образного понятия» о соответствующем фрагменте окружающего мира. Вот как пишет о концепте «Волга» известный итальянский славист Р. Казари: «Волга, как вообще русские реки, в литературе и искусстве знает “созерцательные” моменты, когда ансамбль города, расположенного на двух берегах реки, и сама река скрепляются в одно целое, в котором физические, географические данные преобразуются в выс-

ний концепт гармонической, вневременной красоты» (Казари Р., 2005: 31).

Когнитивная семантика не только не противопоставляет лингвистическую и экстралингвистическую семантику, но даже предполагает их изучение в органическом единстве. Более того, предметом когнитивной семантики являются те знания и представления, которые представлены в нашем языковом сознании (подсознании) и, сохраняясь в коллективной памяти народа, способны передаваться в ходе информации. Еще задолго до оформления когнитивной семантики в самостоятельную лингвистическую дисциплину И.А. Бодуэн де Куртэнэ выделил особый тип знаний, назвав его «языковым знанием».

2.4.1. Концепт и языковое значение

В современной когнитивной семантике уже никем не оспаривается тезис о том, что языковой знак является носителем не только значения, но и смысла. Известно, что в процессе общения он способен передавать больший объем информации (а значит, и больше знаний), чем его собственно языковое значение. В связи с этим возникает вопрос: как соотносятся структуры знания, моделируемые в сознании человека в ходе познания мира, с языковыми значениями и смыслами, которые эти знания (информацию) представляют?

Из теории познания известен вектор формирования системы знаний об окружающем мире: от чувственного созерцания к абстрактному мышлению. На первом этапе формируются ощущения, восприятия и представления, а на втором — общие понятия, соответствующая конфигурация которых, собственно, и образует систему знаний. Для когнитивной семантики на всех этапах формирования понятия важно различать две стадии: а) выделение в процессе познания предмета (явления) его наиболее существенных свойств и признаков и б) установление между ними закономерных связей и отношений. Необходимость сосредоточения внимания на этих двух стадиях обусловливается тем, что выделенные свойства и признаки являются элементарными смыслами значений тех языковых знаков, при помощи которых закрепляются в нашем сознании предметно-познания и отношения между ними. На этом основании делается

вывод, что таким образом «формируются понятия в тех или иных языковых формах». Они, по мнению И.И. Болдырева, «составляют смысл соответствующих языковых выражений» (1999: 16). Однако подобные суждения нуждаются в дополнительных специальных исследованиях.

Одним из возможных способов решения этой проблемы служит идея концептуального описания взаимосвязи значения языковых единиц и когнитивных структур. Его основной единицей является *концепт*. По мнению И.И. Болдырева, введение его в науку о вербальном познании позволяет устранить известную многозначность термина «понятие». Опираясь на «Лингвистический энциклопедический словарь» (1990: 384), ученый считает понятие более широкой категорией, обладающей объемом (совокупностью предметов, подводимых под данное понятие) и содержанием (совокупностью сфокусированных в нем признаков и свойств одного или нескольких предметов). В отличие от понятия концепт представляет только второе — смысловое содержание понятия и сигнификат языкового значения. Понятие, следовательно, считается основным элементом неязыкового сознания, а концепт — элементом сознания языкового.

Такое понимание концепта не раскрывает, однако, всей его содержательной многоаспектности. Концепт при таком понимании отождествляется со смыслом. «Любой акт коммуникации представляет собой обмен смыслами, или концептами, а языковые единицы выступают основным средством, обеспечивающим этот процесс» (Болдырев И.И., 2002: 16). Исследователь, разделяя точку зрения авторов «Краткого словаря когнитивных терминов» (М., 1996: 19–21), полагает, что языковые единицы все же передают только какую-то часть содержания концепта; вторая часть представлена в психике ментальными (неязыковыми) репрезентациями. К ним относятся мыслительные образы, схемы, фреймы, сценарии, картинки и т.п. (см.: Бабушкин А.П., 1996). Средством актуализации той или иной когнитивной структуры могут выступать и формы чувственного познания, и концептуальные знания, закодированные в семантике языковых единиц.

Для презентации одних концептов (примарных концептов) достаточно одного слова, для представления других (осложненных концептов) приходится прибегать к услугам более сложных

языковых структур — словосочетаний, фразеологических единиц, предложений и даже целых текстов, если за концептом стоит целое событие. В последнем случае передаются структурированные знания в виде фреймов, сценариев, гештальтов и т.п., представляющих собой когнитивные структуры ассоциативно-образного характера, конструктивным центром которых выступает все тот же концепт. В итоге Н.Н. Болдырев заключает, что «значения языковых единиц разной степени сложности и уровня организации за счет формирования и передачи необходимых смыслов, или концептов, способны передавать и активизировать концептуальную информацию различного типа — от примарных и осложненных до сложных концептуальных структур высшей степени абстракции» (Болдырев Н.Н., 2002: 8). Проблема соотношения концепта и языкового значения остается открытой еще и потому, что в самой концептосфере, являющейся основной категорией когнитивной науки, не выделен предмет изучения когнитивной психологии и предмет когнитивной лингвистики.

Когнитивное пространство, или концептосфера, образуется определенным способом структурированной совокупностью концептов. Взаимоотношение системы концептов и системы языковых знаков интерпретируется учеными по-разному: одни утверждают, что все концепты имеют языковую объективацию, другие допускают их параллельное существование, третьи доказывают, что одна часть концептов представлена системой языковых знаков (лексем, морфем, тонических конфигураций лексем, структур и др.), другая часть не имеет языкового выражения. Концепты, объективируемые языковыми знаками, служат когнитивной основой их значений. Система языковых значений образует семантическое пространство языка (Попова З.Д., Стернин И.А., 2001: 89–174). Изучение семантического пространства языка служит ключом к осмыслению концептосферы данного этноязыкового сообщества.

Поскольку наше сознание располагает «неязыковленными» концептами (их называют лакунарными) и неконцептуализированными языковыми структурами, когнитивное и семантическое пространство находятся в отношении пересечения, т.е. часть когнитивного и часть семантического пространства не совпадают. Однако эта проблема еще не стала предметом отдельного фундаментального ис-

следования. Причиной тому «отроческий возраст» когнитивной семантики и господство описательной модели лингвокультурологии.

К настоящему времени достаточно успешными можно считать системно-структурную и функциональную модели естественного языка. Однако ни одна из них не отвечает когнитивно-дискурсивному подходу в лингвокультурологии, нуждающейся в едином принципе исследования синергетически целостного объекта. Пришло время разработать такую когнитивно-семиологическую модель языка и речевой деятельности, которая бы интегрировала, по крайней мере, две идеи: а) положение когнитивной лингвистики о функциональной корреляции структур когнитивной и языковой семантики (языковом кодировании внеязыковой информации) этнокультурным сознанием человека и б) сведения о закономерностях речевой реализации вербализованного концепта. Важное место в разработке такой теории, разумеется, должны занимать механизмы *понимания* «языковленного» концепта, основным элементом которого является декодирование заключенного в имени концепта когнитивно-дискурсивного содержания.

Эти процессы находятся и в эпицентре когнитивной психологии. В связи с этим возникает закономерный вопрос, не дублируют ли друг друга когнитивная психология и когнитивная лингвистика? Не найдя адекватного ответа, нередко ученые одной когнитивной дисциплины берутся за решение (порой фундаментальных) проблем, лежащих за рамками их научной компетенции. Конечно же, это замечание не относится к тем междисциплинарным связям, которые, балансируя на грани периферийных зон смежных наук, приводят если не всегда к научным открытиям, то непременно к научному озарению, разрушающему каноны устоявшихся научно-исследовательских парадигм и стимулирующему расширение и углубление их поискового пространства. Именно поэтому при создании когнитивно-семиологической модели языка и речевой деятельности важно, с одной стороны, определить общность когнитивных и семиологических интересов, выделить смежные объекты двух дисциплин, а с другой, — развести их исследовательские стратегии, курсы и аспекты.

В специальной литературе уже ставился вопрос о том, как должны быть разграничены области исследования этих наук и

м должны (или не должны) заниматься лингвисты в отличие от психологов (см. работы Е.С. Кубряковой, В.З. Демьянкова и др.). Однако вопрос остался открытым, в частности и потому, что весьма неприятным фоном служат противоречивые установки разных школ и течений современной когнитивной психологии (непримиримая полемика между эмпириками и рационалистами, экспериментаторами и теоретиками, формалистами и функционалистами). Всё это не способствует пониманию истинных связей когнитивной лингвистики и когнитивной психологии.

Когнитивно-семиологический подход к взаимосвязи концепта и значения соотносимого языкового знака предполагает исследование в двух аспектах: а) с точки зрения коммуникативно-прагматического взаимодействия вербализованного концепта и слова в условиях того или иного дискурса, в том числе и конкретного речевого жанра; б) как продолжение первого в аспекте соотношения системы языка и системы мышления.

Природа художественного в речевых жанрах — артефактах словесного искусства, соотношение в них индивидуального и надиндивидуального могут быть раскрыты в ходе исследований закономерностей взаимоотношения концепта и дискурса, если, разумеется, под концептом понимать речемыслительный архетип, древнейшую модель когниции, метанарратив (ведущий, глобальный дискурс). Дело в том, что архетип как некая глубинно содержательная структура, как концепт материализуется в различных речевых жанрах. Поскольку архетипические концепты представлены основными типами дискурсивного мышления, они фактически неотделимы от них, актуализируются и в известном смысле порождаются ими. Поэтому концепты-архетипы (в том числе и те, которые выделял еще К.Г. Юнг, М. Элиаде, П. Фрай) оказываются генетически связанными с жанровыми структурами (см.: Саморукова И.В., 2001). Такого рода структуры хранят следы порождаемых ими архетипов, а закрепившиеся в речевых жанрах архетипические концепты всякий раз обнаруживают свою связь с тем или иным речевым жанром. Этот неоспоримый факт (к сожалению, главным образом, интуитивно воспринимаемом уровне) отмечается в работах философов, культурологов, психологов и литературоведов. Поэтому для аргументации подобных суждений и объективации внутренних

механизмов, связывающих концепты и речевые жанры, необходимо привлечь поисковый ресурс современной когнитивной лингвистики, сосредоточив внимание на промежуточных звеньях в цепи «концепт — речевой жанр». Это предполагает рассмотрение онтологического соотношения концепта, языкового значения в рамках когнитивно-семасиологической парадигмы, их корреляцию к таким категориям когнитивной семантики, как «знание», «концепт», «семантические сети», «сознание», «языковое сознание» и «значение».

Научная ценность коррелятивного сопоставления, несомненно, возрастет, если данные категории будут «работать» в системе, т.е. будут структурированы по отношению друг к другу в соответствии со своим лингвокогнитивным содержанием и отношением к основным когнитивным категориям — *знанию и познанию*.

2.4.2. Языковое сознание как когнитивно-семиологическая категория

Вопрос о правомерности выделения языкового сознания в отдельную категорию остается в науке открытым. Считается, что любое сознание непременно объективируется лингвосемиотическим кодом. Однако не лишена смысла и другая точка зрения, согласно которой когнитивные процессы, конечно же, опираются на знаковые опосредователи, но ими могут быть не только знаки языковые, но и другие семиотические средства передачи информации. Как уже отмечалось, любая семиотическая система служит своеобразным «языком» или, точнее, кодом хранения информации в нашей памяти и ее декодирования в процессе речевого общения, т.е. передачи информации.

Сущность процесса передачи информации хотя и активно используется в современных лингвокогнитивных исследованиях, все еще остается для лингвиста тайной за семью печатями. Более адекватно этот процесс исследован физиками. Передача информации посредством современных технических средств коммуникации заключается в *превращении одного вида энергии в другой*. Причём особо подчеркивается, что превращение должно быть однозначным. Это главное условие существования кодирования информации и основной признак в определении сущности *кода*. Такое перекоди-

вание, преодолевая законы линейного мышления, поражает си-
ультантные, содержательно-синергетические (нелинейные) фор-
мы концепта, образующие его многослойную организацию, на кото-
ую впервые обратил внимание Ю.С. Степанов (1997: 45).

При помощи однозначного преобразования различных свойств
признаков познаваемого объекта между этим объектом и его изо-
бражением (его образом) возникают отношения изоморфизма. Но
возникший образ в силу ряда причин — не функционирующее це-
ле, он представляет собой упорядоченное в пространстве и време-
и множество, а сам источник движения этого множества находится
пределами данного образа. Итак, это такое организованное мно-
жество, внутренние связи которого задаются находящимися за его
пределами источниками движения и развития. Поэтому определе-
ие данного множества последовательности элементов целого как
армонического не имманентно самому этому множеству и не при-
надлежит ему (Г.Х. Шингаров). Это, разумеется, не что иное, как
философское понимание сущности кода и кодирования информа-
ции. Но оно как нельзя лучше показывает синергетическую приро-
ду сопряжения генетического и языкового кодов.

Изначально информация кодируется генетическим кодом, в
котором сотрудничают физические, химические и биологические
механизмы образной фиксации отражаемого в мозге фрагмента
реальности. С этим утверждением никто не спорит, оно при-
знается всеми когнитологами как аксиома. Поэтому при таком
подходе остается открытым вопрос: каковы механизмы хранения и
передачи информации? Очевидно, что для ответа на этот сложней-
ший не только для когнитивной лингвистики вопрос необходимо
еще всего обратиться к нейробиологической теории информа-
ции. Современная нейробиология располагает убедительными ар-
гументами, подтверждающими, что хранение информации — осо-
бенно бионейрологическое свойство мозга, называемое памятью.
«Бионейрологическое» потому, что функцию хранения информа-
ции выполняют ДНК (дезоксирибонуклеиновые кислоты), а функ-
цию передачи — последовательные цепочки аминокислот в белке,
играющие роль химического сообщения.

Мозг, следовательно, располагает двумя типами кодов, двумя
«алфавитами» — ДНК и белковым. Перевод, или перекодировка

последовательности ДНК в белковый ряд сопоставимы, по мнению Ф. Жакоба, с сообщением по системе Морзе. Оба типа «алфавитов» служат, по определению ученых, генетическим языком человека, обнаруживающим изоморфизм с естественным языком, т.е. одинаковое (точнее, принципиально сходное) устройство. Одни исследователи объясняют такой изоморфизм сходством функций генетического и естественного языков — хранить и передавать информацию (эту точку зрения отстаивает биолог Ф. Жакоб); другие, например Роман Якобсон, придерживаются мнения, что сходство этих языков обусловлено их «родственными отношениями», что языковой код возник по образу и структурным принципам кода генетического.

Думается, что второй подход позволит приоткрыть завесу над тайнами нейropsychических механизмов взаимодействия первой и второй сигнальных систем. Для этого необходимо иметь более глубокое представление о соответствии элементов генетического и языкового кодов, пока же наука располагает лишь предположением о сходстве элементов в уровневой организации одного и другого кода. Лишь с определенной условностью можно говорить о том, что единицы низшего уровня генетического кода — нуклеотиды — напоминают единицы низшего уровня языкового кода — фонемы. И все же их сближает многое: они лишены собственного значения и служат «материалом» для образования минимальных значимых единиц. В генетическом коде такими элементарными единицами, имеющими значения, являются энхансоны с довольно ограниченной сочетаемостью. Биопсихологи допускают возможность аналогии между ними и морфемами языкового кода. Выше располагаются единицы, образованные комбинациями элементов предыдущего уровня: в генетическом коде — промоторы, терминаторы, энхансонные модули, а в языковом — слова. Сочетаемость этих единиц в генетическом коде синтезирует белок, а в языковом образует предложение-высказывание. Наконец, молекула ДНК — своеобразный текст генетического кода¹.

Дальнейшее изучение подобного изоморфизма обещает расширить наши знания о закономерностях накопления, хранения и

¹ Подробнее о молекулярно-генетических процессах см. в журн.: В мире науки. 1985. № 12 («Молекулы жизни»).

переработки информации, связанных с мышлением. Мышление и язык возникли, по данным современной науки, в результате одного эволюционного процесса. Звуковой язык появился вместе с возникновением человека. Он формировался на основе уже имевшихся голосового и слухового аппаратов, способных, соответственно, производить и воспринимать акустические сигналы (это свойство также и животных). В процессе эволюции человека звуковые сигналы превращались в сложнейшую систему символов, знаков, наиболее совершенными из которых являются языковые знаки. Очевидно, изначально эти знаки имели непосредственные (прямые) связи с предметами окружающего мира. Затем произошло замещение и полное вытеснение реальных связей условными, в результате чего знаки стали воспроизводимыми. Это свойство языка необходимо не только для того, чтобы, подобно генетическому коду, хранить и передавать информацию, но и для выполнения общественных функций. Поскольку свойство изоморфизма генетического и языкового кодов обуславливается, надо полагать, действием глобального эволюционного процесса, оно служит глубинным механизмом перекодирования информации из когнитивных структур (фреймов, концептов, гештальтов и др.) в языковые — естественной основой синергетики когнитивного и языкового сознания.

Способы и средства такого перекодирования в целом зависят от понимания типологии когнитивных структур и их соотношения. Существует две точки зрения: согласно первой, все многообразие родовых мыслительных структур можно подвести под одно родовое когнитивное образование — концепт; вторая точка зрения выстраивает все типы мыслительных структур в одной плоскости: *концепт*, *фрейм*, *скрипт*, *сценарий*, *гештальт* и др. В нашем представлении, когнитивные структуры находятся в иерархических отношениях. Высший уровень в этих отношениях образует целостный мыслительный образ — *гештальт*, затем путем членения целого на составляющие его части выделяют три событийные структуры — *фрейм*, *скрипт* и *сценарий*. Элементарной когнитивной единицей событийных структур является *концепт* — оперативная единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания, «содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы

и языка мозга» (КСКТ 1996: 90). Языковое сознание в некотором роде производное этнокультурного сознания.

Этнокультурное сознание — результат отражения и восприятия образа мира (Гурочкина А.Г., 2001: 122–123) в соответствии с особой сеткой ценностно-смысловых координат, представляющих собой содержательные контуры той или иной национальной культуры. Специфику каждой этнокультуры определяет структурированная совокупность основных духовных ценностей, традиций и обычаев, закодированных в устно-поэтических и письменных произведениях. Прежде всего этнокультурной значимостью отмечены идиомы, паремии, языковые метафоры и устойчивые стилистические фигуры (см.: Ковалева Л.В., 2004: 33). Эти языковые структуры представляют в нашем сознании в яркой образной форме наиболее важные для данной этнокультуры объекты — предметы, события, факты. Представления о культурно значимых предметах, событиях, фактах, зафиксированных в концептах, связано с понятием прототипа или, точнее, с прототипическими признаками тех или иных классов предметов.

Прототипический подход к семантике предполагает, что категории выступают в наиболее ярких и презентабельных образцах (Лакофф Дж., 1990: 31–51; Langacker R.W., 1991: 162–170; Рахилина Е.В., 2002). **Прототип** — это наиболее репрезентативный (канонический, эталонный) вариант определенного инвариантного системного объекта, характеризующийся наибольшей специфичностью (концентрацией специфических признаков данного объекта), способностью к воздействию на производные варианты и (во многих случаях) наиболее высокой степенью регулярности функционирования. Одним из общих свойств инварианта и прототипа является свойство относительности, суть которого в том, что рассматриваемое значение может быть производным от прототипа более высокого уровня и вместе с тем быть прототипом по отношению к тому или иному семантическому варианту, находящемуся на более низкой ступени иерархии.

Соотношение рассматриваемых понятий обуславливает алгоритм инвариантно-прототипического анализа, помогая 1) решить вопрос истолкования данного семантического феномена как категориального значения, представляющего собой инвариант; 2) опре-

делить сеть (ряд) вариантных реализаций изучаемого категориального значения (наличие вариантности предполагает использование понятия прототипа как эталонного варианта, наиболее ярко выявляющего специфику данного значения); 3) исследованию вариантов, которое начинается с прототипа как эталона, затем рассматриваются отдельные этапы перехода эталонных свойств к свойствам единиц, находящихся в заядерной зоне, затем на ближней и, наконец, на крайней (дальней) периферии (см. об этом: Бондарко А.В., 2002: 159–285).

Прототипические признаки — это те свойства, которыми характеризуются предметы соответствующего класса. Причем набор таких признаков и их иерархия в каждом национальном языке «свой». Другими словами, одни и те же объекты воспринимаются и кодируются этноязыковыми сознаниями в соответствии с выработанными в данном этнокультурном сообществе представлениями о данном классе предметов, при том, что логически механизмы их концептуализации остаются универсальными. Одинаковые концепты в разных языках могут иметь различные вербальные репрезентации. Ср. сходные по смыслу пословицы в разных языках: *Паршивая овца все падо портит; С глаз долой — из сердца вон.*

К номинативным единицам высокой национальной нагруженности, по данным А.Г. Гурочкиной, относятся прежде всего обозначения бытовых реалий (одежда, украшения, денежные единицы, музыкальные инструменты и т.д.), антропонимы, топонимы, названия явлений и предметов духовной культуры, ритуалы, традиции. Другой номинативной единицей, ядерный компонент лексического значения которой национально обусловлен, является коннотативная лексика. Например, одних и тех же животных народы разных стран называют различными качествами (*свинья* — амер. грубиян, жадик; русск. — неряха, грязнуля).

Специфика наименования, представления того или иного объекта, явления или процесса отдельным этноязыковым коллективом обусловлена его особым видением мира, определяемым культурной моделью, существующей в национальной традиции, и ее языковой проекции. Изучение пословиц и поговорок, отражающих представления о мире внутри отдельной национально-культурной традиции, формирующей свой состав словаря, определяющей особенности тек-

стовой организации, позволит выявить особенности восприятия и познания мира разными народами, характер отображения и расчленения мира языком определенного этноса (Семененко Н.Н., Шипицина Г.М., 2005).

Значение и сознание. *Сознание* — высшая, понятийная форма отражения человеком действительности и его отношения к отражаемому. В соответствии с таким пониманием структурными компонентами сознания являются когнитивные (понятия, представления) и некогнитивные (чувства, эмоции, воля и др.) элементы. *Познание* — процесс отражения и воспроизведение в мышлении действительности, в результате которого происходит накопление знания. Знание, как показывает анализ данных определений, выступает общим элементом в содержании таких когнитивных категорий: 1) *знание* — совокупность результатов отражения и как таковое является содержанием и способом существования сознания; 2) *мышление* — способ получения знания; 3) *сознание* (со-знание) — соотнесение знаний с действительностью, одного знания с другим.

Знание как способ существования сознания закрепляется в языке, точнее, фиксируется и хранится при помощи языковых знаков в виде *языкового знания*. Следовательно, если предметно-семиотическое знание является содержанием и способом существования сознания вообще, то языковое знание является содержанием и способом существования *языкового сознания*, объективирующего, кроме всего прочего, и знание внутренних механизмов, связывающих концепты и речевые жанры.

В соответствии с изложенным следует различать две взаимосвязанные ментальные сферы: а) когнитивную ментальность, т.е. наглядно-образное отражение мира по схеме: предметно-образное *мышление* (способ отражения, способ познания) — когнитивное *со-знание* (продукт отражения и хранения социально-исторического опыта) — когнитивное *знание* (содержание и способ существования когнитивного сознания) — предметное *значение* (форма существования представлений и образов); б) языковую ментальность, т.е. языковое представление действительности в преломлении соответствующих языковых категорий по схеме: языковое / речевое *мышление* (лингвосемиотический способ познания) — языковое *сознание* (закрепленный за языковыми формами и категориями способ

сторичного отражения социально-исторического опыта) — языковое знание (содержание и способ существования языкового сознания) — языковое значение (форма выражения языкового знания).

Значение и языковое сознание. Дискуссионность проблемы отношения значения и языкового сознания во многом предопределяется разными моделями языковой репрезентации знаний в отечественной и зарубежной лингвистике. Как справедливо отмечает В. Рахилина, теории генеративизма Хомского в отечественном языкознании 60–70-х годов была противопоставлена модель «Смысл — Текст» И.А. Мельчука, А.К. Жолковского и Ю.Д. Апресяна. В отличие от генеративизма Хомского, семантика в этой модели всегда была важнейшим компонентом языкового представления знаний (см.: Рахилина Е.В., 2002: 370–389). Их исследования были подчинены совершенствованию языкового представления знаний и обозначили тем самым контуры новой школы в семантике, известной как Московская семантическая школа (ср. прежде всего: И.А. Мельчук; Апресян, 1993; Мельчук, Жолковский, 1984).

Долгое время Московская семантическая школа противопоставлялась не только генеративизму Хомского, но и западной лингвистике вообще. Считалось, что поскольку в ней господствует хомский маневр, то не остается места для семантики. Даже исследования Дж. Катца (Katz, Fodor 1963; Katz 1972), М. Бирвиша и У. Вейнрейха воспринимались как исключение из правила. Представленная в них теория языковой семантики рассматривалась нашими языковедами не как элемент языкового сознания, а как способ представления и упаковки знаний о действительности. Исключение составили лишь семантические штудии Ч. Филлмора и А. Вежбицкой, ставшие у нас весьма популярными. С этим следует согласиться. Однако утверждение, что ситуация резко изменилась лишь к концу 90-х годов XX века, когда в зарубежной науке о языке в рамках когнитивной лингвистики¹ возникло оригинальное семантическое направление — когнитивная семантика, представляется нам слишком категоричным, поскольку не соотносит весьма интересные исследования зарубежных лингвистов с отечественными теориями,

¹ Когнитивная лингвистика возникла также недавно: в ходе симпозиума в Дуйсбурге, организованного Рене Дирвеном весной 1989 года. Тогда же был основан журнал «Когнитивная лингвистика».

созданными такими корифеями отечественной менталингвистики XIX века, как А.А. Потебня, Н.В. Крушевский, Ф.Ф. Фортунатов и др. Они, как известно, не называли свои исследования когнитивными, но это не снижает значимости их разработок для современной когнитивной семантики, поскольку главными «фигурантами» в них выступают а) механизмы взаимодействия языка и мышления, б) соотношение слова, понятия и представления, в) внутренняя форма слова как средство представления нашему сознанию связи означающего и означаемого языкового знака.

Когнитивная семасиология неоднородна еще и потому, что в ней сосуществуют самые разнообразные, хотя и интересные, теории, гипотезы и отдельные замечания, которые нелегко (а порой и невозможно) объединить в одну школу (Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Р. Джакендофф, Ч. Филмор, Л. Талми).

Каждая из двух ментальных сфер характеризуется специфическими нейродинамическими механизмами, во взаимодействии которых и порождается языковое сознание и языковое значение. Пожалуй, впервые понятие «языковое сознание» было введено в науку В. фон Гумбольдтом. Язык, писал ученый, в своих взаимозависимых связях есть создание народного языкового сознания (Гумбольдт В., 1985: 396–397). Специфической формой выражения языкового сознания является *языковое значение*. По данным когнитивной лингвистики, оно представляет собой результат качественно иного осмысления исходного (наглядно-опытного) отражения наименованного предмета, дополняет, обобщает его, вводит, по словам А.Н. Леонтьева, в новые связи и отношения. В этом смысле язык подчинен мышлению, о чем писал Э. Сепир: «...язык по своей сути есть функция до-рассудочная. Он смиренно следует за мышлением, структура и формы которого скрыты... язык не есть ярлык, заключительно налагаемый на уже готовую мысль» (Сепир Э., 1993: 36).

Причем подчинение языка мышлению носит эвристический, «творческий» характер. «Огромный выигрыш человека, обладающего развитым языком, — отмечает А.Р. Лурия, — заключается в том, что мир удваивается. С помощью языка, который обозначает предметы, он может иметь дело с предметами, которые непосредственно не воспринимаются и которые не входят в состав его собственного опыта. Человек имеет двойной мир, в который входит и мир непо-

представленно отражаемых предметов, и мир образов, объектов, отношений и качеств, которые обозначаются словами» (Лурия А.Р., 1979: 37).

Следовательно, слово, точнее его значение как способ и форма существования со-знания — это особая (когнитивно-семиологическая) форма отражения действительности, благодаря которой человек может свободно существовать в этом двойном мире. Все это оказывается возможным благодаря особым свойствам языкового значения: не будучи отражением в гносеологическом смысле, в слове как «особой форме отражения» происходит *кодирование* и *категоризация* знания в знаковой (символической) форме, которые одновременно обогащают его совокупным социальным опытом, упорядочивают и организуют в тех или иных языковых формах.

В процессе категоризации мира языковое сознание осуществляет сложную аналитическую и синтетическую работу. Расчленяя при помощи языка предметно-опытные знания на элементы и устанавливая между ними определенные связи и отношения (сходства, различия, принадлежности), мы тем самым обогащаем исходные когнитивные знания знаниями языковыми (лексическими, семантическими, грамматическими и лингвопрагматическими), формой выражения которых являются языковые значения. Меняя познаваемые предметы, языковые знаки, с одной стороны, выражают и фиксируют в своих значениях обобщенный опыт когнитивного освоения действительности, а с другой — подвергают его «давлению системы» языка, вводя соответствующие знаки в уже сложившиеся языковые отношения — *эпидигматические*, или привационно-смысловые (Д.Н. Шмелёв); *семантические* (полиимичные, антонимичные, синонимичные, гипонимические и др. парадигматические связи в семантическом поле), синтагматические и стилистические. Таким образом, значение языкового знака тождественно когнитивным структурам, поскольку, кроме предметно-понятийного ядра, содержит эпидигматическую и системно-языковую информацию.

Структура языкового сознания. Категориальная система когнитивно-семиологического пространства представляется мне в виде трех взаимосвязанных блоков: а) блока познаваемых и обозначаемых

объектов действительности; б) блока субъекта отражения; в) блока средств отражения и средств знаковой материализации продуктов отражения (см.: Алефиренко Н.Ф., 2005: 28—30). Исходя из этого можно выстроить следующий ряд когнитивно-семасиологических категорий лингвокультуры. Его открывают категории собственно языковой семантики: 1) познаваемые *объекты* действительности; 2) отдельные предметы знакообозначения — *референты*; 3) классы однородных предметов знакообозначения — *денотаты*. За ними следуют категории лингвокультурной интерпретации отраженной действительности: 4) *мышление* — процесс креативного взаимодействия человека (как члена соответствующего этнокультурного сообщества) с познаваемым объектом, в результате которого отраженная действительность обретает форму этнически обусловленного восприятия, представления или понятия; 5) *сознание* — концептуальная форма отражения человеком действительности и его отношения к этой действительности; структурными компонентами сознания, таким образом, являются когнитивные (концепты) и эмотивные (чувства, эмоции, воля и др.) структуры; 6) *познание* — процесс отражения и воспроизведения в мышлении действительности, в результате которого происходит накопление культурно значимого знания. Знание (как способ существования сознания), закрепленное в языке, фиксируется языковыми знаками и хранится в сознании в виде структурно организованных *языковых значений*. Однако семантическая система языка функционирует, развивается и совершенствуется только в тесном и органическом взаимодействии языковой личности с такой сложной динамической системой, как семантическое пространство языка. При этом важно выяснить лингвокогнитивную сущность такого взаимодействия.

Конструктивной базой его служит «сегевидная» структура всей системы «Человек и его семантическое пространство». Это выступает, в свою очередь, условием того, что взаимодействие языковой личности с семантическими сетями полностью подчинено принципу *системной синергетики*, исключающему обособленное (изолированное) функционирование компонентов этой системы. Согласно этому принципу актуализация одного из компонентов семантической сети тут же вызывает функциональную активность всех других ее элементов. Отсюда следует, что продукты взаимодействия

ыковой личности с семантическими сетями оставляют свои следы как в кратковременной, так и в долговременной памяти.

Опираясь на работы психологов (Васильев И.А., 2004: 48–50), изучающих взаимодействие человека со сложными динамическими системами, можно предположить, что и взаимодействие языковой личности с семантическими сетями представляет собой весьма сложное многоаспектное явление. Сложность такого вида системного взаимодействия обуславливается тем, что в его структуру входит достаточно большое количество компонентов и многообразных связей между ними. Чрезвычайно важным свойством синергетики семантической сети является ее *независимый* динамический характер.

Мы будем исходить из того, что устройство системы «человек – семантическое пространство языка» представляет собой так называемую семантическую сеть – структуру для представления знаний в виде *узлов*, соединенных *дугами*. Само понятие «семантические сети» требует адаптации к когнитивно-семиологической лингвокультурологии, поскольку изначально они были разработаны в качестве языка-посредника для систем машинного перевода. Для лингвокультурологии важно, что семантические сети представляют собой некий аналог естественного языка. Некоторые ученые полагают, что семантические сети, разработанные в последнее время для реализации идеи машинного перевода, стали настолько гибкими и гибкими, что оказались способными составить конкуренцию фреймовым системам, логическому программированию и другим структурам представления знаний, форматированных в концепты.

На наш взгляд, принципы построения семантических сетей и фреймовых систем должны рассматриваться не как конкурирующие, а как взаимодополняющие образования. Для их использования в когнитивной лингвокультурологии необходимо соотнести конструктивные элементы семантических сетей с категориями когнитивной семантики.

Как несложно увидеть, сама семантическая сеть имеет фреймовую организацию, а конструктивные узлы ее семантических сетей соотносимы с концептами как их смысловые составляющие. Несмотря на то что сопоставляемые категории все же различаются

и содержательно, и структурно, они находятся в отношениях функционального дополнения:

1) узлы семантических сетей — это своего рода конструктивно-смысловые элементы сложных концептов: обобщенные образы предметов, событий или состояний;

2) при соотнесении когнитивной и семантической структуры слова выясняется, что узлы семантической сети одного концепта выступают когнитивным субстратом разных ЛСВ одной и той же лексемы;

3) дуги семантических сетей представляют собой средство смысловой связи (логического и ассоциативно-образного характера) между концептами;

4) смысловые связи между узлами сложных концептов представляют собой такие известные семантические падежи, как агент, объект, реципиент и инструмент, а также выражают разного рода отношения — временные, пространственные, логические и др.;

5) концепты в рамках семантической сети имеют иерархическую структуру (ср.: Павлова А.А. 2005: 126) в соответствии со степенью обобщенности типа *сущность — существо — животное — плотоядное*.

И все же конструктивные элементы семантических сетей и когнитивной семантики — категории не тождественные. Пожалуй, они находятся в отношениях сильной корреляции. И всё же, несмотря на явные и скрытые различия, семантические сети не только удобны для «чтения и обработки» компьютером, но и достаточно рельефно представляют структуру этноязыкового сознания.

Структурирование языкового сознания в виде семантической сети напоминает попытки Фрега представить логические формулы в виде деревьев. Такие «деревья» мало напоминают современные семантические сети. В лингвистике впервые графические описания (деревоподобные структуры) применил для разработки грамматики зависимостей Л. Теньер. Созданная им модель грамматики стимулировала разработку систем машинного перевода. Такого рода семантические сети впервые были использованы Мастерманом (50-е — начало 60-х годов) для нужд машинного перевода. В его системе было представлено всего 100 наиболее употребительных концептов типа «Народ», «Вещь», «Делать», «Быть».

«Сетевидное» семантическое пространство, объективирующее эти концепты, было представлено 15 тыс. слов. Механизмом создания такой семантической сети послужили гиперо-гипонимические транспозиции смыслового содержания концептов. Иными словами, семантическое пространство, создаваемое семантическими сетями, структурируется иерархическими корреляциями (*тип — подтип — член — часть и целое*). Таким образом, система Мастермана представляет собой семантическую сеть из концептов и отношений между ними.

Простейшими моделями семантической сети, используемой в системах искусственного интеллекта, являются реляционные графы. Они состоят из узлов, соединенных дугами. Каждый узел представляет собой концепт, а каждая дуга — отношения между различными концептами. Но почему такие модели называются графами? Оказывается, все дело в терминопотреблении компьютерщиков и лингвистов.

Узлы, соединенные дугами, первые называют графами, а структуру, состоящую из целого гнезда узлов (графов), объединенных равнопорядковыми (разноуровневыми) отношениями, — сетью. Разноуровневые отношения получают разные способы изображения. Так, линейные формы представления отношений имеют большое сходство с фреймовыми структурами. Таковыми являются реляционные графы с системообразующей глагольной лексемой. Они представляют собой линейную структуру, смысловым центром которой выступает глагол, сочетающийся с группой существительного. Глагольно-именные связи здесь опираются на падежные отношения. Кроме них в естественном языке используются средства связи отдельных предложений: союзы, модальные глаголы и времена, связанный дискурс. Так, союзы *и, или, если* обозначают логическую связь; *после того, как, когда, пока, с тех пор как и потому* выражают временные отношения и причину. Модальные глаголы и времена могут выражаться как формой прошедшего времени глаголов, так и обстоятельством *сейчас, завтра* или *однажды* и др. Связанный дискурс выражает отношения более высокого порядка — это отношения между отдельными предложениями рассказа или какого-либо другого повествования. Многие из них в дискурсе выражаются имплицитно. Временные отношения и следование ар-

гументов может быть, например, имплицитно выражено порядком следования предложений друг за другом в тексте.

Итак, графы с центром в глаголе — это реляционные графы, где глагол выступает предикативным центром любого предложения. Указатели времени и отношения обычно обозначаются непосредственно с обозначением концепта, представленного глаголом. Графы с глагольным ядром довольно гибкие по своей структуре, но и они обладают рядом ограничений. В частности, они не способны разграничивать определители, относящиеся только к глаголу, и определители, относящиеся к предложению в целом. Эту функцию выполняют **препозиционные сети**, узлы которых представлены целыми предложениями и являют собой точки пересечения смысловых отношений между предложениями связанного текста. Кроме того, они определяют время и модальность всего контекста.

Все реляционные графы и графы с центром в глаголе имеют много общего, однако существуют и отличия:

1. Включение контекста или всего лишь *его* условное обозначение с отсылкой на схему.

2. Строгое гнездование: один и тот же концепт может или не может встречаться в двух разных контекстах, ни один из которых не гнездится в другом.

3. Указание связей соответствия. При перекрещивающемся контексте, т.е. когда один и тот же концепт встречается в двух разных контекстах, эти связи не указываются. Однако это всего лишь стилистические расхождения, которые не влияют существенно на логику построения смысловых отношений между концептами.

Из сказанного можно предположить, что структурным принципом организации семантических сетей являются *иерархические связи* между когнитивными образованиями. Термин «иерархия» обычно обозначает частичное упорядочение, где одни типы являются более общими, чем другие. В лингвокогнитологических исследованиях уже выявлялись иерархические отношения между сущностями, событиями и состояниями. Ср.: иерархию сущностей (*такса < собака < плотоядное < животное < живое существо < физический объект < сущность*); событий (*жертвовать < давать < действие < событие*); состояний (*экстаз < счастье < эмоциональное состояние < состояние*).

Символ < между родовым и видовым символом читается как «X-тип / подтип Y». При иерархических отношениях упорядочение является частичным, потому что многие типы просто не подлежат сравнению. Частичное упорядочение отражают следующие виды графов: 1) **ациклический граф** (вместо циклов у него имеются ветви, которые, расходясь и затем сближаясь, образуют несколько узлов-родителей); 2) **деревья** — одновершинный граф, вершина которого представляет собой один общий тип, и каждый другой тип X имеет лишь одного родителя Y; 3) **решетка** — узлы восходят к разным узлам-родителям, но и здесь есть свои ограничения: любая пара типов X и Y как минимум должна иметь общий гипертип «X и Y» и подтип «X или Y».

По сравнению с деревом решетка имеет две вершины: (а), которая является гипертипом всех категорий и (б), которая является подтипом всех типов.

Основным свойством иерархии является возможность *наследования* подтипами качеств гипертипов. Так, всеми свойствами *животного* обладают и *млекопитающие*, и *рыбы*, и *птицы*. В основе теории наследования лежит теория силлогизмов Аристотеля. Согласно этой теории, если А — свойство В, а В — характеристика С, то А — признаковое свойство всех С.

Значение и знак. Характер их соотношения во многом зависит от того, как понимается сущность самого языкового знака. При его унилатеральном истолковании, когда под знаком понимается исключительно звуковая (или оптико-графическая) оболочка знака, все структуры сознания, в том числе и языковое значение, находятся вне знака. Знак лишь соотносится с ними устойчивыми смысловыми связями. И как результат этого само значение, хотя и соотносимое с языковым знаком, находится вне его структуры и рассматривается в качестве языкового коррелята общественного сознания. Его формальным репрезентантом в таком случае служит знак в целом.

Согласно билатеральной концепции языковой знак — единство означаемого и означающего. В таком случае значение — неотъемлемая часть языкового знака и в этом смысле является содержательной «упаковкой» народного сознания, что, собственно, служит основанием для утверждения диалектического единства языка и сознания

(в отличие от некоторой автономности и относительной самостоятельности языка и мышления). Что же касается соотношения знака и языкового сознания, то они детерминированы онтологически. Формой существования языкового сознания выступает языковой знак в целом, в единстве своего означающего и означаемого.

Сосуществование двух семиологических концепций заставляет еще раз вернуться к обсуждению сущности взаимоотношения языкового значения и языкового знака (слова). Исходя из унитарной теории, В.В. Колесов, например, считает, что *знак с его значением* есть *слово*, а *значение* — не что иное, как *материализованное в знаке содержание нашего сознания* (см.: Колесов В.В., 2002: 20). При таком подходе знак и слово находятся в отношении «часть — целое», а значение оказывается вне знака. С позиций билатеральной концепции само слово есть языковой знак в двуединстве его формы и содержания, означающего и означаемого. Языковое значение в такой семиотической парадигме, будучи конститутивной частью знака (слова), является языковым феноменом, что не исключает, однако, его когнитивно-генетической связи с внеязыковой действительностью. Формой выражения данной связи выступает *концепт* как особая когнитивно-семасиологическая категория (разумеется, как когнитивный, а не логический феномен).

Значение, смысл и концепт. Кажется, уже никем не оспаривается тезис о том, что языковой знак является носителем не только значения, но и смысла. Разделяя точку зрения Н.Н. Болдырева, мы все же не ставим знака равенства между концептом и смыслом. Кстати, и другие ученые нередко соответствующие термины (*концепт* и *смысл*) употребляют как абсолютные синонимы.

В этой связи возникает необходимость соотнести понятия «концепт», «смысл» и «значение». Опосредствующим звеном в данной триаде служит понятие смысла. Для многих исследователей оно синонимично не только концепту, но и значению. На наш взгляд, отношение смысла к каждому члену рассматриваемой триады имеет свою специфику как в когнитивно-семасиологическом, так и в функционально-семантическом плане. В наиболее обобщенной формулировке *смысл* — это *осмысленный предмет*. Иными словами, *смысл* в нашем сознании «выплачивается» из предметного значения слова (его денотата), из того, что значит для нас предмет, названный

данным словом, из того, какое место по своим качественным измерениям он занимает в сложившейся системе целостностей. Рождение смысла начинается с концепта, в свернутом виде содержащего качественно-оценочную сущность обозначаемого предмета.

Таким образом, смысл, на наш взгляд, выступает не «двойником» концепта, а его логическим коррелятом. Его роль в познании несколько иная. Осмысление предмета номинации (порождение смысла) представляет собой развертывание (развитие) экспликацию сфокусированных в концепте качественных признаков предмета. Развертывание качественных признаков предмета есть их движение («приращение смысла», по Б.А. Ларину) от своего концепта-источка через образное представление, понятие и суждение к значению слова, а от него, побывав в креативном горниле дискурсивного мышления, — снова возвращается к концепту в качестве его смыслового содержания. Особая роль в этом процессе принадлежит обобщенному представлению, или обыденному понятию — живому, не погашенному непротиворечивостью суждений строгой логики. Скрытые в нем противоречия под воздействием дискурсивного мышления готовы стать источником порождения новых знаний.

Такое «понятие, как результат, в своей концептивной форме только потому и определяется свободно от противоречий, что оно момент, покой, но противоречие в нем есть, заключено в нем имплицитно, как его потенциальная энергия» (Шпет Г.Г., 1994: 151—152). В интерпретации В.П. Зинченко, покой — это накопленная энергия, *момент перехода к новому движению*. Речь здесь идет об обыденном, «живом понятии» как одной из стадий формирования концепта и поэтому, находясь в движении, оно способно «охватить возникновение, развитие и вершину становления каждого предмета» (Вайнштейн О.Б., 1994: 35). «Живое» потому, что «в нем слиты значение и укорененный в бытии личностный, аффективно окрашенный смысл», «который полностью невыразим в значениях». Для адекватного понимания данного суждения важно уяснить, о слиянии какого значения и какого смысла говорит ученый. Сомнений нет, что Г.Г. Шпет имеет в виду не лингвистическое, а психологическое их толкование: «предметное значение» и «внеязыковой смысл». Смысл, по Г.Г. Шпету, выражает укорененность индивидуального познания в личностном бытии человека (см.: Зинченко В.П., 1998:

70), а слово подключает личностное сознание к сознанию общественному, культуре. Следует подчеркнуть, что такого рода подключение осуществляется нашим разумом лишь при помощи слова, тоже «живого».

Только живое слово способно через речемыслительную деятельность реализовать «живое понятие», или видение познаваемого объекта изнутри, то, что ранее называли «разумением духа народа». Отсюда органическая связь вербализуемого концепта с культурой — культом рождения, преображения, возрождения и разумения духа, заключенного в живом слове. Слово на этом этапе объективации концепта выступает архетипом культуры, поскольку его обозначаемое представляет первичное ценностно-смысловое восприятие познаваемого предмета. Видимо, поэтому в трудах Г.Г. Шпета оно называется «слово-понятие». Обобщая, В.П. Зинченко развивает мысль Г.Г. Шпета: если слово — это архетип культуры, то понимаемое живое слово (слово-понятие) — это одновременно *генотип* — совокупность всех наследственных признаков исходного концепта и *фенотип* — совокупность всех признаков и свойств, сформировавшихся в процессе вербализации конкретного живого знания (ср.: Зинченко В.П., 1998: 72).

Объективированное в слове живое понятие содержит в себе когнитивный, исполнительный и оценочный компоненты, те креативные конструкты, из которых затем формируется целостное, хотя и многоярусное смысловое содержание культурного концепта.

В итоге живое слово выступает способом конденсации смысловой энергии концепта. Сфокусировав в себя энергию, слово становится той молнией, «которая раздирает небо от востока до запада, являя воплощенный смысл: в слове уравниваются и приходят к единству накопившиеся энергии» (Флоренский П.А., 1990: 292). Такого рода гармония предметно-чувственного и логического в смысловом содержании слова достигается благодаря его способности не только «ваять» образ, но и формировать понятие, проникая в сущность отражаемых и познаваемых предметов. Своей внешней формой, акустическим образом слово вызывает в сознании человека наглядно-чувственный образ референта. Следовательно, слово хотя и является элементом второй сигнальной системы, не прерывает с «первосигнальными», чувственными формами мышления.

Конденсация внутреннего смыслового содержания (означаемого словесного знака) формирует понятие, а в своем асимметричном дуализме они представляют нашему сознанию концепт как когнитивную категорию, органически совмещающую в себе предметно-чувственное и обыденно-понятийное. Именно способность слова в зависимости от условий и задач общения обозначать как чувственный образ, так и понятие позволяет ему быть универсальным средством в речемыслительной деятельности человека, поскольку выражение конкретного и отвлеченного в речи не остаются автономными. Они — два крыла в синергетическом полете мысли.

Слово, таким образом, в отличие от единиц других (не естественноречевых) знаковых систем, не просто замещает или обозначает: «слово, — писал О. Мандельштам, — плоть деятельная, разрешающаяся в событие» (Мандельштам О., 1990: 170). Его рождение связано с анализом и обобщением свойств, качеств и признаков обозначаемого предмета, а затем и с их упаковкой в ту или иную когнитивную форму (концепт, гештальт или фрейм). В ходе такой аналитико-синтезирующей деятельности выделяется наиболее значимый для данного дискурса признак, вокруг которого в результате приращения смыслов и формируется лексическое значение. Вначале оформляется универсальный (предметно-изобразительный) предметный код (УПК) и предметный остов смысловой структуры слова, затем возникает его внутренняя форма.

УПК — схема-посредник между словом и предметом знакообозначения, предметный остов амодального (беспристрастного) образа уже осуществившегося или будущего предметного действия, стержневой элемент мысли. В процессе дискурсивной деятельности УПК и предметный остов превращаются в «живую» внутреннюю форму слова, из которых «произрастает» сигнификативное (понятийное) ядро значения. Следовательно, в движении (развертывании, развитии) смысла формируются базовые компоненты семантической структуры слова: УПК — схема, локализуемая во внутренней речи, предметный остов включает в себя амодальный образ действия, моторную программу, виртуальную реальность.

Через слово предметному остову сообщается определенный дискурсивный смысл. Внутренняя форма, включив в себя УПК и предметный остов, наполняет их дискурсивной энергией и субъек-

тивной страстью познания, придавая тем самым «живое» движение вербализуемому смыслу. УПК и предметный остов в какой-то степени выполняют роль земного (предметного) притяжения, того якоря, который крепит слово к его денотату и без которого мысль превращается в неуловимую жар-птицу. Вместе с тем они служат трамплином для дальнейшего полета мысли (развертывания смысла). Познав в процессе словопорождения суть номинируемого предмета, сознанию необходимо соотнести языковое значение с соответствующим предметным значением, т.е. именно предикаты формируют и разграничивают сигнификативные значения (Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов). Используя метафору трамплина, Г.Г. Шпет пишет: «Оттолкнувшись от трамплина, мысль должна не только преодолеть вещественное сопротивление, но им же и пользоваться как поддерживающей средой» (Шпет Г.Г., 1994: 397). Это трамплин наших сопереживаний, в которых рождаются различные словесные коннотации. Это подтверждается также исследованием В.И. Шаховским межкультурных фразеологических параллелей: «... при универсальности их денотативного значения различны образные внутренние формы, которые вызывают в эмоциональном сознании говорящих на разных языках различные смыслы как основу их различных эстетических, экспрессивно-оценочных переживаний» (Шаховский В.И., 2002: 43; Kovescses Z., 1990).

Без рожденных в сопереживаниях коннотаций нет дискурсивной жизни слова (о смыслопорождающих свойствах дискурса см.: Алефиренко Н.Ф., 2005а: С. 6–14). Итак, знание, кодируемое в слове, формируется из опыта, или, как утверждал Г.Г. Шпет, из переживаний. По образному определению П.А. Флоренского, слово есть орудие души: «искра души или, иначе говоря, символ», сам говорящий принцип и архетип культуры (Флоренский П.А., 1990: 225).

Слово в конечном итоге, развертывая смысл и освобождаясь от оков предметного значения, превращается в средство объективации художественного концепта, становится фактом культуры. Это тонко чувствуют художники слова. О. Мандельштам, например, предупреждал: «Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материальности. ... Слово — Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещьность, милое тело. И вокруг вещи

блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела» (Мандельштам О., 1990: 171).

Предметная значимость (= предметный остов, по Г.Г. Шпету), развертывание и дискурсивное приращение смысла в слове разрывают рамки объема обыденного понятия, формируя многоярусное содержание концепта (образность, оценочность, понятийность). Следовательно, смысл не обязательно вневербальное образование, он интериоризирован в слово, и в этом отношении объективен и динамичен. Смысл слова шире концепта, поскольку подпитывается и предметно-чувственной образностью, и оценочностью, понятийным и дискурсивным содержанием. Этим, собственно, и объясняется, почему слово не тождественно концепту.

Рождение и функционирование слова не сводится лишь к концептуализации смыслов, поскольку концептуализация приводит к схематизации смысла, показывает русло, но не само течение смысла по этому руслу (ср.: Шпет Г.Г., 1989: 398). На самом же деле в значении слова благодаря креативности его внутренней формы содержится целый комплекс смысловых компонентов — денотативных, сигнификативных и коннотативных; актуальных и потенциальных; реальных и виртуальных; эксплицитных и имплицитных. Это еще раз подтверждает справедливость высказывания Л.С. Выготского: «... Форма меньше всего напоминает оболочку, как бы кожуру, в которую облечен плод». Она — «активное начало переработки и преодоления материала в его самых элементарных и косных свойствах» (Выготский Л.С., 1982: 140). Приведенные аргументы убеждают, что слово — важнейший механизм взаимосвязи чувственного и рационального познания.

Более тесной когнитивно-семиологической связью характеризуются «концепт» и «смысл»: второе раскрывает оценочно-образную сущность первого. Это справедливо уже потому, что смысл и генетически, и функционально связан с пониманием и оценкой познаваемого объекта. Дело в том, что смысл, как правило, субъективен, поскольку его всегда кто-то открывает, находит, распознает, интерпретирует. Смысл порождается воспринимающим сознанием и его носителями (конкретными коммуникантами) в тех или иных дискурсивных условиях и в соответствии с тем или иным речевым жанром. Этим, кстати, отношение «концепт — смысл» отличается от

отношения «концепт — понятие», поскольку понятие образует наиболее устойчивый и стабильный пласт (содержательное ядро) концепта, представляющего собой обобщенное и абстрагированное знание, общее для всего этноязыкового коллектива. Смысл же, образуя периферию содержания концепта, всегда субъективно вариативен.

С этой точки зрения еще более существенными различиями характеризуются «смысл» и «значение» (в равной степени как «смысловое содержание» и «значение»). В контексте современной когнитивной семантики они требуют дифференциации не только по своим внешним характеристикам, но и по имплицитным свойствам.

Пожалуй, наиболее лаконичным и поэтому, может быть, несколько категорическим для современной семасиологии воспринимается заключение В.А. Звегинцева: значение — *внутри* языка, смысл — *вне* языка. Однако столь вдумчивый исследователь-аналитик не мог не видеть, что рассматриваемые категории не являются абсолютно независимыми друг от друга. По его мнению, смысл возможен постольку, поскольку существуют значения, которые тем самым подчиняют мысль определенным ограничениям (видимо, это и имеется в виду, когда говорят о том, что язык формирует мысль). Как хорошо подметил В.Н. Манакин, «лексическое значение слов и их компонентов ...можно рассматривать как опорные модели для формирования смыслового содержания слов, которое будет всегда различным у разных людей, групп людей и языковых социумов» (Манакин В.Н., 2004: 221). Суждения подобного рода лишь утверждают в мысли о том, что, с одной стороны, *значения существуют не сами по себе, а ради смысла*, а с другой — они сами подвергаются дальнейшему развитию, видоизменению, переосмыслению и даже преобразованию через посредство смысла ввиду их способности преобразовываться в смысл в составе предложения (ср.: Звегинцев В.А., 2001: 173).

Разделяя такое («вербалистическое») понимание соотношения значения и смысла, отметим, что идеи современной когнитивной семасиологии позволяют говорить и о так называемых довербальных смыслах, тоже генерирующих содержание концепта. Довербальные смыслы, или осмысленные кванты знания, — источники формирования семной структуры означаемого языкового знака, поскольку, согласимся, «все, что мы знаем о данном объекте, влияет на значение

лексической единицы, служащей его обозначению» (Langacker 1997: 591). Из такого понимания соотношения значения и смысла следует, что обе категории играют важную роль в формировании семантики языкового знака. И в этом плане можно понять А. Вежбицкую, определяющую **концепт** как «**смысл языковой единицы**» (1999: 434). Однако автор оставляет открытым вопрос о том, как эти две категории коррелируют со значением языкового знака. В этом вопросе пытается разобраться Ролан Барт. Выделив три элемента семиологической системы (концепт, смысл и значение), ученый приходит к выводу, что значение слова формируется соединением смысла с концептом. Из всех трех элементов семиологической системы субъекта-ми речевого общения воспринимается только значение.

Однако наиболее гибким и лабильным в триаде «концепт — смысл — значение» является смысл, поскольку смысловое содержание знака в силу его динамичности не поддается кодификации, в том числе и лингвистической, потому что источником смыслового содержания слова служат субъектно-объектные отношения.

Полагая, что суть смысла определяют именно мыслительные аспекты субъектно-объектных отношений, В.В. Колесов пишет: «Смысл есть реализованный в содержательных формах слова концепт, данный в его отношении к предмету» (Колесов В.В., 2002: 137). Смысловое содержание знака — всегда результат творческого мыслительного усилия, так как формируется в неповторяющихся ситуациях, воплощая в себе соотнесение данной ситуации (или образующих ее вещей) с внутренней моделью мира, хранящейся в сознании человека (В.А. Звегинцев). Кроме того, смысл отличается от значения своей целостностью и генетическими связями с ценностно-оценочными переживаниями, формирующими личностное отношение коммуникантов к истине, красоте, нравственности и морали. При этом «переживание» трактуется не как пассивное отражение предметного мира, не как переживание-созерцание, а как переживание-деятельность, направленное на поддержание и повышение осмысленности внешнего или внутреннего мира (Василюк, 1984: 19).

Языковая семантика, таким образом, — продукт лингвокреативной деятельности, основанной на синергетическом взаимодействии мышления, сознания, языка и речи. В этом, собственно, и заключается главное предназначение лингвокреативного мышления: с одной

стороны, оно отражает окружающую человека действительность, а с другой — самым тесным образом связано с наличными ресурсами языка (Б.А. Серебренников). Благодаря этому языковая семантика формируется в процессе порождения самого языкового знака и в результате представляет собой единство его значения и смыслового (довербального и речевого) содержания. Довербальные смыслы, значение и речевые смыслы языкового знака в языковом сознании человека образуют сложное психосемиологическое пространство, которое может быть представлено в виде некоторой семантической сети, моделирующей различные по своим внутризнаковым и межзнаковым конфигурациям типы знаний.

Значение и семантическая сеть. Сетевой принцип присущ организации когнитивно-дискурсивного содержания как в системе языка, так и в тексте, рассматриваемом в комплексе взаимосвязанных и взаимодействующих языковых, внеязыковых и интеллектуальных факторов. В системе языка сетевой принцип лежит в основе организации словарного состава языка в целом и лексикона отдельной языковой личности. Ю.Н. Караулов относит лексикон к ассоциативно-семантическому уровню структуры языковой личности. В его концепции данный уровень представляет «ассоциативно-семантическую сеть с включенной в нее и в значительной мере лексикализованной грамматикой» (Караулов 1987: 87). Такое толкование сетевой организации лексикона оказывается особо перспективным при когнитивно-семиологическом анализе функционирующего в дискурсе слова. Дело в том, что слово в дискурсе «живет» не столько как языковой знак, кодирующий ту или иную информацию, сколько как «номинативная единица лексикона: компонент общей структуры памяти, связанный через свое лексическое значение с другими компонентами того же уровня ассоциативными связями и образующий семантическую сеть индивидуального лексикона» (Яценко Е. Ю., 1999: 109). Как оперативный элемент долговременной памяти слово через свое лексическое значение находится в системно-ассоциативной связи с другими элементами того же уровня, образуя семантическую сеть индивидуального лексикона.

В психолингвистике под индивидуальным лексиконом понимается невербализованная часть внутреннего лексикона человека в общей структуре его долговременной памяти.

Семантическая сеть каждого языка плетется посредством этнокультурной системы значений, свойственной этому языку. Такой системно-синергетический принцип ассоциативно-смысловой организации семантической сети обеспечивает ее доступность каждому носителю языка, несмотря на различия в их языковых компетенциях и в фоновых знаниях. Данная организация семантической сети предопределяет своеобразие предмета когнитивно-семиологического исследования. Для первой части когнитивной семиологии основополагающим является весьма емкое положение, сформулированное Н.Д. Арутюновой: «Теория значения, — пишет автор, — занята выяснением того, как язык структурирует и систематизирует внесловесную данность, какие типы признаков (параметры объектов) в ней выделяет, какими средствами описания физического и духовного мира (материального и идеального) обладает и как его оценивает. В системе значений закреплены все те понятия, которые сложились у каждого народа в результате его познавательной, трудовой, социальной и духовной активности» (Арутюнова 1999: 10—11). Ассоциативно-смысловая структура семантической сети не только не противоречит, но и непосредственно проецирует необходимость второй части нашего подхода — семиологического анализа слова в дискурсе. Наоборот, когнитивно-семиологическая теория слова ориентирована на осмысление взаимосвязей системной и дискурсивной семантики культурно мотивированных номинаций.

Эта теория исходит из положения о том, что система значений конкретного языка благодаря своей ассоциативной организации а) способствует адекватному пониманию и интерпретации концептуальной информации, передаваемой с помощью текста и б) обеспечивает стабильность языковой системы в целом. В процессе выбора слова для построения вербальной формы текста активируется система значений языка, которая, в свою очередь, активирует лежащую в ее основе концептуальную сеть соответствующей культуры. В результате происходит ассоциирование фрагментов языковой и внесловесной информации с конкретными лексическими единицами. А.М. Шахнарович выделяет в процессе вербализации поэтапное содержание следующие этапы: «...между фрагментом действительности и отражающим его высказыванием лежит процесс структурирования действительности с особой целью — обозначить

выделенные элементы ситуации при помощи языковых средств. Именно этот процесс и находится в основе овладения семантикой, формирования семантических структур. По всей видимости, этот процесс характерен и для порождения речевого высказывания» (Шахнарович А.М., 1990:51).

На этапе вербализации, которую Б.Ю. Городецкий определяет как «переход от коммуникативной потребности к тексту» (Городецкий Б.Ю., 1989: 27), часть неязыковой информации ассоциируется с языковой в рамках соответствующего фрейма. Надо полагать, что механизмы, описанные А.М. Шахнаровичем и Б.Ю. Городецким, универсальны, т.е. присущи всем видам коммуникации: моноэтнотранскультурной, моноэтноязыковой и межкультурной. Чего нельзя сказать о механизме семиологической интерпретации смыслового содержания слова, реализуемого в условиях разных дискурсов, потому что дискурс — категория лингвокультурологическая.

Семиологический анализ слова показывает, что разные «дискурсные идеологии» порождают различные аксиологические коннотации, в результате чего в семантике слова развиваются специфические культурно мотивированные семы. Причем в процессе такой культурно мотивированной номинации из общекультурного фонда соответствующий объект действительности выделяется классифицирующей деятельностью этноязыкового сознания не отдельного субъекта речи, а всем этнокультурным коллективом в ходе его исторического развития. В итоге семантическая система таких знакообозначений, несмотря на известную вариативность, в пределах одного и того же лексикона характеризуется инвариантной структурой.

Рассмотрим в качестве культурно мотивированной номинации такое «яркое» для русского лексикона слово, как *хлеб* и его производные ассоциативно-образного характера (*хлеб всему голова, хлеб-соль, хлебом не корми, перейти на свой хлеб* и т.п.).

Концепт «Хлеб» в русской лингвокультуре соотносится с мифологизированным фрагментом действительности. В основе мифа, как известно, лежит архетип — устойчивый образ, постоянно актуализированный в сознании каждого члена данного языкового сообщества и имеющий этнокультурную ценность. Пожалуй, наи-

более мифологизированной лексемой в нашей этнокультуре является слово *хлеб*. Что же дает мифологизация для когнитивно-семиологического осмысления этого слова? Видимо, в поисках ответа на этот вопрос следует разобраться в мифологизации как явлении этнокультуры. Согласно теории В.Н. Топорова, сущность мифологизации заключается в «создании наиболее семантически богатых, энергетичных и имеющих силу примера образов действительности» (Топоров В.Н., 1995: 5).

Словарная дефиниция слова *хлеб*, его семантика в типовом лексиконе русского языка полностью совпадает с соответствующим описанием данного концепта в энциклопедии: «продукт питания, выпекаемый из муки». При этом сравнение словарной дефиниции с описанием концепта «Хлеб», составляющего экстралингвистический мотив данной номинации, показывает, что в семантической структуре слова *хлеб* отсутствует смысловой признак оценочности, тогда как оценочность составляет неотъемлемую часть концепта «Хлеб» — важнейшей составляющей русской культуры. В содержание концепта «Хлеб» входит достаточно широкий спектр оценочных смыслов: «жизненная необходимость», «важнейшее средство существования», «источник жизненной энергии» и т.п.

Ассоциативное поле, сформированное в смысловом пространстве русской культуры или на ее фоне, почти незаметно восполняют дискурсивные смыслы, сконцентрированные между семантической структурой слова *хлеб* и смысловым наполнением одноименного концепта. Особенно явно эти смыслы эксплицируются в тех вторичных и косвенно-производных номинациях, в компонентный состав которых входит данная лексема. Ср. такие, например, вторичные номинации, как *хлебы* — «печеный хлеб в той или иной форме (каравай, буханка, коврига и т.п.)», *хлеба* — «злаковое растение, из зерен которого готовится мука», *хлеб* — «заработок». Косвенно-производные номинации имеют ярко выраженный дискурсивный смысл. Так, идиома *хлеб насущный*, восходящая к пословице, образованной на основе молитвы, приводимой в Новом завете, — из учения Иисуса о молитве «Хлеб наш насущный даждь нам днесь» (Хлеб наш насущный дай нам на сей день; Мф., 6, 11) означает «необходимые средства для жизни, для существования, нечто существенное, исключительно важное, жизненно необходимое»; *на хлебах* у

кого — устар. 'получая за плату жилье и стол в чужой семье', *хлебом не корми* кого — 'ничего не надо кому-либо (только бы иметь возможность получить, осуществить желаемое). Выражение сильного пристрастия, желания, устремления и т.п.'; *сидеть на хлебе и <на> воде* — 'жить впроголодь', *садиться на хлеб и воду* — 'лишить себя самого необходимого в еде; ограничивать себя в самом необходимом', *сажать на хлеб и воду* кого — 'наказывать голодом, лишением пищи, ограничением в пище', *перебиваться с хлеба на квас* — 'жить очень бедно, терпеть нужду, лишения', *отбивать (перебивать) хлеб* у кого — 'лишать кого-либо заработка или возможности заработка, берясь за эту же работу, дело, занятие и т.п.', *хлеб да соль* — 'приятного, хорошего аппетита, пожелание тому, кого застали за едой', *хлеб-соль* — '1) угощение, 2) заботы, попечение', *водить хлеб-соль* с кем — прост. 'находиться в приятельских, дружеских отношениях', *хлеб-соль ешь, а правду режь* — 'говори правду, ни на что не взирая'; *даром хлеб есть* — 'жить напрасно, не принося никакой пользы', *забывать хлеб-соль* чью, какую — 'проявлять неблагодарность по отношению к тому, кто оказывал гостеприимство и расположение'; *хлеба не просит* — 'что-либо не беспокоит и поэтому не стоит его лишаться', *хлебное ремесло* (ср.: *И воровство ремесло (да не хлебное)*) — 'полезное и благородное занятие'. Наиболее значительными являются дискурсивные преобразования слова в составе пословиц. Ср.: устар. *Свой хлеб приедается*; *Чья земля, того и хлеб*; *Чья земля, того и городьба*.

Особенно значимы смысловые дискурсивные компенсации, когда вместо утраченных системных значений получают номинации, культурно мотивированные тем или иным дискурсивным содержанием книжного или публицистического характера. Ср.: *Хлеба и зрелищ!* (книжн. или публ.) — выражение из 7-й сатиры Ювенала (букв. *Panem et circenses* — «Хлеба и цирковых игр»), ставшее при императоре Августе кличем черни, жаждавшей лишь нищи и развлечений. В современном общении употребляется в дискурсе, требующем обозначения потребностей невежественных, недалеких людей, жаждущих лишь пропитания и низкопробных радостей. Еще более глубокого дискурсивно-семиотического анализа требуют устойчивые выражения, косвенно связанные с изначальным дискурсом. Таковым является фразеологизм *хлеба и масла вместо пушек!* — ло-

зунг европейских пацифистов, антонимически отталкивающийся от милитаристского лозунга гитлеровской Германии *пушки вместо масла* (см.: Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулержкова С.Г., 2000: 525).

Итак, когнитивно-семиологический анализ показывает, что культурно мотивированная номинация *хлеб* выполняет несколько важных функций: а) выражает в лексиконе русского языка этнически уникальное значение; б) своей внешней формой ограничивает соответствующий ему смысл в дискурсе; в) соотносит каждое свое дискурсивное значение с уже существующей семиотической системой русской культуры.

Данный когнитивно-прагматический эффект достигается также при помощи сетевидной структуры этноязыкового сознания. Точнее, благодаря исторически сложившимся и социально одобренным в этой культуре ассоциативным связям концепта «Хлеб» и тем индивидуальным ассоциациям, которые создают образно-смысловое поле того или иного человека как члена данного этнокультурного сообщества.

Поскольку культурно мотивированная номинация опосредована соответствующей дискурсивной аурой, дискурсивное исследование позволяет проникнуть в когнитивную структуру данной номинации. Основным способом такого проникновения служит когнитивно-семиологический анализ всех тех языковых средств, которые объективируют данную когнитивную структуру в тексте. Своеобразие лексического значения лексемы *хлеб* в рамках нормативного лексикона проецирует тот уникальный для русской культуры смысловой спектр, который разворачивается именно в дискурсе благодаря актуализации потенциальных сем системного значения слова. По сравнению с ним употребление слова в художественном дискурсе провоцирует появление в его семантике дополнительного смыслового содержания.

При когнитивно-семиологическом подходе основным предметом лингвистических исследований становятся не отдельные лексемы с их системными значениями, а те отношения, которые выстраивают иерархию культурно мотивированных номинаций в целостной структуре соответствующего дискурса. Факторами, определяющими статус культурно мотивированных номинаций в иерархии дис-

курсивных единиц, служат мотивы и установки субъектов речевого общения, оценка ими экстралингвистических условий коммуникации (познаваемой действительности, presupпозиций, принятых в нашей культуре способов мифологизации отдельных объектов в рамках познаваемой действительности). Благодаря этим факторам кодируемые в дискурсе объекты обретают статус инвариантных культурно мотивированных номинаций.

Итак, семантическая сеть — структура для представления знаний в виде узлов, соединенных дугами. Хотя само понятие семантических сетей появилось в науке в связи с разработкой систем машинного перевода, их современные версии принципиально сходны по своим характеристикам с естественным языком. Исходя из постулатов когнитивной семантики, семантические сети представляют достаточно мощные и гибкие когнитивные структуры, находящиеся в корреляции с такими логическими системами, как фреймовые структуры. Поэтому они используются в логическом программировании и машинном переводе. Следует различать два типа семантических сетей — когнитивно-семантическую и вербально-семантическую.

Когнитивно-семантическая сеть характеризуется следующими признаками и свойствами: 1) ее узлы представляют собой концепты предметов, событий, состояний; 2) различные узлы одного концепта относятся к различным значениям; 3) дуги семантических сетей показывают отношения между узлами-концептами; 4) отношения между концептами представляют собой такие лингвистические падежи, как агент, объект, реципиент и инструмент (другие означают временные, пространственные, логические отношения и отношения между отдельными предложениями); 5) в когнитивно-семантической сети концепты представлены по полемому (ядерно-периферийному) принципу (например: сущность → предмет → мебель → стул).

Языковым аналогом когнитивно-семантической сети служит открытая Ю.Н. Карауловым (1987: 171) *вербально-семантическая сеть*. Она представляет собой открытую ассоциативно-образную структуру, состоящую из миллионов «узлов» (отдельных блоков значений, смыслов и их оттенков). Такое устройство языкового сознания позволяет человеческому мозгу методом перебора «узлов»

мгновенно извлекать нужную информацию для соответствующего речемыслительного акта и перевода значения в концепт и речевой смысл.

Значение — концепт — понятие. Исходным пунктом в определении когнитивно-семасиологического содержания значения является уяснение онтологической сущности базовых когнитивных категорий — концепта и понятия. В когнитологии эти категории одними учеными отождествляются, другими — разграничиваются. В первом случае содержание понятия «концепт» объясняется путем отсылки к словарной статье «Понятие» (Кондаков 1976: 263, 456—460). Во втором делается попытка доказать двойственность соотношения рассматриваемых категорий: с одной стороны, «концепт» и «понятие» различаются, а с другой — концепт отождествляется со смыслом имени, под которым понимается способ именования объекта и содержащаяся в имени информация о предмете номинации (см.: Гетманова А.Д., 1995:21).

Думаю, словарное отождествление концепта и понятия — лишь дань терминологической традиции, вносящей, тем не менее, сбой в понимание сущности концепта. Чтобы согласиться или усомниться в таком отождествлении, необходимо обратиться к классическому определению понятия и проанализировать, все ли его признаки применимы к концепту, и наоборот.

Итак, понятие, прежде всего, — набор необходимых и достаточных *существенных* признаков, отвечающих требованиям истинности и лишенных *какого бы то ни было эмоционально-оценочного содержания* за счет его высокого абстрагирования от нашего предметно-чувственного опыта.

Увы! Трудоемких исследований проводить не придется. Скажем сразу: ни одним из названных признаков концепт не обладает. В авторитетнейшем сегодня лингвокультурологическом словаре Ю.С. Степанова (1997: 40—41) дается иной набор категориальных признаков концепта. Это — «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, сопровождающих слово. Из этого вытекает, что и строение концепта более многосложно, чем структура понятия. Концепт включает в себя и то, что принадлежит строению понятия, и то, что делает его фактом культуры (Там же). Так обстоит дело, если концепт сравнивать с понятием в его, повторим,

классическом определении. Современная философия стремится к расширительному толкованию понятия, что, как несложно предположить, сближает его с концептом. Вот что пишет Е.К. Войшвилло: «оперирование понятиями в той или иной мере связано с представлениями. Расчленяя в понятии предметы и явления на признаки, мы связываем в свою очередь обычно сами эти признаки с некоторыми представлениями. И даже имея дело с сугубо абстрактными предметами, человек стремится ввести в свои рассуждения элементы наглядности, конструируя для этой цели некоторые представления — наглядные модели абстрактных объектов» (Войшвилло, 1989: 99). Ученый, как видим, интерпретирует понятие как ячейку речемыслительного процесса. В одних случаях, по его мнению, связь слов с предметами может осуществляться посредством более или менее четких представлений (*чувственных интуиций*), в других — подключается *интеллектуальная интуиция*, возникающая в процессе усвоения языка.

Вместе с тем возникает необходимость пересмотреть и само понимание «существенного признака». Ученый, по сути, разделяет «существенный признак» на два субпризнака. С онтологической точки зрения выделяется существенный признак предмета познания как объективной реальности. С гносеологической точки зрения существенным признаком предмета может выступать то качество, которое представляет его в отношении с другими предметами. Это уже подход с позиции прагматики, т.е. с точки зрения определенного использования предмета человеком (См.: Бахтин, 1996: 128).

Второй подход особенно близок и понятен психолингвистам (А.Р. Лурия, А.А. Залевская, А.Н. Портнов и др.). Как показывают их исследования, для носителей тех или иных лингвокультур наиболее важными могут оказаться не категориальные признаки, схваченные классическим определением, а характерные признаки предметов и явлений. Иными словами, в процессе лингвокогнитивной деятельности более значимыми для человека (субъекта познания) могут оказаться не «сильные», а «слабые» признаки. Они-то и станут для него в процессе эвристического поиска *существенными*. На первый взгляд, второй подход позволяет действительно поставить знак равенства между понятием и концептом. Однако при более глубоком проникновении в суть дела можно заметить, что и в этом

случае речь идет о формах мышления, хотя и в процессуально-гносеологическом плане.

При столь широком толковании понятия, оно, в отличие от концепта, все же остается репрезентантом не смысла имени, а формой мышления, фокусирующей существенные признаки однородных предметов. Однако языковыми средствами выражения понятия называются все те же номинативные единицы — слова и словосочетания (Гетманова Г.Д., 1995: 18). При таком понимании не только предмет с понятием, но и значение имени (номинативной единицы языка) с концептом практически отождествляются. Концепт, как вытекает из подобных суждений, является способом, каким имя обозначает понятие и предмет. В когнитивной лингвистике такое понимание соотношения содержания когнитивных категорий и значения языковых единиц, их именующих, требует дополнительных исследований (Худяков А.А., 2001: 32—37). «Концепт» и «понятие» здесь, как правило, различаются, хотя и не всегда однозначно и последовательно: «концепт» шире «понятия» (ЛЭС, 1990; Болдырев Н.Н., 1999: 16); «понятие» шире «концепта» (КСКТ, 1996: 92).

Выявленные разночтения служат некоторым исследователям основанием для вывода: собственно языковых знаний, опирающихся на обыденное сознание, для разграничения «понятия» и «концепта» не существует (Худяков А.А., 2001: 32—37). Другим авторам кажется более правомерным лишь разграничение сфер употребления соответствующих терминов. И все же проблема соотношения этих категорий остается в центре внимания большинства исследователей, хотя сами критерии такого разграничения всё еще остаются весьма иллюзорными.

Так, по определению Ю.А. Корнеевой, «концепт — это существующий в сознании отдельного человека и сформированный на основе аналитико-синтетической деятельности мозга мысленный образ материального или идеального объекта (предмета, явления, процесса, их свойств и признаков), неразрывно связанного в сознании с соответствующим языковым знаком (словом или словосочетанием, эквивалентным слову)». Однако сам автор понимает, что данное им определение нуждается в дополнительных дифференциальных признаках, так как «оказывается применимым как к термину *концепт*, так и к термину *понятие*» (Корнеева Ю.А., 2003:

251). Вместе с тем найти их специфические признаки непросто. Ю.А. Корнеева считает, что концепты отличаются от понятий только 1) сложностью своей структуры и 2) степенью их субъективной значимости для каждого отдельного человека.

Концептами являются «не любые понятия, а лишь наиболее сложные из них, являющиеся важными элементами концептуальной картины мира и мировоззрения человека» (Корнеева Ю.А., 2003: 250). Согласиться с таким утверждением не позволяют, по крайней мере, два назойливых вопроса. Во-первых, что значит «наиболее сложные понятия», во-вторых, почему понятия не могут быть «элементами концептуальной картины мира и мировоззрения человека»? Ссылаясь на мнение Ю.С. Степанова, автор лишь дает понять, что такая сложность состоит в их абстрактности. Из подобного рода суждений выводимы два сомнительных следствия: 1) культурные концепты тождественны абстрактным понятиям типа *жизнь, смерть, вечность, счастье, любовь, страх, душа, истина, добро, красота, справедливость, вера, война, пространство, время* и др. и 2) концептами не могут быть понятия конкретно-предметной сферы типа «мебель», «посуда», «береза». Сомнительными они представляются уже хотя бы потому, что в дискурсивном пространстве, как убеждают наши предшествующие исследования, понятия конкретно-предметной сферы обретают статус культурного концепта. Примером тому могут служить цветаевская «лестница», гамзатовский «кувшин» или есенинская «береза». Имеются исследования и менее поэтических концептов типа «дом» или «чашка» (В.Г. Костомаров). В когнитивно-дискурсивном пространстве они также обретают образную энергетику национально-культурного представления. И здесь напрашивается ещё один вопрос: может быть, культурный концепт — это всего лишь обобщенное представление, передающее этнокультурное видение мира, внешнего и внутреннего? Некоторые исследователи отвечают на данный вопрос утвердительно. Но достаточно ли для этого убедительных оснований?

Данные критерии разграничения рассматриваемых категорий также не являются для нас достаточными, поскольку трудно, а порой невозможно разграничить саму *степень глубины* и *степень субъективной значимости* культурных концептов и представлений, так как и тем и другим свойственны модально-оценочные функции.

культурные концепты, и представления, именуя объекты окружающего мира, выражают самый широкий спектр субъективных отношений и оценок, объективируемых лежащими в их основании образами.

Сложность разграничения культурных концептов, понятий и представлений следует искать прежде всего в объективной «генетической» близости этих категорий. Как показывает исследование механизмов порождения и функционирования культурного концепта в тексте (см., например, работы В.А. Масловой и др.), в индивидуальном сознании автора или читателя между культурными концептами, понятиями и представлениями могут происходить взаимные образования: субъективно воспринимаемые человеком как оцененные, лично значимые понятия и представления приобретают статус культурного концепта.

Возможность такого взаимоперехода позволяет выделять особый подвид языковой картины мира — индивидуально-авторскую картину мира. Её оригинальность зависит от того, какие мысленные образы в словесной ткани художественного текста «упакованы» в культурные концепты. Причем в такой лингвокультурологической упаковке могут оказаться весьма «прозаичные» объекты нашего жизненного пространства, которые в сознании большинства людей являются как представления или обыденные понятия. Так, в индивидуально-авторской картине мира М. Цветаевой присутствует концепт «лестница», существующий в сознании большинства людей в виде понятия.

Именно поэтому между концептами, понятиями и представлениями порой невозможно провести демаркационную линию. Как уже отмечалось нами (Алефиренко Н.С., 2003: 71), в процессе сериализации когнитивных структур понятия и представления могут трансформироваться в концепты, а концепты — в понятия и представления как в индивидуальном, так и в общественном (групповом) сознании. Концепт нельзя отождествлять с понятием уже потому, что он в сущности своей синкретичен — одновременно и представление, и понятие, и представление. Это, если выйти за пределы строгих логических дефиниций, «обыденное образное понятие». Именно благодаря такой широте своего когнитивного диапазона концепт в одних случаях служит стимулом и источником семан-

тического развития языкового знака, а в другом — его *продуктом*. Однако как конечный предел развития и формирования семантической структуры концепт, по выражению В.В. Колесова, есть то, что не подлежит изменениям в семантике словесного знака, что, напротив, диктует говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляет мысли, создавая потенциальные возможности языка — речи (Колесов В.В., 2002: 63).

Следовательно, концепт — *сложное и многоярусное ментальное образование, в дискретный состав которого входит, помимо некоего смыслового содержания, еще оценочная и релятивно-оценочная семантика, содержащая информацию об отношении человека к отражаемому объекту*. Структура концепта, как следует из данного определения, включает содержательную и оценочную составляющие как единое синергетическое целое. Дискретность концепта обусловливается возможностью выделить в его структуре несколько взаимно обусловленных признаков-компонентов. Важнейшие среди них: 1) интернациональный, представляющий общечеловеческие ценности и представления; 2) идиоэтнический; 3) социальный, репрезентирующий социальный статус коммуникантов; 4) групповой — тендерный, возрастной, профессиональный; 5) индивидуально-личностный, отражающий образовательный ценз человека, его религиозные воззрения, личный опыт, речевой стиль, поведение. Ср.: кинемы в работах Е.А. Огневой (2006: 88). Своеобразие тому или иному концепту придает доминирование одних и погашение других признаков, что служит основанием типологической классификации концептов.

Однако несмотря на некоторое своеобразие, все концепты, утверждает В.В. Колесов, обладают способностью выступать маркером этнической языковой картины мира и поэтому являются «не только феноменом культурно-языкового, но и культурно-семиотического плана». Ученый считает, что концепт способен отражать не только смыслы, облаченные в языковую плоть, но и «молчаливые смыслы» культурных артефактов, обладающих свойствами семиотических систем, среди которых языковая система является доминантной.

С подобного рода размышлениями трудно не согласиться. Язык посредством значений своих знаковых единиц действительно явля-

ется хранителем и выразителем этнокультурных смыслов, однако репрезентирующие возможности языка гораздо шире. Языковые парадигмы также успешно аккумулируют в себе разного рода универсальные смыслы логического характера и в результате оказываются способными выражать не только культурные феномены. К последним мы относим ценностно-смысловые и коннотативно-оценочные образования. В диапазоне же языковой семиотики оказываются и объекты «беспристрастного» (не содержащего ценностно-оценочного) отражения окружающего мира (*езда, грязь, муравей, дерево, кирпич, трава, воздух*). Другое дело, что любой из подобного рода объектов может оказаться включенным в силовое поле ценностно-смысловой системы того или иного этнокультурного сообщества.

В результате такой интериоризации любой объект превращается в культурный концепт. Ср.: 1) Какой же русский не любит быстрой *езды*... (Н.В. Гоголь); 2) *Муравей* — символ неустанного труженика; 3) Не ударить лицом в *грязь* (Посл.); 4) *Древо* жизни и др. Однако это уже «другая история». Язык же своими семиотическими средствами номинирует не только концепты культуры. Более того, пока в науке нет единого мнения о том, как в знаковых единицах языка проявляется культура. Согласно современным семасиологическим концепциям, в семантической структуре языкового знака содержится так называемый культурный компонент, по своей природе являющийся экстралингвистическим феноменом. Причем его место в семантической структуре словесного знака определяется по-разному. Одни исследователи полагают, что культурное содержание языкового значения представлено денотативной семемой, другие — лексическим фоном, или ореолом всевозможных непонятных представлений. В первом случае культурный компонент локализуется в ядерной зоне (интенционале) языкового значения, во втором — на его периферии (импликационале). Но в любом случае культурный компонент согласно такому подходу входит в состав семантической структуры языкового знака.

Этой точке зрения противопоставляется психолингвистическое толкование культурного компонента как фонового знания, которое находится за пределами семантической структуры знака в форме различных логических импликаций и пресуппозиций (В.П. Белянин). Такой подход противоречит основному постулату

семасиологии, согласно которому языковое значение — лингвокреативный продукт отражательной деятельности человека, в котором представлены все значимые для этнокультурного коллектива и пропущенные через общественное сознание аспекты отражаемого объекта. К тому же любой аспект отражения до его интериоризации представляет собой по отношению к языковой семантике фоновые (пресуппозициональные, а значит, и неязыковые) знания. Неязыковые знания — фоновые знания, пресуппозиционные, имплицитные, внешне невыраженные; они обращены к глубинному уровню сознания; языковые же знания — логически осознаваемые и внешне (словесно) выраженные. Этим, собственно, и порождается диалектика соотношения языкового значения и концепта: 1) значение как продукт вербализации одного из аспектов познаваемого объекта уже концепта и 2) концепт как когнитивная категория, формирующая предметно-образную конфигурацию языкового значения, оказывается одним из его компонентов; при этом часть смыслового содержания концепта остается за рамками семантической структуры слова и вместе с другими когнитивными категориями создает дискурсивное пространство высказывания.

Исследование механизмов порождения и функционирования культурного концепта в дискурсе (тексте) показывает, что в разряд концептов в индивидуальном сознании (авторском и читательском) переходят понятия и представления, в авторском и читательском восприятии обретающие особую культурно-смысловую ценность и в результате оказывающиеся личностно значимыми. Своеобразие индивидуальной (или, если речь идет о творческой личности, индивидуально-авторской) концептуальной картины мира во многом определяется тем, какие именно связанные со словом мысленные образы представлены в ней в виде концептов. В разряд концептов в индивидуальной концептуальной картине мира могут попасть самые разные понятия и представления.

Итак, главное свойство концепта — его а м б и в а л е н т - н а я структура. В отличие от концептов, понятиям и представлениям присуща м о н о а с п е к т н а я структура. Причем в составе концепта понятия несут логическое содержание, а образные представления — оценочные и экспрессивно-образные смыслы, которые, как правило, не столько истинны, сколько художественны и

основаны чаще всего на метафорических или метонимических переосмыслениях.

Итак, в силу своей амбивалентности многие концепты как некие глубинно содержательные структуры и прежде всего архетипические, материализуются в различных речевых жанрах. Архетипические концепты создаются дискурсивными практиками, поэтому оказываются фактически неотделимыми от них, так как актуализируются и в известном смысле порождаются ими. Поэтому концепты-архетипы оказываются сплавленными с жанровыми-дискурсивными структурами. Следы этих структур постоянно напоминают о концептах-архетипах, а закрепившиеся в речевых жанрах концепты-архетипы проецируют в языковом сознании связанные с ними дискурсы.

2.5. Синергетика культурного концепта и знака в системе языка и тексте

Методологической основой изучения природы и характера взаимоотношения культурного концепта и языкового знака в наших работах служит создаваемая усилиями ученых разных научных направлений синергетическая теория речемыслительной деятельности. Ее базовыми категориями выступают «синергетика слова», «культурный концепт» и «когнитивно-дискурсивное пространство» языка и текста.

Лингвосинергетика слова. Пожалуй, наиболее таинственной, загадочной и вместе с тем притягательной является *синергетика*. В современной науке термин «синергетика» многозначен: это и подход, и методология, и принцип целостности на молекулярном уровне взаимодействия его составляющих.

Как междисциплинарный подход синергетика возникает в 70-е годы XX века. Ее основной задачей стала разработка теории самоорганизации, теории диссипативных структур. Ключевым здесь является понятие «самоорганизация». Возникновение данного научного направления связывают с именами бельгийского ученого Илья Пригожина и немецкого теоретика Германа Хакена. Пожалуй, главным достоинством этого научного подхода, обеспечившим воз-

возможность его применения в лингвокультурологии, стало понимание того, почему многие сложные системы (в том числе когнитивные и лингвосомиотические) могут представлять в виде несколько упрощенной модели. Через такого рода простоту становится более реальным познание тайн таких сложных комбинаторных образований, как лингвокогнитивные структуры, культурный концепт и языковой знак.

Будучи методологией получения нового знания, синергетика базируется на принципе нелинейности человеческого мышления и в этом смысле применима к области междисциплинарного исследования проблем самоорганизации и комбинаторного взаимодействия языка и культуры. Такого рода методологические установки позволяют современной лингвокультурологии выйти на принципиально новые рубежи в миропонимании, нетрадиционном объяснении основных парадоксальных явлений взаимодействия языка, сознания и культуры. В XIX веке многие из них объяснялись космологически, даже Исаак Ньютон связывал успехи в познании Вселенной с глубиной и величием Божественного замысла. Позже вопросы познаваемости и границ нашего знания стали главным предметом философии культуры. XX век существенно обновил первоначальную картину мира именно благодаря так называемому междисциплинарному подходу, в недрах которого собственно и зарождается лингвокультурологическая синергетика. Такого рода исследовательская стратегия позволяет комплексно осмыслить явления языка, сознания и культуры в их органическом единстве, оставаясь при этом все же в рамках задач и методов антропоцентрической лингвистики (Гринёв-Гриневиц С.В., 2005: 16).

В конце XX века этот подход стал новым стимулом для развития когнитивно-семиологической теории слова в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы в самых разнообразных ее ответвлениях — лингвокультурологии, психосемантики, когнитивной семантики и лингвопрагматики. Фактором, объединяющим их, выступает идея синергетической природы слова, пожалуй, впервые сжато и содержательно сформулированная П. Флоренским: «Слово синергетично»; «Слово больше себя самого. И притом, больше — двояко: будучи самим собою, оно вместе с тем есть и субъект познания, и объект познания» (1990: 293). Слово представляет специфический

синергетический образ взаимодействия этих двух полюсов, индуцированный в сознании субъекта. Слово порождается в сознании субъекта как интерполент его взаимодействия с объектом.

Такое синергетическое двуединство объясняется взаимопредполагающим сосуществованием двух основных речемыслительных категорий — концепта и слова. «В слове уравниваются и приходят к единству две накопившиеся энергии... Оно не есть уже ни та или другая энергия порознь, ни обе вместе, а новое двуединое энергетическое явление, новая реальность в мире... Но нельзя сказать: "оно само по себе". Без того или без другого из соединяемых полюсов (*концепта* и *языкового знака*. — Н.А.) оно вовсе не есть». Дело, видимо, в том, что энергетикой обладают и психические процессы (доказано Зигмундом Фрейдом, Пьером Жане и др.), и языковые значения, если под энергией понимать «всеобщее свойство реальности».

Принимая это положение, следует согласиться и с тем, что энергия такого рода связана с *источником* и *общим законом* энергетики. Ее источником служит взаимодействие субъекта с культурной средой, точнее, субъектно-объектные отношения в ней, а основным законом — закон сохранения, в рамках которого энергетика психических процессов и энергетика этноязыкового сознания оказываются взаимопревращаемыми, что и служит основным механизмом синергетического взаимодействия этноязыкового сознания, культурного концепта и языкового знака.

Лингвосинергетика языкового сознания. Сознание вообще, и языковое в том числе, — прежде всего предмет психологии и поэтики, а не должно ставиться в центр лингвистического исследования. Эпицентром лингвокультурологического анализа, как и собственно лингвистического, остается язык с точки зрения маркированности элементов этнокультурного сознания. Своеобразие этнокультурного сознания постигается через язык, путем анализа языковой и внеязыковой семантики единиц языка и речи, поскольку «язык, — по убеждению В. фон Гумбольдта, впервые предложившего науке понятие «языковое сознание», — в своих взаимозависимых связях есть создание народного языкового сознания» как части этнокультурного пространства человека. Разновидностью языкового сознания выступает сознание этноязыковое. Кроме знания языка и пра-

вил его использования, оно еще располагает знаниями и механизмами вербализации объектов этнокультуры. Основной когнитивной «упаковкой» этноязыкового со-знания (коллективного, совместного знания) служат различные когнитивные структуры, важнейшей из которых является культурный концепт.

Формой существования культурных концептов в этноязыковом сознании служат значения языковых знаков (как правило, значения номинативных единиц, слов и фразологизмов) и их смысловая реализация в том или ином дискурсивном пространстве. Поэтому для нас основополагающим моментом является когнитивно-семасиологическое соотношение понятий «концепт», «культурный концепт» и «значение».

Известная этимологическая связь термина *концепт* с латинским *conceptus* нередко приводит к отождествлению соответствующих понятий. Это порождает неприемлемый для когнитивной лингвокультурологии некий размытый метаконцепт, который в итоге лишается главной способности: выражать ценностно-смысловое содержание мира. Поэтому в современных работах по лингвокультурологии хотя и без должного обоснования все чаще появляется новая субкатегория — «культурный концепт». Исходным моментом в ее осмыслении для нас выступает понимание самого феномена культуры, а также выявление тех ее свойств и признаков, которые, собственно, и обеспечивают синергетику культурного концепта и знака.

Из более чем 300 определений культуры для нас особое значение приобретают те свойства, которые сближают явления языка и культуры и тем самым выводят их на один онтологический уровень. Это прежде всего их *семиотическая* природа — та объединяющая сущность, которая лежит в основе лингвокультурологии как синергетической дисциплины, развивающейся на идеях семиотики языка и семиотики культуры. Последняя, разумеется, располагает более широким спектром знаковых средств: это знаки-индексы, иконические знаки, знаки-символы, знаки-артефакты, музыкальные и художественно-изобразительные знаки. И все же доминирует в этом ряду естественный язык — семиотическая система особого рода, поскольку служит средством не только выражения, но и формирования, а также оценочно-смысловой интерпретации внешнего и внутреннего мира человека.

Синергетика культурного знака. Знаки культуры и знаки языка образуют разные семиотические системы: культура — это прежде всего содержание, а язык — форма существования этого содержания (см.: Клоков В.Т., 2000: 60). Однако будучи разными семиотическими системами, культура и язык образуют синергетическую по своей сущности субкатегорию — культурный концепт. В нашем понимании содержанием этой субкатегории является мыслительный образ достаточно широкого лингвокогнитивного диапазона. На синтагматической оси в нем сукцессивно сочетаются самые разные когнитивные структуры: от простейших обобщенных наглядных образов до сложных понятий. На парадигматической оси он представляет собой продукт нелинейного мышления, поскольку именно в таком формате с его помощью наше сознание удерживает многослойное кодирование смысла, начиная с поверхностной и заканчивая глубокой импликацией неязыковой семантики.

В связи с таким пониманием культурные концепты — не просто «то, что мы знаем об объекте во всей его экстенсии» (Телия В.Н., 1996: 8); это когнитивно-семантические образования, занимающие промежуточное положение между языковыми знаками и познаваемыми объектами и в силу этого представляющие собой ментальные упаковки нашего сознания, форматирующие этнокультурное видение мира. Результаты такого смыслового структурирования служат этнокультурным основанием формирования значения языкового знака, тем когнитивным содержанием, смысловые элементы которого в процессе интериоризации преобразуются в элементы семантической структуры слова. Занимая промежуточное положение между языком и действительностью, культурный концепт оказывается пунктом пересечения смысловых потоков, порождаемых, с одной стороны, герменевтикой эмпирического опыта данного этнокультурного сообщества, а с другой — лингвокреативным мышлением, обогащающим первичное смысловое содержание концепта — оперативной содержательной единицы памяти ментального лексикона (Е.С. Кубрякова).

Таким образом происходит двойная концептуализация действительности, в которой совмещается универсальное и идиоэтническое видения мира. Совокупность оязыковленных концептов определяют собой смысловые узлы языковой картины мира. Именно в ее

недрах, в составе наивного (но не примитивного!) моделирования действительности концепты из обычных «квантов» знания превращаются в культурные концепты, а стоящие за ними, точнее, отраженные в них, объекты — культурными феноменами. В связи с таким пониманием предметом лингвокультурологии становятся не любые явления окружающего мира, а лишь те, представления о которых формируются во взаимодействии этнокультурного и лингвокреативного мышления. Поэтому, используя суждения А. Вежицкой, культурный концепт — это структурная ячейка мира «Идеальное»; он «имеет имя и отражает культурно-обусловленное представление этноса о мире "Действительность"» (Вежицкая А., 1996).

Культурный концепт, как видим, отличается сложной архитектурой, в которой органически сочетаются объективно-рациональное и субъективное. В её многослойной организации имеется и всё то, что свойственно понятию, и всё то, что делает его феноменом культуры: асимметрия исходной формы и нового содержания, обеспечивающая интерпретацию образного представления объектов внеязыковой действительности. Благодаря такой организации культурные концепты способны порождать и удерживать в долговременной памяти человека этнокультурные архетипы — подсознательные устойчивые образы, которые могут в определенных дискурсах актуализировать современные экспрессивно-образные ассоциации, а также оценочные, ценностно-смысловые и культурно-исторические коннотации.

Таким образом, базовые культурные концепты (образы-архетипы) служат смысловым и конструктивным ядром этноязыкового сознания, любого культурного пространства. Они фокусируют в себе всю систему смысловой организации этносознания в единстве его парадигматических, синтагматических и лингвокультурных (ценностно-смысловых) связей.

Однако для того чтобы понять механизм и характер взаимодействия базовых концептов лингвокультуры, в совокупности составляющих ядро этноязыкового сознания, необходимо выйти за пределы отдельной человеческой телесной организации человека в мир его ценностно-смысловых ориентиров. Если язык — это практическое сознание, то культурный концепт следует рассматривать средством практического существования этнокультуры. Действительно, лю-

бой речемыслительный акт, хотя и осуществляется нервно-мозговой системой отдельного человека (автора, создающего художественно-образную картину мира, и читателя, ее воссоздающего), он и в том и в другом случае находится в пределах определенного этнокультурного пространства. Более того, речемыслительный акт становится фактом практического сознания только тогда, когда превращается в этноязыковое сознание. Основную работу по такому превращению выполняет языковое сознание. Результатом превращения является «совокупность образов сознания, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств» (Тарасов Е.Ф., 1996: 26).

В отличие от понятий («погода», «рождение», «жизнь», «смерть» и т.п.), одноименные культурные концепты, будучи элементами обыденного (наивного) сознания, *не только мыслятся, но и переживаются*. Поэтому они содержат не только рациональные продукты познания, но и возникающие в процессе их оценочного осмысления эмоции, симпатии и антипатии. Именно благодаря этим свойствам культурные концепты служат основной ячейкой лингвокультуры в структуре языковой ментальности, фантомами языкового сознания этноса.

Принципы структурирования этноязыкового сознания.

Существуют уровневый и полевой принципы структурирования этноязыкового сознания. Согласно уровневой модели оно включает в себя следующие культурно маркированные коды: а) лексико-семантический (тезаурус), б) грамматический (языковую компетенцию, по Н. Хомскому) и в) коммуникативный. В соответствии с полевым принципом в этноязыковом сознании выделяется ядро и периферия. Ядро составляют языковые знаки (прежде всего словесные), которые в ассоциативно-вербальной сети объективируют базовые культурные концепты, периферию — производные от них субконцепты. Причем языковые знаки выступают не просто оболочкой концептов, а средством их смыслового обогащения. Дело в том, что обозначая предмет, знак *выделяет* в нем соответствующие свойства, ставит его в нужные *отношения* к другим предметам, *относит* его к известным категориям (Лурия А.Р., 1998: 50). В целом смыслопорождающая роль знаков как элементов языкового сознания состоит в том, что они являются средством осуществления **и н т е р и о р и з а ц и и**, превращения внешнего во внутрен-

нее, т.е. «вращивания» образов познаваемых (внешних) объектов внутрь нервно-мозговой системы.

Сущность процесса интериоризации В.П. Зинченко объясняет с помощью теории предметной деятельности, при этом он использует прием отрицания. «...Если признать, что предметное действие не только опосредствовано внешними орудийными и знаковыми средствами, но и содержит в себе, в своей внутренней картине, или форме, образ, цель, интенции, мотив, слово; если признать, наконец, что сама предметная деятельность есть идеальная форма, то понятие интериоризации в теоретической психологии станет излишним <...>» (Зинченко В.П., 1998: 13). Однако вектор размышлений ученого меняет понятие медиатора, обобщающее различные виды средств, используемых в деятельности. К ним относятся как внешние (орудие труда, игрушка, символ, миф), так и внутренние (движение, действие) средства осуществления деятельности. Однако между этими типами средств не существует жесткой разграничительной линии. «Внешние» медиаторы в конечном итоге становятся «внутренними» как раз в процессе интериоризации. При этом делается крайне важное уточнение: «конечно, интериоризируются не внешние (вещные) орудия, а их значения и смыслы» (Зинченко В.П., 1998: 145). Это замечание, с одной стороны, побуждает нас обратиться к сущности предметного значения, а с другой — к механизмам преобразования минимальных свойств и признаков познаваемого предмета в наносмыслы языковой семантики.

«Вращивание» образов познаваемых (внешних) объектов внутрь нервно-мозговой системы заключается в том, что образы внешнего мира, как уже отмечалось, не просто расширяют уже имеющееся культурно-смысловое пространство, но и активно воздействуют на ранее сложившуюся понятийную систему, стимулируя тем самым ее развитие. Это, как установил П.К. Анохин, обеспечивает так называемое *опережающее отражение*.

В процессе опережающего отражения порождаются новые смысловые элементы, требующие семиотизации и локализации в языковом сознании, проецируя тем самым семный состав означаемого языкового знака. Значение языкового знака является, таким образом, основной ячейкой языкового сознания, в которой фиксируется и представляется культурно-исторический опыт народа.

Отсюда следует, что язык служит не внешним атрибутом сознания, а объективированным сознанием, способным к опережающему отражению закономерно ожидаемых изменений в познаваемом мире.

В процессе семиотизации познаваемых объектов развитию и трансформации подвергается сама структура сознания (его внутренние связи и отношения), изменяются и процессы, в нем протекающие. В конечном счете структурированное знание, будучи содержанием сознания, требует своей вербализации и, закрепляясь в языке, предопределяет изменение и смысловое развитие языкового знака, которое в конце концов завершает формирование культурного концепта. При таком понимании культурный концепт — это маркированный этноязыковым сознанием **смысл**, реализующийся в речи в достаточно широком диапазоне лингвосемиотических средств (слов, словосочетаний, фразеологических единиц, предложений и даже целым текстом) в пределах, разумеется, того или иного этнически ориентированного когнитивно-семасиологического кода. Одни исследователи, в той или иной степени разделяющие такой подход к пониманию концепта, склонны к отождествлению понятий «концепт» и «смысл», другие усматривают в них разные сущности. Насколько важно это для лингвокультурологии?

Концепт и смысл. По утверждению А.Н. Леонтьева, «... смысл создается отражающимся в голове человека объективным отношением того, что побуждает его действовать, к тому, на что его действие направлено как на свой непосредственный результат. Другими словами, сознательный смысл выражает отношение мотива к цели... Смысл — это всегда смысл чего-то. Не существует “чистых смыслов”» (Леонтьев А.Н., 2001: 299). Эти суждения открывают новую, *культурологическую* грань категории смысла, где сосуществуют и уживаются два, казалось бы, несовместимые свойства — способность отражать объективные отношения в реальном мире и способность субъективного понимания отношения мотива к цели, что проливает свет на то, почему смысл придает слову бытийный (э т н о - к у л ь т у р н ы й) характер.

Если развести *мышление* как процесс отражения действительности в сознании человека и *мысль* как продукт мыслительной деятельности, тогда можно принять имплицитно существующую точку зрения, согласно которой единицей мысли является культурный

концепт как ценностно-смысловая репрезентация определенного коллективного опыта. Иными словами, культурный концепт представляет собой внутреннюю репрезентацию обобщенного и определенным способом структурированного смыслового (эмпирического, опытного) содержания. Концепт, таким образом, является единицей мысли. Единицей же сознания служит языковое значение. Как объективно-историческое явление оно служит идеальной, духовной формой выкристаллизованного общественного опыта, закрепленной за тем или иным языковым знаком (М.В. Никитин, В.А. Звегинцев, А.М. Кузнецов, Э.Д. Сулейменова).

Итак, с м ы с л — категория лингвокультурологическая, личностная, ситуативная; смысл подвижен и изменчив от эпохи к эпохе, от человека к человеку, от текста к тексту; з н а ч е н и е — категория общественная, стабильная, постоянная часть содержания языкового знака. Еще более масштабно подходит к определению значения А.В. Бондарко: «Говоря о з н а ч е н и и, мы имеем в виду содержание единиц и категорий данного языка, **включенное в его систему и отражающее её особенности**, план содержания языковых знаков» (Бондарко А.В., 2002: 102) (выделено нами. — Н.А.). Носителями же смысла являются не только языковые формы, но и другие составляющие речепорождающего процесса (мотив, коммуникативное намерение, замысел, внутреннее программирование (смысловое синтаксирование), субъектно-предикативно-объектные отношения и ситуация общения).

Для когнитивной лингвокультурологии особую значимость приобретает понимание того, что в процессе мыслительной деятельности используются две семиотические модели: для построения логической модели мира в качестве знаков используются понятия, а для языковой модели мира — концепты. Специфической формой выражения знания является языковое з н а ч е н и е — свойство знака нести информацию. Реализуется это свойство в процессе речевой деятельности и служит основной единицей сознания, «феноменом словесной мысли или осмысленного слова» (Выготский Л.С., 1982: 297). Процесс осмысления, придания чему-либо смысла состоит в уяснении системы отношений, в которые вступает объект с другими объектами того или иного пространства (внеязыкового, предметного, или языкового, семантического).

Сущность с м ы с л а определяется такими культурологическими категориями, как значимость и ценность. «Смысл, — писал Э. Гуссерль, — это актуальная ценность, значимость предмета для субъекта» (Husserl E., 1999: 73; Herrmann T., 1982).

В отличие от языкового значения смысл, по мнению Э.Д. Сулейменовой, характеризуется а) недоступностью для прямого наблюдения, б) инвариантностью, регламентирующей различного рода перефразирования и иносказания, в) ситуативностью и г) субъективностью. Преобразовать эти характеристики смысла в их противоположности призван язык: языковые значения служат средством для выражения смысла.

Способом реализации отношения средства и цели является перекодирование смыслового содержания в языковое значение. Перекодирование смысла в языковое значение — сложная, далекая от прямолинейных соответствий речемыслительная деятельность. Языковые значения формируются в результате глубокой переработки исходного «опыта», в основе которой лежит процесс *апперцепции* — включение нового смыслового содержания в систему уже имеющегося или, как объяснял А.А. Потебня, «участие сильнейших представлений в создании новых мыслей» (Потебня А.А., 1999: 194).

В принципе, языковые значения «не восходят прямо к данным перцептивного опыта» (Селиверстова О.Н. 2002: 18). В связи с этим следует подчеркнуть, что языковой знак нельзя рассматривать как обозначение отдельного объекта. В таком случае пришлось бы признать, что языковое значение определяется исключительно одной лишь предметной отнесенностью. На самом же деле семантическая структура языкового знака гораздо сложнее. Она характеризуется достаточно разветвленной смысловой ретроспективой в виде иерархически и генетически взаимосвязанных смыслов, объективируемых в означаемом данного знака. Пожалуй, впервые это было обосновано в работах А.А. Потебни, выделявшего «ближайшее» и «дальнейшее» значения слова. В современной семасиологии смысловая ретроспектива слова интерпретируется в виде иерархически организованной семной структуры. Формирование такой структуры осуществляется в процессе дискурсивно-когнитивной деятельности человека.

Языковой знак в семантике языка и дискурса. Понимание места отдельного языкового знака в семантическом пространстве языка делает этот знак осмысленным: знак приобретает смысл. Значение и смысл — взаимосвязанные категории. Вместе с тем смысл не является эпифеноменом значения, т.е. таким мыслительным образованием, которое не оказывает на значение никакого влияния (в силу его якобы сугубо субъективной сущности). Смысл (*sense*), как утверждают философы и психологи, не облачается в значение (К.К. Жоль), а объективируется в нем, подобно тому как «мысль совершается в слове» (Л.С. Выготский). В конечном пункте всех возможных преобразований минимальные элементы смысла (или смысловые атомы) выкристаллизовываются в семы, содержательные компоненты семантической структуры слова. В этом аспекте смысл первичен, а значение языкового знака вторично: смысл выражается в значении, а не наоборот.

Здесь, однако, необходимо уточнить, что до сих пор речь шла исключительно о до-речевом смысле. Вектор меняется, когда мы пытаемся раскрыть характер соотношения с и с т е м н о г о значения языкового знака и р е ч е в о г о смысла, под которым понимается индивидуальное значение языкового знака, выделяющее из объективной системы связей те, которые актуальны в процессе осуществления интенционального акта. «Интенциональный акт (акт направления рефлексии сначала на опыт, затем — на душу носителя этого опыта) совмещен с переживанием особого рода — переживанием интенционального акта» (Богин Г.И., 1994: 3). При таком понимании интенциональный акт может рассматриваться в качестве основного фактора появления смысла.

В связи с этим следует уточнить, что известная формула А.Н. Леонтьева «смысл выражается в значениях» справедлива только в отношении системного значения. Применительно к речевому смыслу векторное содержание этой формулы должно быть иным: «значение выражается в смысле», поскольку речевой смысл — личностно ориентированное преломление системного значения в языковом сознании. Системное языковое значение в данном понимании представляет собой совокупность элементарных смысловых компонентов, возникших в процессе исторической эволюции языкового знака. В этом отношении целесообразно напомнить пони-

мание многоаспектной сущности значения А.А. Леонтьевым. В его интерпретации, значение — это, во-первых, существующая вне и до отдельного знака система связей и отношений предметов и явлений действительности, которая, будучи соотнесена с отдельным знаком, образует его «объективное содержание». Во-вторых, значение — «идеальная нагрузка знака», идеальная сторона его, представляющая собой превращенную форму объективного содержания знака. В-третьих, значение — это социальный опыт субъекта, «спроецированный на знаковый образ, или <...> субъективное смысловое содержание знака (Леонтьев А.А., 2001). В такой интерпретации значение и смысл, — в известной степени симметрично функционирующие величины.

Однако в разных коммуникативных ситуациях значения и смыслы могут вступать между собой в асимметрические отношения, порождающие различные метафорические преобразования. Действительно, с точки зрения когнитивной семантики, *метафора — средство разрешения конфликта между значением и смыслом языковых знаков в их речевом употреблении*. Внеречевой же смысл — это невербализованная часть понятийного содержания; концептуальная информация, не получившая отдельного языкового выражения, но служащая источником формирования языкового значения. Исходя из этого следует признать, что семантическая структура слова соотносится с неязыковыми смыслами самих номинируемых предметов и событий. Смыслы вариативны, индивидуализированы, конкретны. Для того чтобы они были таковыми, необходима некая инвариантная величина, в рамках которой происходит это варьирование. Подобным содержательным остовом по отношению к ним выступают языковые значения, фиксирующие устойчивые и социально-ценностные (культурно значимые) знания и отношения.

Как сложное коммуникативное явление, включающее речемыслительную и экстралингвистическую информацию (знания о мире, мнения, установки, цели адресата) (Караулов Ю.Н., Петров В.В., 1989: 8), **д и с к у р с** является еще и наиболее естественной средой смыслопорождения и знакообразования. Такого рода знакообразования способны к репрезентации достаточно объемной культурной информации, одновременно ценностно-смысловой, мировоззренческой и лингвистической. Именно такой дискурс, к при-

меру, лежит в основе возникновения выражения *куда ни кинь — всё клин*. Когда-то на Руси существовал обычай при распределении общинной земли кидать жребий. При этом земли распределялись небольшими долями, самая малая мера земли — клин, еще меньше осьминка — $1/8$ десятины. Об этом обычно говорили: «*Не постоишь за клин, не станет и осьминка*», т.е. «Уступишь в малом, не будет и большего». Выхода у крестьян не было: куда ни кинь жребий при дележе земли, все равно целого хорошего участка не получится, достанутся лишь одни клинья. Поэтому выражение *куда ни кинь — всё клин* стало употребляться (уже безотносительно к данному обычаю) для определения безвыходности создавшегося положения.

Языковые знаки дискурсивного происхождения представляют собой яркий этнокультурный феномен синергетического характера в силу своей двойственной природы: сами знаки принадлежат языковому сознанию, а выражаемые ими представления — когнитивному. Поэтому такого рода ключевые языковые знаки служат опорными точками смыслового пространства культуры.

Ценностно-коммуникативная сущность смыслового пространства культуры не только обнаруживается, но и формируется в дискурсе, понимаемом как совокупность устойчивых коммуникативных событий (см.: Т.А. ван Дейк), которые закрепляются в языковом сознании всего этнокультурного сообщества при помощи знаков той или иной лингвокультуры. Их возникновение связано с «говорящим сознанием» (Бахтин М.М., 1996: 361), с синергетическим взаимодействием языковых сознаний коммуникантов, в процессе которого происходит процесс взаимокорректировки индивидуального сознания каждого из коммуникантов.

В условиях повторяющихся коммуникативных событий в процесс взаимокорректировки вовлекаются все новые и новые коммуниканты. При этом происходит не просто «передача» и «восприятие» содержания исходного сообщения, а метафорическое порождение некоторого нового содержания, не сводимого к сумме значений-знаков смылообразующего дискурса. Так, выражение *скатертью дорога* своим возникновением обязано старинному обычаю желать уезжающим гостям дороги, как скатерть, т.е. ровной и спокойной, поскольку дороги на Руси всегда были трудными, ухабистыми и разбитыми. Кто же не хотел, чтобы его дорога была ров-

ной и гладкой, как скатерть на столе? До сих пор сохранился обычай, провожая уезжающих, махать платочком, чтобы путь «лежал скатертью, был ровен и гладок». Однако первичное значение этого выражения со временем приобрело еще и противоположную коннотацию, а сама идиома *скатертью дорога* стала выражать пожелание убираться вон, куда угодно, имплицитно заключающим в себе ещё и такие коммуникативно-прагматические импликации, как ирония и безразличие (к чьему-либо уходу или отъезду). Видимо, среди уезжающих не всегда были гости, с которыми не хотелось расставаться. Такие дискурсивные ситуации становились прецедентными и способствовали развитию соответствующего значения.

Социумное знание коммуникативных событий и речеповеденческих тактик в соотнесении их с прецедентными высказываниями формируют, наряду с языковым, и дискурсивное сознание — своего рода речемыслительное пространство того или иного этнокультурного сообщества, формирующееся и являющее себя в коммуникации. Сущность дискурсивного сознания ёмко и стереоскопично выражает бахтинская метафора «говорящее сознание». Поскольку средой его существования оказывается речемышление (термин С.Д. Кацнельсона), то разновидность коммуникации, порождающей дискурсивное сознание, можно назвать *транскрипцией* «говорящих сознаний».

Основными единицами дискурсивного сознания являются речемыслительные образования, объективирующие коммуникативно-прагматические стереотипы в структуре соответствующего этнокультурного пространства — речевые стереотипы, характеризующиеся устойчивостью, воспроизводимостью и структурно-семантической целостностью. Поскольку названные признаки составляют полный набор признаков понятия «идиоматичность», такую единицу вполне логично назвать дискурсивной идиомой. Причем это понятие включает не только фраземы, но и лексемы, возникшие в определенной дискурсивной среде. Например: *построить дом на песке* — «о чем-л. непрочном, необоснованном» (возникла идиома на базе евангельской притчи о «человеке безрассудном», построившем «дом свой на песке»); *на кудыкину гору* — «неизвестно куда» (по языческому суеверию (Smitek, 1998: 37), нельзя было называть имя того, что (или кто) могло (мог) навлечь беду; поэтому на вопрос к

охотникам, куда они направляются, обычно отвечали: «На кудыкину гору»). Дискурсивное сознание определенного культурно-языкового сообщества представляет собой структурированный набор (совокупность) дискурсивных идиом в билатеральном единстве их формы и содержания. По своей сути такие идиомы — образования дискурсивно-когнитивного происхождения.

С точки зрения структуры смыслообразующий дискурс — двустороннее образование, имеющее план выражения и план содержания. «Речевое мышление» — мышление, которое, в отличие от научного или художественного, свойственно повседневному речевому поведению. Разграничение речевого и научно-художественного мышления опирается, однако, не только на различия в строении продуктов речевой деятельности, но подразумевает также существенные различия и в структуре языка (И.П. Сусов).

План выражения дискурса — связанная последовательность языковых единиц, созданная в определенное время в определенном месте с определенной целью. План содержания дискурса образуют его семантика и прагматика. Семантическая структура дискурса представляет собой триединство следующих аспектов: а) реляционного, отражающего строение факта в виде признаков отношений между предметами; б) референциального, соотносящего аргументы пропозиции с предметами; в) предикационного, фиксирующего приписываемые семантическому субъекту признаки. Прагматика дискурса включает интенциональный, ориентационный (дейктический), пресуппозиционный, импликационный, экспрессивно-оценочный, субкодовый (функционально-стилистический), модальный и коммуникативно-информационный (фокальный) компоненты (Сусов И.П., 1988: 9).

Как видим, понятие дискурса выходит за пределы объема общепринятого понятия «речь», поскольку представляет собой особый вид общения, в процессе которого происходит конструирование и реконструирование смыслов в рамках интерактивного и интерпретативного, контекстно обусловленного взаимодействия (см.: Т.А. ван Дейк). Такого рода взаимодействие детерминировано взаимной культурно обусловленной коммуникативной компетентностью, присущей тому или иному этноязыковому сообществу. Данная общность формируется в процессе инкультурации (первичной со-

циализации) или аккультурации (вторичной социализации в инокультурной среде).

Поскольку общение — деятельность дискурсивная, связанная с обменом знаниями, возникает вопрос о видах и способах представления знаний, о так называемых когнитивных схемах. В этом собственно и стимулируется слияние когниции и дискурсии в единую когнитивно-дискурсивную парадигму. Интерактивность дискурса обуславливается совместным участием коммуникантов в процессах конструирования значений путем обмена информацией по определенным когнитивным схемам. Значения порождаются в результате заполнения слотов используемых когнитивных схем, их интерпретативного обогащения и видоизменения.

Дискурсивно обусловленное формирование значений осуществляется в процессе взаимодействия соответствующих когнитивных схем и культурных моделей (термин М.Б. Бергельсон), присущих данному этноязыковому сообществу. Языковое значение оказывается знанием, упакованным в ту или иную когнитивно-культурную схему. Интегративная сущность когнитивно-культурной схемы формирования значения объясняется тем, что в основе культурной модели лежат общие для всего этноязыкового сообщества знания: наивно-предметная картина мира, социокультурные и личные знания. Разумеется, культурная модель, прежде всего устойчивая структура социокультурных знаний, которые, будучи реализованными в определенных когнитивных схемах (концептах, фреймах и сценариях), отражают соответствующую наивно-предметную картину мира, создавая когнитивно-дискурсивное пространство этнокультуры.

Поскольку такого рода пространство формируется в процессе взаимодействия «говорящих сознаний», успешность коммуникации обеспечивается инвариантностью индивидуальных когнитивных пространств коммуникантов, а смысловое наращивание дискурса осуществляется главным образом за счет воздействия элементов субъективно-вариативных зон когнитивных пространств общающихся. Иными словами, инвариант когнитивного пространства коммуникантов — основа общественного языкового сознания, а его варьирующаяся область — индивидуального. Причем инвариантная общенациональная часть присутствует в языковом сознании каждо-

го говорящего. Поэтому дискурсивные идиомы как продукты взаимодействия «говорящих сознаний» интегрируют в своей смысловой структуре а) объективные, отфильтрованные, общенациональные представления и восприятия соответствующих событий и б) субъективные, индивидуальные их интерпретации и оценки, сформировавшиеся в сознании каждого социализированного члена того или иного лингвокультурного сообщества. Ср. рус. *держи карман шире, пошире*>; блр. *падстаўляй кішэнь*; укр. *хапай в обидві жмені* — 'не жди, не рассчитывай, не надейся' (иронически); рус. *днем с огнем, и с собакой не сыщешь* кого, что; блр. *удзень са свечкаю*; укр. *і вдень з вогнем (зі свічкою) не знайти* кого, що — 'нельзя найти, даже прилагая значительные усилия'.

В итоге семантическое поле языковых знаков, рожденных в когнитивно-дискурсивном пространстве, оказывается меньше всего денотативным, потому что такого рода языковые знаки предназначены не столько для передачи объективной информации, сколько для того, чтобы служить этнокультурными символами того или иного дискурса. При этом происходит не «передача» и «восприятие» готовой информации, содержащейся в знаках прямой номинации, а интерпретация тех ассоциативно-образных смыслов, источником которых является соответствующий дискурс. Происходит лингвокреативное конструирование нового смысла, интегрирующего в себе смысловые инварианты общенационального и вариации субъективно-индивидуального когнитивного пространства. Семантика дискурсивных знаков образуется синергетическим переосмыслением элементов, порождаемых информационно-кодовой, инференционной и интеракционной деятельностью. В связи с этим возникает вопрос: на чем основано такое синергетическое единство?

Есть основание полагать, что единство языковых сознаний обеспечивается общностью инвариантного когнитивного пространства — основы любого культурно-языкового сообщества, общностью особым образом организованного фонда знаний и представлений, т.е. той когнитивной базой, которая определяет *единство алгоритма восприятия* окружающего мира, систему норм, оценок и отношений.

За каждым дискурсивным знаком стоит отраженный в сознании социокультурный феномен как инвариантный компонент эт-

ноязыкового сознания. Являясь в силу своей инвариантности прецедентным элементом дискурса, дискурсивные знаки служат ценностными ориентирами, открывающими путь к познанию соответствующей лингвокультуры. Как прецедентные феномены речевые знаки своей экспрессивно-образной семантикой отражают ядро тех знаний и представлений, которые отражают национально-культурную доминанту этноязыкового сознания.

Глава 3

КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНАЯ ЭНЕРГИЯ «ЖИВОГО» СЛОВА

3.1. Метафорическая синергетика «живого» слова. 3.2. Культурно-когнитивные модели возникновения «живого» слова. 3.2.1. *Нейролингвальные механизмы формирования.* 3.2.2. *От когнитивной метафоры — к «живому» слову.* 3.3. Типы когнитивной метафоры в эволюционной истории «живого» слова. 3.4. Когнитивная энергия метафоры. 3.5. Когнитивно-номинативные уровни порождения и восприятия метафоры. 3.6. Когнитивно-семасиологическая интерпретация внутренней формы «живого» слова.

Мои слова — жемчужный водомёт,
Средь лунных снов, бесцельный, но вспенённый, —
Капризной птицы лёт,
Туманом занесённый...

А. Белья

Экспрессивно-образные свойства «живого» слова создаются энергетикой когнитивно-дискурсивной деятельности человека. Правда, эти свойства — не самоцель её, они возникают в процессе формирования «живых» понятий (концептов) и «живых» слов, служащих основными элементами языка культуры. Под языком культуры понимается разноуровневая знаковая система особого рода, способная передавать культурную информацию в процессе вербализации культурных концептов. Предназначение последних состоит в том, чтобы 1) представлять в нашем сознании образы артефактов культуры, 2) объективировать культурно значимые признаки и свойства номинируемых реалий, 3) создавать в своей совокупности культурно-прагматическое содержание дискурса — все то, что можно подвести под категорию *культурной коннотации*.

Культурная коннотация — особая разновидность традиционно выделяемого макрокомпонента языковой семантики, рассматриваемого чаще всего в его этимологическом понимании как со-значение слова. Однако в современной науке оно все более приобретает собственно культурологическую значимость, становясь базовым

понятием лингвокультурологии. И в этом смысле под культурной коннотацией понимается дискурсивно-когнитивная интерпретация (в этнокультурном сознании) образно мотивированного значения единиц вторичного и косвенно-производного образования.

3.1. Метафорическая синергетика «живого» слова

Словесная метафора — традиционный и вместе с тем не устаревающий от времени, а, пожалуй, самый привлекательный предмет изучения нашей науки с древнейших времен. Как правило, метафорическое преобразование слова рассматривалось в рамках риторики и стилистики, оно лежит на поверхности нашего восприятия художественной речи. Однако когнитивисты полагают, что глубинные истоки словесной метафоры следует искать в специфике человеческого познания и понимания мира. Первые наиболее значительные успехи в разъяснении ее сущности содержит «Поэтика» Аристотеля. В его трудах, как и работах других древнегреческих мыслителей, метафора рассматривалась в качестве важнейшего элемента человеческого познания, но позже в результате распределения знаний по разным дисциплинам исследование словесной метафоры стало прерогативой языкознания.

В современной науке о языке метафора изучается в лексикологии, поэтике, прагматике и когнитивной лингвистике. Лингвокогнитивная теория исходит из того, что в основе метафоры лежит метафорическое мышление, обусловленное сложным взаимодействием разных концептуальных структур, связанных между собой общими когнитивными заделами ассоциативно-образно усваивать, перерабатывать и преобразовывать знания. Такое нестандартное, косвенно-креативное мировосприятие и определяет в конечном счете сущность метафорического мышления человека (ср.: Балашова Л.В., 2005: 306; Петров 1988: 41).

Нельзя сказать, что после Аристотеля интерес к роли метафорического слова в познании мира ослабел. Изменился лишь характер таксономии, угол зрения на словесную метафору. Действительно, метафорическое слово стали рассматривать, скорее, не в когнитивном, а стилистическом аспекте, как средство орнаментального украше-

ния речи. Тем самым метафора практически не отличалась от фигур речи, хотя для теории стилистических фигур это сыграло положительную роль, поскольку фигуры речи стали изучать сквозь призму ассоциативно-образного мышления. И все же концептуальный характер фигур речи оставался длительным периодом вне системного изучения. Причиной тому был, видимо, страх, что, по словам А. Ричардса, метафора способна увлечь в дебри, и именно «страх перед этими дебрями был, возможно, одной из причин отказа от ее изучения или ограничения исследований весьма поверхностными проблемами. Но мы не можем рассматривать даже эти поверхностные проблемы, пока не изучим породившие их глубины речевого взаимодействия» (Ричардс А., 1990: 45–46). Целенаправленное исследование когнитивных механизмов фигуральной речи начато только в последние тридцать лет (ср.: Turner 1995: 179).

В наше время наметился полномасштабный возврат к аристотелевской концепции метафоры как средства мировосприятия и миропонимания. Пожалуй, впервые термин *метафора* в широком когнитивном контексте применительно к изучению лингвокультурного пространства использовали Дж. Лакофф и М. Джонсон. Им принадлежит и теоретическое обоснование этого направления. В частности, ученые утверждают, что любые переносы языковых значений обуславливаются метафорическим мышлением человека, т.е. происходят по заданным когнитивными метафорами моделям.

Когнитивная метафора. «Метафора, — пишут Лакофф и Джонсон, — пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути ...метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени метафоричны» (Лакофф и Джонсон 1990: 387–389). Это объясняется тем, что метафора удобна для осмысления «далеких» друг от друга явлений, она позволяет сфокусировать в единой картине то, что не под силу обычному предметному мышлению. Метафоры способны преодолеть логически несовместимые вещи, для них эта задача не только доступна, но и естественна, ведь метафоры «существуют как вполне обычный творческий процесс человеческого познания, который

объединяет понятия, в норме не связанные, для более глубокого проникновения в суть дела» (МакКормак 1990: 373). Следовательно, ретроспективное исследование механизмов образования метафоры непосредственно связано с изучением различных психических процессов, в частности с анализом метальных репрезентаций. Однако такого рода исследования не ограничиваются рамками психологии.

Согласно основополагающим постулатам когнитивной лингвистики исследование механизмов метафорической репрезентации когнитивных структур должно исходить из своеобразия моделирования концептосферы конкретного языка. По данным Дж. Лакоффа и М. Джонсона, концептосфера любого языка «структурируется вокруг небольшого набора приобретенных на основе непосредственного опыта (experiential) и имеющих собственные названия концептов. Эти приобретенные на основе непосредственного опыта концепты включают набор базовых пространственных отношений (например, вверх / вниз, спереди / сзади), набор физических онтологических концептов (например, entity, container) и набор базовых переживаний (experiences) / или действий (например, прием пищи, движение)» [Lakoff & Johnson 1980]. На этой основе предполагается, что все другие концепты не возникают непосредственно из физического опыта, но должны быть *метафорическими* по своей природе. Как структурными вехами концептосферы выступают базовые концепты, так и в лингвокультуре того или иного народа имеются базовые когнитивные модели метафоры (Балашова Л.В., 2005: 307), определяющие своеобразие не только его менталитета, но всей этноязыковой картины мира.

Впервые базовые когнитивные метафоры для концептосферы английского языка были выделены Дж. Лакоффом и М. Джонсоном путем анализа их языковой репрезентации. И все же многие вопросы остаются «белыми пятнами»: 1) как непротиворечиво выделить состав базовых концептов; 2) чем объяснить их разный набор в разных культурах и языках; 3) почему один и тот же концепт объективируется разными языковыми средствами и т.п. Окунувшись в практически необозримую литературу по метафоре, Е.Ю. Мягкова предприняла небезуспешную попытку обобщить и систематизировать основные проблемные вопросы, разрабатываемые ныне в зарубежной лингвистике. Она выделила сферы, в рамках которых ведется поиск ответов

на актуальнейшие для когнитивной семантики вопросы: 1) какими ограничениями лимитируется метафорическое мышление (Turner 1995); 2) от чего зависит продуктивность концептуальных метафор (Closper & Croft 1997); 3) какова роль когнитивной метафоры в понимании языковых структур; 4) как осуществляется распознавание свойств и признаков, выражаемых концептуальной метафорой, при ее языковой репрезентации.

Для решения выделенных проблем уже в рамках современной когнитивной семантики ведется, в частности поиск оптимальных методов экспериментального исследования способов метафорической объективации когнитивных структур (Юрина Е.А., 2004: 59; Boroditsky 1998), предлагаются соответствующие классификации метафор: конкретизирующие, анимистические, синестетические, структурные, ориентационные, онтологические и др. (Ungerer & Schmidt 1995: 117; Лакофф и Джонсон 1990: 396—408). И все же это лишь попытка определить отдельные, системно не связанные области образования когнитивной метафоры, знание которых, разумеется, может служить системному изучению внутренних, невидимых, скрытых лингвокреативных механизмов *речевого метафорического мышления* человека. Проникнуть в его суть позволит, на наш взгляд, мультипарадигма синкретического характера, органически сочетающая в себе когнитивную методологию и методику исследования речевого смысла. В поисках такой исследовательской стратегии к осмыслению метафорических механизмов порождения единиц косвенно-производной номинации формируется отдельное направление в когнитивной семантике. По своей сути оно является когнитивно-семиологическим (о когнитивно-семиологической теории слова см.: Алефиренко Н.Ф., 2005: 5).

Когнитивно-семиологическая сущность метафоры. В центре внимания разрабатываемой теории, кроме вышеназванных, находится целый узел собственно лингвистических (ономасиологических и семасиологических), психологических, когнитивных и культурологических проблем, развязав который, можно существенно приблизиться к пониманию внутренней взаимосвязи когнитивной и словесной метафоры.

Мы исходим прежде всего из когнитивно-семиологических предпосылок, ориентирующих на понимание метафоры как когни-

тивного феномена, а не как украшающего речь орнамента. Причем объективированная в языке когнитивная метафора становится лингвокогнитивной, и в этом своем двуликом статусе оказывается средством *языкового сознания*, средством создания нового смыслового содержания языкового знака. Языковое сознание как одна из разновидностей обыденного сознания служит лингвокреативным механизмом глубинной речепорождающей деятельности, в процессе которой хранящаяся в языковом сознании информация выступает речемыслительной базой асимметричного преобразования уже существующих в языковой системе номинативных единиц. При этом их формальные структуры (означающие) становятся носителями неожиданно новых означаемых (репрезентантами логически не постижимого ассоциативно-образного содержания).

Метафорическое (ассоциативно-образное) мышление находит точки соприкосновения для, казалось бы, логически несовместимых объектов. Исторически и социально закрепившаяся связь между такими означающими и означаемыми указывает, что языковое сознание «увидело» сходство логически несовместимых объектов познания. Если такого рода «видение» доступно лишь одной языковой личности, возникает семиологическая (контекстуальная) метафора как составная часть идиостилистической системы. Если же найденное сходство сопоставляемых предметов получает такое наименование, которое входит в лексико-семантическую систему языка, оно венчает процесс создания узуального метафорического слова. По утверждению М. Блэка, метафора «именно создает, а не выражает сходство» (Блэк 1990: 162). Дело в том, что метафорическое значение слова изначально формируется вне слова, а в ассоциативно-образном поле, синергетика которого подпитывается когнитивным, перцептивным и аффективным опытом (ср.: Залевская 1998). Это позволит, как нам представляется, объяснить тайну формирования национально-культурного компонента метафоры, совмещающего в себе этнокультурную специфику рационального и эмоционального восприятия мира, что в конечном счете определяет коммуникативно-прагматическую архитектуру идиостиля того или иного художника слова.

Как убедительно показывает И.Б. Быдина, «рациональный смысл поэтического текста, его когнитивную информацию, выражаемую

средствами информативно-смыслового уровня, невозможно понять без реконструкции *эмотивного смысла*» (см.: Быдина И.В., 2005: 43; она же, 2005а: 51). Этнокультурное своеобразие метафоры обуславливается полифункциональной сущностью языкового сознания: его *отражательная* функция определяет тип и характер связей между объектами создаваемой языковой картины мира, *оценочная* функция формирует ортологические (нормативные) и функционально-стилистические свойства возникающей метафоры, *селективная* функция ищет новому ассоциативно-образному содержанию (означаемому) наиболее подходящую языковую форму (означающее), *интерпретирующая* функция «обосновывает» внутреннюю форму метафорического слова, т.е. показывает, как представляется нашему языковому сознанию связь между его старой формой и новым содержанием. Более того, полифункциональность языкового сознания обуславливает полифункциональность метафорического слова (о функциях метафоры см.: Харченко В.К., 1992).

С точки зрения когнитивной науки «в новых метафорах меняются не значения слов, но скорее наши убеждения и чувства, касающиеся тех вещей, которые эти слова обозначают» (Миллер Дж. 1990: 279). Действительно, усвоенное со школы понимание метафоры как переноса названия с одного предмета на другой обычно заслоняет главное когнитивно-семиологическое положение: создание новых метафор отражает умение человека «мыслить так, чтобы создавать более живое напряжение» (Уилрайт Э. 1990: 108), отражает изменения в отношении людей к тому, о чем они думают и говорят. При этом меняется фокус мировосприятия. Наша речемыслительная энергия сосредоточивается не на том, «что вижу», а на том, «как я смотрю на ранее познанное». Метафора, таким образом, «заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что и влечет за собой прозрение» (Апресян В.Ю., 1993; Дэвидсон, 1990: 191—192; ср.: Lakoff G., 1993: 202—251).

«Прозрение» же наступает тогда, когда меняется исходное (или, лучше, привычное) отношение к предмету номинации. Стимулом к таким изменениям служит появление в нашем мировосприятии нового эмоционально-оценочного отношения к тому, что ранее было принято этнокультурой в качестве узувального соположения вещей. Благо наш предметно-чувственный опыт предоставляет нам

широкие возможности для метафорического переосмысления действительности.

Когнитивные механизмы порождения метафор в рамках одной и той же речемыслительной ситуации и приобретение ими статуса ключевых обуславливаются, как правило, этнокультурными предпочтениями (см.: Лакофф Дж. и Джонсон М. 1990: 402). Однако данная зависимость не является одновекторной и жестко детерминированной. В ее пределах предоставляются широкие возможности эвристическому мышлению творческого индивида создавать оригинальные метафорические модели. Благодаря этому рождаются художественные концепты, «оязыковление» которых связано с индивидуально-авторским словотворчеством и его основным продуктом — свежей речевой метафорой. Поэтическое мышление истинного художника слова, хотя и находится в энергетической зависимости от стереотипов своего этнокультурного сознания, всегда направлено на преодоление стереотипов и поиск нестандартных, а порой и неожиданных ассоциаций, закладывающих поэтические основания новой концептуальной метафоры. Напряжение ее поэтической энергетики тем сильнее, чем шире амплитуда ассоциативного маятника, чем невероятнее сходство сопоставляемых объектов.

Для когнитивно-семиологического описания механизмов порождения окказиональной метафоры особую актуальность приобретает открытый Н.С. Болотновой процесс «ассоциативного скольжения», «процесс непрерывности ...свободного ассоциативного развития, основанный на непрерывной “тропеизации” текстового пространства» (Болотнова Н.С., 2006: 188). По мнению Н.Г. Чекалиной, именно «смысловые трансформации образного слова позволяют включать их в контексты, смыслообразующим началом которых являются имплицитные связи образных слов». Благодаря им «происходит семантическое осложнение лирического текста», а сам текст «получает дополнительную поэтическую энергию, расширяет свой смысловой диапазон и подвергается образно-смысловой компрессии» (Н.Г. Чекалина).

Такого рода асимметрия обычно приводит к концептуальной метафоризации. Не случайно в когнитивной семантике метафора все чаще интерпретируется как средство разрешения речемыслительного противоречия между языковым значением слова и его

дискурсивно-смысловым содержанием. Речевая же метафора — результат разрешения конфликта между системным значением слова и его употреблением в речи. Средством разрешения конфликта как раз и выступает метафора — языковая, если типичная речевая ситуация предполагает использование узуального средства выражения стереотипного речевого смысла, и речевая, если неординарная речевая ситуация требует индивидуально-авторских средств репрезентации окказионального речевого смысла.

Такое разграничение сущности концептуальной и словесной метафоры весьма условно, поскольку в реальной речемыслительной деятельности оба типа метафор находятся в сложных речепорождающих отношениях. Особенно сложна их синергетика в тексте (с преобладанием словесной метафоры в художественном тексте и концептуальной — в научном). Именно здесь метафору действительно можно рассматривать как своеобразное порождение смыслового напряжения между текстом и подтекстом, темой и ремой, суппозициями (актуальным содержанием высказывания) и пресуппозициями (скрытым общим опытом, фондом общих знаний общающихся, их фоновыми знаниями).

Итак, метафора — уникальный когнитивно-лингвальный механизм познания сложнейших, нестандартных связей и взаимоотношений между вербализуемыми явлениями осмысливаемой действительности. Преимущество метафорического речемышления в том, что оно позволяет сложное интерпретировать через простое, абстрактное через конкретное. Метафора способна концептуализировать отдаленные от обыденного речевого мышления явления путем их ассоциативно-образного, порой неожиданного сближения с более знакомыми и близкими нашему чувственно-практическому опыту сущностями — фактами, предметами, событиями. В силу этого когнитивно-семиологическая синергетика создается когнитивными, речевыми, стилистическими и контекстуальными факторами речемыслительной деятельности человека.

Итак, когнитивно-семиологическая интерпретация метафоры позволяет заключить следующее:

1. Когнитивно-семиологическая синергетика создается когнитивными, речевыми, стилистическими и контекстуальными факторами речемыслительной деятельности человека.

2. По своей когнитивно-семиологической природе метафора — явление изначально не языковое, а когнитивное: у ее истоков лежит метафорический концепт.

3. Метафора — тот когнитивно-семиологический механизм, который позволяет нам воспринимать и понимать неопредмеченные (абстрактные) когнитивные образования и вводить их в соответствующий дискурс.

4. Метафорический язык является видимой частью айсберга — вербальной системой объективированных в языке концептуальных метафор.

5. Метафорический концепт возникает на базе неметафорической когнитивной структуры путем переноса устойчивого (регулярно повторяющегося) образно-схематического деривата предметно-чувственного опыта человека на вновь познаваемый объект (принципом инвариантности, по Лакоффу). Согласно когнитивно-семиологической теории метафора порождается не сходством соотносимых в речемышлении объектов, а их соответствием нашему предметно-чувственному опыту, поскольку эти объекты онтологически оказываются, как правило, разнопорядковыми сущностями.

6. Система узуальных концептуальных метафор локализуется на уровне подсознания (или на уровне обыденного языкового сознания), поэтому в речи актуализуется автоматически, спонтанно.

7. В поэтической речи метафора является индивидуально-авторской интерпретацией этноязыковой системы метафорического мышления (см. Lakoff, Turner, 1989).

3.2. Культурно-когнитивные модели возникновения «живого» слова

Метафора издревле притягивает внимание учёных. Обычно, начиная с Аристотеля, метафорическое слово рассматривалось в рамках риторики. Однако метафора — не только риторическое средство, но значимое когнитивно-семиологическое явление, что предполагает ее изучение в свете речемыслительной деятельности человека. «Метафора, — по словам Я. Парандовского, — настолько вошла в кровь и плоть языка, что если бы ее внезапно изъять, люди

перестали бы понимать друг друга» (1972: 157). Можно предположить, что это объясняется генетической природой метафоры. Ведь своим появлением когнитивная метафора обязана функциональной сущности человеческого сознания и особенностям мировосприятия. Как считает В.В. Петров, в основе метафоры лежит предположение о том, что «человеческие когнитивные структуры неразрывно связаны между собой в рамках одной общей задачи — осуществления процессов усвоения, переработки, трансформации знания, которые, соответственно, и определяют сущность человеческого разума» (Петров В.В., 1988: 41). Итак, истоки словесной метафоры и механизмы ее вхождения в дискурс, по данным современной когнитивной семантики, следует искать в специфике человеческого познания и восприятия мира.

3.2.1. Нейролингвальные механизмы формирования когнитивной метафоры

На довербальном этапе возникновения концептуальной метафоры основополагающую роль играют нейросемантические процессы, улавливающие не только эксплицируемые нашим сознанием, но и латентные, скрытые от внешнего восприятия, связи, казалось бы, несовместимых объектов. На вербальном уровне они репрезентируются словесными метафорами или фразеологическими единицами типа метафоры *ястреб* (о человеке) и фразеологизмов *гнать в три погибели* кого-то и *заморить червяка* (червячка). В древнерусской литературе уподоблением человека ястребу подчеркивались воля к победе, стремительность и смелость наших богатырей: *И препоясались оружием своим, и сели на коней своих, и помчались, как златокрылые ястребы, а кони под ними словно летели* (Девгениево деяние). Тот же метафорический смысл вкладывают в это слово и современные писатели-баллисты: *И сто бомбовозов воздушных / Тотчас же выходят в поход. / Сто ястребов вышли недаром / Из школы захватчиков старых Китченера и Родса — / Попробуй с ними бороться* (Н. Тихонов).

В русском фольклоре метафора *ястреб* служит символом молодца, равнозначном соколу (Адрианова-Перетц В.П., 1947): *Как доселева у нас, братцы, через темный лес / Не пропархивал тут,*

братцы, млад белой кречет. / Что не ястреб совыкался с перепелушкою, / Солюбился молодец с красной с девушкой. В фольклоре, как видим, *ястреб* ассоциируется с удалью молодца. Самые разные ястребиные свойства и признаки передаются производными: метафорой-прилагательным *ястребиный* и метафорой-сравнением *как у ястреба, ястребом, по-ястребиному*. Ср.: 1) *ястребиный* взгляд (взор), нос (носик), крик, профиль; *ястребиное* выражение лица; *по-ястребиному* смотреть и 2) глаза как у *ястреба*, нос, точно у *ястреба*, броситься *ястребом*, остро, *по-ястребиному*, смотреть.

Еще более значительное удаление лексемы *ястреб* от первичного смысла наблюдается в том случае, когда она употребляется в компонентном составе фразеологизма: *менять (променять) кукушку на ястреба* — 'из плохого выбирать худшее, ошибаться в расчетах'. Ср.: *Нелады между отцом и сыном (Акимом) начались уже давно, почти со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба* (отдав в солдаты Петра вместо Акима)... *Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный* (Л. Толстой. Хаджи Мурат). Означаемое и означающее лексемы *ястреб* в составе фразеологизма настолько подверглись асимметрическим сдвигам, что репрезентируемый ею когнитивный смысл традиционными средствами извлечь невозможно. Требуются такие методы, которые позволили бы эксплицировать ассоциативные связи между означаемым и означающим лексемы *ястреб*, скрытые в недрах семантической структуры фразеологизма.

Уровень имплицитности скрытого смысла зависит от степени идиоматизации фразеологизма, т.е. от степени его мотивированности / немотивированности. Ср.: *гнуть в три погибели* кого — 'жестоко эксплуатировать, тиранить' и *заморить червяка (червячка)* — 'перекусить, слегка утолить голод'. И тот и другой фразеологизмы в глубинах нашего языкового сознания надежно хранят тайну кодирования соответствующей когнитивной структуры. Однако причины появления концептуальных метафор, объективированных этими фразеологизмами, относятся к разным мыслительным основаниям — адгерентно и ингерентно ассоциативным.

Когнитивная метафора, породившая первый фразеологизм, основана на достоверных, предметно-чувственных фактах, имевших место в средневековой истории Руси. В ее основе лежит пред-

ставление об одной из страшных пыток того времени: при допросах на дыбе сгибали, ломали человеческое тело. Отсюда смыслы, представленные в семантической структуре фразеологизма: 'жестокость', 'тирания', 'погибель', порождаемые адгерентными ассоциациями.

Концептуальная метафора, давшая жизнь второму фразеологизму, связана с воображением человека, превратившимся в некий стереотип: ощущение голода связано с подсасыванием внутри желудка, напоминающим подтачивающие действия червячка; с другой стороны, сам желудок имеет червообразную форму. Наслоение этих стереотипных образов закрепило данную ингерентную ассоциацию за соответствующей референтной ситуацией — чувством голода — и породило смежное представление: для того, чтобы устрани́ть чувство голода, необходимо заморить червячка, т.е. слегка утолить голод. Такого рода когнитивно-семиологические парадоксы имеют логико-семантическое объяснение. Значения номинативных единиц языка, оформившиеся на базе когнитивных метафор и «вследствие когнитивно-семантических преобразований, оказываются безусловно истинными, что отличает их от безусловно ложных алогизмов — логико-стилистических ошибок» (Декатова К.И., 2005: 50). Этим концептуальные метафоры как продукты когнитивно-семиологической деятельности и как источник порождения словесных метафор и фразеологических единиц существенно отличаются «от паралогизмов и софизмов, которые при формальной правильности порождают безусловно ложные суждения» (Там же). Иными словами, логически несовместимое, благодаря действию концептуальной метафоры в слове или фразеологической единице, становится носителем истинного содержания. Это явление издавна называется в лингвистической семантике переосмыслением. Однако проникнуть в его сущность было для традиционной лингвистики задачей недосягаемой.

Причину следует, на наш взгляд, искать в том, что помимо сем, поддающихся анализу на уровне компонентного анализа структуры лексического значения слова, в коннотации слова можно выделить мельчайшие частицы смыслов паномасштабного характера. Наносмыслы заряжены очень мощной энергетикой, способной «вытолкнуть» данный смысл из глубинных пластов нашего подсознания и архепамяти. Мельчайшие смыслы-атомы находятся в посто-

янной диффузии, обладают способностью к сцеплению с другими, масштабно себе подобными, наносмыслами. Это ведет к трансформации смысловой структуры слова, к перераспределению в ней элементарных смыслов. Такие процессы напоминают химическую реакцию, результатом которой может стать «выброс» на поверхность нового / неожиданного смысла-символа.

3.2.2. От когнитивной метафоры — к «живому» слову

Долгое время в отечественном языкознании господствовало представление о метафоре как о декоративном средстве создания красочной, экспрессивно-образной речи, преимущественно поэтической. Обычное же речемышление якобы основано на прямономинативном принципе, на симметрии между порождаемым планом выражения и планом содержания. Иными словами, молчаливо принималось положение, что обыденный язык буквален, поскольку должен быть правдивым, обеспечивать в общении людей передачу истинного смысла. Такой подход к обыденному «живому» слову может быть оправдан лишь в одном случае, когда искусственная вычурность и «курчавость» слова не проясняют мысль, но делают речь бессмысленной. Против такого обращения с русским словом выступал, в частности, Н. Заболоцкий: *И возможно ли русское слово / Превратить в щебетанье щегла, / Чтобы смысла живая основа / Сквозь него прозвучать не могла?*

Вместе с тем сам поэт пишет «живым» языком, удачно используя в одном только четверостишье и скрытое сравнение (*русское слово — щебетанье щегла*), и метафору (*смысла живая основа, прозвучать не могла основа смысла*), и эпитет (*живая основа*).

Жаль, что долгое время оставались невостребованными наблюдения младограмматиков над «живым» языком, органично совмещающим в себе силу разума и эстетику речи. «Метафора, писал Г. Пауль, — это нечто такое, что с неизбежностью вытекает из природы человека и проявляется не только в языке, поэзии, но также — и даже прежде всего, — в обиходной речи народа, охотно прибегающей к образным выражениям и красочным эпитетам» (Пауль Г., 1960: 114). Это понимали и художники слова, и его исследователи. В XX веке появились глубокие исследования по метафорике русской

речи (А.И. Фёдоров, В.К. Харченко, Е.Ю. Мягкова и др.). Однако метафоричной, считалось, может быть только речь — обиходная и художественная. И только *речь!* Способ и характер *мышления* при этом оставались за рамками осмысления метафоры (ср.: Lakoff G. & Kovecses Z., 1987: 195).

Такого рода стереотипы ломает когнитивная семантика, где метафора как когнитивный феномен рассматривается наряду с метафорическим словом. В изучении метафоры ставятся иные акценты: от метафорического слова к метафорическому мышлению, поскольку «в метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа» (Арутюнова Н.Д., 1990: 6). Термином *метафора* прежде всего именуется **концептуальный сдвиг**, когда один объект осмысливается через призму другого. Так, свет луны в ночном небе С. Есенину напоминает отблески серебра, и через призму такого видения воспринимается весь обозримый мир:

Серебрится река.	Ночь. Вокруг тишина.
Серебрится ручей.	В природе все спит.
Серебрится трава	Своим блеском луна
Орошенных степей.	Все вокруг серебрит .

(«Ночь»)

Такого рода словесные метафоры отражают метафоры когнитивные. Поэтому доступ исследователя к когнитивной метафоре осуществляется через метафору словесную. Более того, исследование генетической связи метафоры словесной и метафоры когнитивной открывает новые возможности в понимании глубинных взаимоотношений языка и культуры. Эти перспективы связаны со следующими возможностями метафоры:

а) метафора представляет собой связующее звено в цепи постижения нового (незнакомое) через известное (знакомое), в продвижении мысли от очевидного к менее очевидному. Очевидное же всегда понятнее даже на подкорковом уровне, а конкретно потому, что приобретено благодаря зрению и осязанию предметной действительности (в силу восприятия и осмысления мира опытным путем);

б) метафора парадоксальна: когнитивная парадоксальность заключается в том, что сопоставляемые объекты всегда асимметричны — блеск луны во многих этнокультурах сравнивается с переливами серебра, но серебро не всегда луна;

в) несмотря на всю свою парадоксальность, метафора — более доступное нашему пониманию средство передачи информации, поскольку опирается не на абстрактные сущности, а на знакомые всем общающимся (или, по крайней мере, большинству из них) предметы, которые в данной этнокультуре имеют особое ценностно-смысловое содержание.

Находясь в центре лингвокультурологических исследований, словесная метафора все еще пребывает в рамках риторики и теории художественной речи. Предмет этот неисчерпаем и достоин многоаспектного изучения и в наше время. При этом важнейшей проблемой является поиск когнитивных истоков словесной метафоры и механизмов ее вхождения в дискурс. По данным современной когнитивной семантики, их следует искать в специфике человеческого познания и восприятия мира. Наиболее ранние и значительные успехи в разъяснении сущности когнитивной метафоры содержит «Поэтика» Аристотеля. В его трудах, как и в работах других древнегреческих мыслителей, метафора рассматривалась в качестве важнейшего элемента человеческого познания, но позже в результате распределения знаний по разным дисциплинам исследование словесной метафоры стало прерогативой языкознания.

В современной науке о языке метафора изучается лексикологией, поэтикой, прагматикой и когнитивной лингвистикой. Лингвокогнитивная теория исходит из того, что в основе метафоры лежат разные концептуальные структуры, связанные между собой общими когнитивными задачами усвоения, переработки и преобразования знания, которые определяют, в конечном счете, сущность метафорического мышления человека (ср.: Петров В.В., 1988).

В течение долгого времени не то чтобы исчез интерес к роли метафоры в познании, но концептуальный характер фигур речи не изучался системно, хотя о метафоре говорилось как об источнике любого современного слова. «Первобытные языки, как убедительно доказано новейшими филологическими разысканиями, были исполнены метафор, и это обуславливалось самою сущностью человеческо-

го слова. В эпоху своего создания, — утверждает А.Н. Афанасьев, — слово являлось не техническим обозначением известного понятия, а *живописующим, наглядным эпитетом*, выражающим ту или другую особенность видимого предмета и явления... Всякий предмет рисовался в его наиболее характерных свойствах или в самом действии — не как отвлеченная мысль, а как *живой образ*...» (Афанасьев А.Н., 1983: 3—4; выделено мной. — И.А.). Как ни странно, именно категориальные свойства метафоры уводили ученых от ее системного исследования. Причиной тому был, видимо, тот неоспоримый факт, что, по словам уже современного исследователя А. Ричардса, метафора способна увлечь в дебри, и именно «страх перед этими дебрями был, возможно, одной из причин отказа от ее изучения или ограничения исследований весьма поверхностными проблемами. Но мы не можем рассматривать даже эти поверхностные проблемы, пока не изучим породившие их глубины речевого взаимодействия» (Ричардс А., 1990: 45—46). Целенаправленное системное исследование когнитивных механизмов фигуральной речи начато только в последние четыре десятилетия (ср.: Turner M., 1995: 179).

В наше время наметился полномасштабный возврат к аристотелевской концепции метафоры как средства мировосприятия и миропонимания. Пожалуй, впервые термин *метафора* в широком когнитивном контексте применительно к изучению лингвокультурного пространства использовали Дж. Лакофф и М. Джонсон. Им принадлежит и теоретическое обоснование этого направления. В частности, ученые утверждают, что любые переносы языковых значений обуславливаются метафорическим мышлением человека, т.е. происходят по заданным когнитивными метафорами моделям.

Действительно, «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути <...> метафора не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами *процессы мышления* человека в значительной степени метафоричны» (Лакофф Д., Джонсон Дж., 1990: 387—389). Потому что метафора удобна для осмысления «далеких» друг от друга явлений, она позволяет сфокусировать в единой картине то, что не под силу обычному предметному мышлению. Ср.: *Наконец, лифт уехал*.

Ей казалось, что за сегодняшнее утро уже израсходован весь отпущенный ей запас той странной **душевной смеси, горячего восторга** пополам со **сладостной тоской**, которая — она была уверена — осталась навсегда в далеком детстве, в чем-то **каникулярно-новогодном, снежном, елочном, подарочном счастье...** (Д. Рубина). В этом небольшом дискурсивно-когнитивном фрагменте сфокусированы, казалось бы, несовместимые образы взрослой женщины и воспоминания ее далёкого детства. С одной стороны, душевный восторг и сладостная тоска, ассоциирующиеся с достаточно устойчивым представлением у взрослого человека о горячей смеси; с другой — детское ощущение счастья, опредмеченного новогодними каникулами, праздничной ёлкой с её неизменными атрибутами: снегом и подарками.

Метафоры, таким образом, способны преодолеть логически несовместимые вещи, ведь они «существуют как вполне обычный творческий процесс человеческого познания, который объединяет понятия, в норме не связанные, для более глубокого проникновения в суть дела» (МакКормак Э., 1990: 373). А значит, исследование метафоры связано с изучением различных психических процессов, в частности с анализом метальных репрезентаций.

Прежде всего исследование механизмов метафорической репрезентации когнитивных структур должно исходить из своеобразия моделирования концептосферы того или иного языка. По данным Дж. Лакоффа и М. Джонсона, концептосфера любого языка «структурируется вокруг небольшого набора приобретенных на основе непосредственного опыта (experiential) и имеющих собственные названия концептов. Эти приобретенные на основе непосредственного опыта концепты включают набор базовых пространственных отношений (например, вверх / вниз, спереди / сзади), набор физических онтологических концептов (например, entity, container) и набор базовых переживаний (experiences) / или действий (например, прием пищи, движение)» (Lakoff D., Johnson M., 1980). На этой основе предполагается, что все другие концепты не возникают непосредственно из физического опыта, но должны быть *метафорическими* по своей природе. Как структурными вехами концептосферы выступают базовые концепты, так и в лингвокультуре того или ино-

го народа имеются базовые когнитивные метафоры, определяющие своеобразие его менталитета.

Впервые базовые когнитивные метафоры для концептосферы английского языка были выделены Дж. Лакоффом и М. Джонсоном путем анализа их языковой репрезентации. И все же многие вопросы остаются нерешенными: как непротиворечиво выделить состав базовых концептов; чем объяснить их разный набор в разных культурах и языках; почему один и тот же концепт объективируется разными языковыми средствами и т.п. Изучив многочисленную литературу по метафоре, Е.Ю. Мягкова (2000: 123–128) сделала обобщение основных разрабатываемых ныне проблемных вопросов в зарубежной лингвистике: 1) какие ограничения накладываются на метафору (Turner M., 1993); 2) от чего зависит продуктивность концептуальных метафор; 3) какова роль метафоры в понимании языковых структур; 4) как осуществляется распознавание свойств и признаков, выражаемых концептуальной метафорой, при ее восприятии.

Продолжается поиск оптимальных методов экспериментального исследования метафорической объективации когнитивных структур. Для решения тех или иных задач предлагаются соответствующие классификации метафор: конкретизирующие, анимистические, синестетические, структурные, ориентационные, онтологические и др. (Ungerer F., Schmid H.-J. 1995: 117; Лакофф Дж., Джонсон М., 1990: 396 – 408).

В центре внимания когнитивно-семиологической теории, кроме вышепозванных, находится целый узел собственно лингвистических (ономасиологических и семасиологических), психологических, когнитивных и культурологических проблем, развязав который, можно существенно приблизиться к пониманию внутренней взаимосвязи когнитивной и словесной метафоры.

Мы исходим прежде всего из когнитивно-семиологических предпосылок, ориентирующих на понимание метафоры как когнитивного феномена, а не как украшающего речь орнамента. Она выступает средством создания нового смыслового содержания, «именно создает, а не выражает сходство» (Блэк М., 1990: 162). Такой подход позволит, как нам представляется, объяснить тайну формирования национально-культурного компонента метафоры, совмещающего в себе рациональное и эмоциональное.

Без сомнения, «в новых метафорах меняются не значения слов, но скорее наши убеждения и чувства, касающиеся тех вещей, которые эти слова обозначают» (Миллер Дж., 1990: 279). Действительно, усвоенное со школы понимание метафоры как переноса названия с одного предмета на другой обычно заслоняет главное когнитивно-семиологическое положение: создание новых метафор отражает умение человека «мыслить так, чтобы создавать более живое напряжение» (Уилрайт Э., 1990: 108), отражает изменения в отношении людей к тому, о чем они думают и говорят. При этом меняется фокус мировосприятия. Наша речемыслительная энергия сосредотачивается не на том, «что вижу», а на том, «как я смотрю на ранее познанное». Метафора, таким образом, «заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что и влечет за собой прозрение» (Дэвидсон 1990: 191–192). «Прозрение» же наступает тогда, когда меняется исходное (или, лучше, привычное) отношение к предмету номинации. Стимулом к таким изменениям служит появление в нашем мировосприятии нового эмоционально-оценочного отношения к тому, что ранее было принято этнокультурой в качестве узувального соположения вещей. Благо, наш предметно-чувственный опыт предоставляет нам широкие возможности для метафорического переосмысления действительности.

Когнитивные механизмы порождения метафор в рамках одной и той же речемыслительной ситуации и приобретение ими статуса ключевых обуславливается, как правило, этнокультурными предпочтениями (см.: Лакофф Дж., Джонсон М., 1990: 402). Однако данная зависимость не является одновекторной и жестко детерминированной. В ее пределах предоставляются широкие возможности эвристическому мышлению творческого индивида создавать оригинальные метафорические модели. Благодаря этому рождаются художественные концепты, «оязыковление» которых связано с индивидуально-авторским словотворчеством и его основным продуктом — свежей речевой метафорой. «К индивидуально-авторским, — пишет Н.С. Болотнова, — относятся оригинальные регулятивные средства, репрезентирующие концепты, и свойственные автору закономерности словесно-художественного структурирования текста: эстетически обусловленная образная трансформация лексических единиц; оригинальные новообразования разных типов; нео-

бычная текстовая парадигматика и синтагматика и т.п.» (Болотникова Н.С., 2005: 19). При этом средства репрезентации художественных концептов обуславливаются их типом. Согласно концепции автора, можно выделить следующие типы концептов:

- концепты-локативы («Змейка») и ключевые («Любовь»);
- словесные: *Он убеждал себя, что хитроумные взрывные устройства, над которыми он колдует в своей тихой кладовке, надо иногда испытывать. А как же иначе!* (П.В. Дашкова);
- сверхсловные и текстовые: *Ксения Анатольевна никак не могла заплакать. Слез не было. Она знала, от слез сразу станет легче. Так было, когда умер муж. Слезы лились ручьями, что бы она ни делала. Казалось, она выплакала все глаза. Но и горе выплескивалось из души вместе со слезами* (П.В. Дашкова);
- узуальные («Голубь» — символ мира) и окказиональные: *Гигантская, идеальной формы и красоты радуга одной ногой стояла в ущелье, а другой ступала куда-то вдаль, за Иорданские горы. И в леденцовом витраже ее венецианского окна сквозили колокольня «Елеонской обители» и башня университета на Скопусе* (Рубина Д.) и др.

Действительно, хотя поэтическое мышление истинного художника слова и находится в энергетической зависимости от стереотипов этнокультурного сознания, оно всегда направлено на преодоление этих стереотипов и поиск нестандартных, а порой и неожиданных ассоциаций, закладывающих поэтические основания для рождения новой концептуальной метафоры. В одном из фрагментов романа Ю. Полякова повествуется, как из Сибири Арнольд привозит настойку на рогах марала — крупного сибирского и среднеазиатского оленя с огромными рогами. Поскольку крепкий алкогольный напиток нередко провоцирует аморальные помыслы (об этом в текстовой пропозиции замечание автора: *Витек проводил ее (девушку) жадным глазом*), один из героев романа тут же называет его амораловкой. Ср.: *Окатив нас взглядом, исполненным женского презрения, она отошла от столика, и Витек проводил ее жадным глазом. Некоторое время мы сидели молча, стараясь не смотреть друг на друга, а потом Арнольд, крикнув, полез в рюкзак и выставил на стол литровую бутылку из-под венгерского вермута, наполненную жид-*

костью, по цвету напоминающей отработанное моторное масло. — Это та самая «мараловка»? — уточнил я. — «Амораловка», — поправил Арнольд, разливая по рюмкам — себе чуть-чуть, нам со Стасом побольше, а Витку — граммов сто. — Тебе до краев. Ты молодой, у тебя еще вся печень впереди! (Ю. Поляков). С одной стороны, случайное звуковое совпадение слов (мараловка и амораловка), а с другой, — ассоциация по модели «выпивка и её последствия». Причём напряжение поэтической энергетики новой концептуальной метафоры тем сильнее, чем шире амплитуда ассоциативного маятника, чем невероятнее сходство сопоставляемых объектов.

Учитывая узуальные и субъективные факторы метафоризации, Лакофф и Джонсон практически указали на когнитивные истоки контекстуальных и сленговых метафор. Несмотря на то, пишут авторы, что выбор конкретных оснований метафоры среди множества возможных «должен согласовываться с общим культурным фоном», «отдельные люди и социальные группы отличаются своими системами приоритетов и теми способами, которыми они осмысливают то, что для них хорошо или добродетельно» (Лакофф Дж., Джонсон М., 1990: 406). В связи с этим крайне перспективными являются исследования метафоры в идиолекте и идиостиле, поскольку они открывают новые грани в осмыслении этнокультурной специфики концептов и национально-культурного своеобразия в механизме их вербализации.

Существующий исследовательский опыт убеждает в необходимости применения к исследованию метафоры двуединого подхода: и с позиций лингвистики, и со стороны когнитивной науки. Дело в том, что, хотя метафора изначально и представляет собой когнитивный феномен, доступ к метафорам, которые структурируют наш образ мышления, мы имеем только через используемый нами язык. Это, разумеется, предполагает лингвистическое участие в исследовании когнитивной метафоры. Как уже отмечалось, метафора находилась в лоне лингвистики не одно столетие. Однако собственно лингвистическое изучение метафоры было всегда несколько односторонним, поскольку в метафоричности было отказано тем языковым явлениям, которые не укладывались в «прокрустово ложе» традиционной теории словесной метафоры. В связи с этим многие метафорические явления нестандартного характера оказывались за рамками лингвокогнитивного осмысления.

Не менее важным тезисом стало предположение, что метафорическое мышление не обязательно является этнокультурным (Контримович А.А. 2005: 209–216). Более того, по данным исследований Н.Д. Арутюновой, когнитивная метафора — лингвокогнитивная универсалия; ключ к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-специфического видения мира, но и его универсального образа» (Арутюнова Н.Д., 1990: 6).

Для когнитивно-семиологической теории метафоры крайне важно различать речевые и внеречевые смыслы. Если речевой смысл — это референтное значение слова или, точнее, речевой ракурс системного значения лексемы, то внеречевой смысл — это невербализованная часть смыслового содержания концепта; тот фрагмент концептуальной информации, которая хотя и не получила отдельного знакообозначения, служит потенциальным источником формирования как новых ЛСВ, так и самостоятельных языковых значений.

Речевые смыслы — продукты контекстуальной, а внеречевые — феномены когнитивной семантики. Дело в том, что системные значения слов в разных условиях их реализации могут вступать в противоречия и с речевым, и с когнитивным смыслом. Противопоставленность смыслов ощущается при восприятии скрытой антитезы в тексте романа Ю. Полякова. Ср.: *Иногда с вставал, подходил к пишущей машинке, постыдно износившейся от многолетней моей литературной халтуры, тыкал в какую-нибудь букву и испытывал отчетливое желание расколотить эту клавишную шмару о стену моего кабинета, служившего одновременно спальней, столовой и гостиной. **Муки творческого бесплодия** дополнялись еще и тем, что денег — а я держу их в прикроватной тумбочке — становилось все меньше и меньше* (Ю. Поляков). Смысл речевой метафоры *муки творческого бесплодия* вступает в латентное противоречие с известными метафорами *муки творчества* и *муки слова*, которые одновременно противоречат когнитивному смыслу всего текстового фрагмента. Это смысловое противоречие усиливается когнитивными метафорами дискурсивного характера: *многолетняя литературная халтура, постыдно износившаяся литературная халтура и клавишная шмара*.

Действительно, в разных дискурсивных ситуациях узуальные значения слов и экстралингвистические смыслы, лексическое значение и смысловое содержание нового концепта (или его иная

смысловая ипостась) могут оказаться между собой в асимметрических отношениях.

Асимметрию между значением и экстралингвистическим смыслом обуславливает прежде всего изменение дискурсивного пространства слова. Например, слово *понт*, предположительно, пришло в молодежный сленг из жаргона воровского, где оно означало 'жертву шулера или отвлечение внимания жертвы во время воровства'. В воровской же жаргон слово *понт* пришло, вероятно, из латинского языка: *pons* — 'мост'. И уж совсем неожиданным в этой связи кажется родство с ним слова *понтифик*. Однако тому есть своё объяснение. В старину в Риме мост был о ч е н ь в а ж н ы м объектом. Как отмечено в энциклопедии Брокгауза и Эфрона, наблюдать за ремонтом и постройкой каждого нового свайного моста в Риме вменялось в обязанность жрецов, понтификов. Таким образом, изначально слово *понт* действительно было связано с выполнением высокой миссии, с высоким стилем речи. Отсюда основной коннотативный смысл этого слова: *понт* — «нечто важное». Однако при переходе в жаргон подлинное превосходство превратилось в ложное. Не менее достоверной представляется нам и вторая версия, согласно которой глагольные фраземы с компонентом *понт* восходят к греческому слову *понт*. Достаточно вспомнить античное название Чёрного моря — *Понт Эвксинский* (букв. 'Море Гостеприимное'). Теперь становится прозрачным первичный смысл глагола *понтиться* — 'быть моряком' и глагольной фраземы *брать на понт* — 'испытывать кого-л. в морском деле'.

Смысловой сдвиг нового концепта по отношению к производящему провоцируется новыми дискурсивно-прагматическими ситуациями. Ср.: 1) *Понт повышает статус человека в обществе, переводит его в более крутую социальную группу. Беспонтовость же этот статус, наоборот, понижает. Для того чтобы обломать понт, нужно сделать так, чтобы он превратился в беспонтовость. Тебе в этом может помочь тупость самого понтовщика* («Взгляд»); 2) *Бригаду свою Сквозняк набирал не из блатных, которых презирал за страсть к пустому понтырству, водке и «дури». Он решил сбить совсем маленькую, мобильную бригаду из здорового, крепкого молодняка, чтобы были жадные, горячие, а уж выдрессировать их, сделать послушными своей железной воле он сумеет* (П.В. Дашкова).

Ср.: *понт* — 'вызывающее, самоуверенное повеление, внешний вид'; *понтырство* — 'бравата, показная удаль', *брать на понт* кого (неодобр.) — 'действовать по отношению к кому-л. обманом, хитростью'; *понты корявые* (неодобр.) — 'высокомерный, важничающий человек'; *понтоваться* — 'оригинальничать, стремиться обратить на себя внимание'; *понтыра* — 'взор, вымысел, слухи'; *понтыришник* — 'шутник, оригинал' (см.: Никитина Т.Г., 1998: 339–340).

Такого рода смысловая удалённость производного слова от производящего обычно сопровождается концептуальной метафоризацией. Не случайно в когнитивной семантике метафора все чаще интерпретируется как средство разрешения речемыслительного противоречия между языковым значением слова и его дискурсивно-смысловым содержанием. Речевая же метафора — результат разрешения конфликта между системным значением слова и его употреблением в речи. Средством разрешения конфликта как раз и выступает метафора — языковая, если типичная речевая ситуация предполагает использование узувального средства выражения стереотипного речевого смысла, и речевая, если неординарная речевая ситуация требует индивидуально-авторских средств репрезентации окказионального речевого смысла.

Такое разграничение сущности концептуальной и словесной метафоры весьма условно, поскольку в реальной речемыслительной деятельности оба типа метафор находятся в сложных речепорождающих отношениях. Особенно сложна их синергетика в тексте (с преобладанием словесной метафоры в художественном тексте и концептуальной — в научном). Именно здесь метафору действительно можно рассматривать как своеобразное порождение смыслового напряжения между текстом и подтекстом, темой и ремой, суппозициями (актуальным содержанием высказывания) и пресуппозициями (скрытым общим опытом, фондом общих знаний общающихся, их фоновыми знаниями).

3.3. Типы когнитивной метафоры в эволюционной истории «живого» слова

Когнитивная метафора предназначена для выражения тех объектов, которые неявно существуют в чувственно-предметном вза-

имодействии человека с реальной действительностью. Благодаря когнитивной метафоре скрытые предметы мысли включаются в сферу речемыслительной деятельности наряду с объектами предметно-чувственного мира (см.: Ортега-и-Гассет Х., 1990: 71). В этом отношении когнитивная метафора служит важнейшим средством познания: она применима там, где другие способы когниции оказываются малоэффективными.

Однако несмотря на её несомненные достоинства, она долгое время оставалась в тени своей более востребованной «родственницы» — метафоры словесной. Более того, брошенная тень вызвала некоторое предубеждение: сторонники строго логического речемышления её избегали за неоднозначность номинации, отсутствие чёткого системного значения, размытость смыслового содержания. В связи с этим достаточно длительное время метафоре отводили лишь чисто декоративную, украшающую роль. Иными словами, за метафорой словесной долго не могли распознать метафору когнитивную. Так, например, Г. Фреге в свое время отмечал, что в предложениях, с помощью которых организуется межчеловеческое общение, всегда присутствует некая часть, которая относится к эмоциональному воздействию говорящего на тех, к кому он адресуется. Так вот эту-то часть он считал существенной для поэзии, но не важной для точной передачи того, что он называл «мыслью». С его точки зрения, слова *лошадь*, *конь*, *лошадка*, *кляча* и т.д. указывают на один и тот же денотат, и употребление любого из них вместо другого не должно порождать различия в мысли (Фреге Г., 1987: 26). Для Фреге такое суждение объяснимо: учёный-логик не различал денотативную отнесённость «живого» слова, его лексическое значение и смысл. Но, что удивительно, сходную позицию занимали и лингвисты: метафора рассматривалась ими как маргинальное (необязательное) дополнение к точным формам языкового общения. Отсюда следовала рекомендация избавляться от метафоры там, где необходимо полное взаимопонимание. При этом упускалось из вида главное достоинство метафоры: способность проникать в те сферы речемышления, которые оказываются закрытыми для строгой логики.

Согласно когнитивно-семиологической теории «живого» слова, считать метафорические выражения неким маргинальным способом объективации признаков и свойств окружающего мира, устранять

их из сферы живого общения и мыслительной деятельности — значит существенно упрощать, огрублять реальный характер взаимодействия людей, опосредствуемого их языковым общением.

Это стали понимать не только лингвисты, имеющие дело с «живой» речью (текстами), но и философы, психологи, культурологи. По данным С.С. Гусева, «современные подходы к анализу метафоры показывают ее глубинную укорененность в самых различных уровнях межчеловеческого общения. Присутствует она даже в специализированных языках научного познания» (Гусев С.С., 1984: 37). Это положение аргументированно развёрнуто в докторской диссертации С.В. Ракитиной, исследовавшей дискурсивное пространство В.И. Вернадского. Стало понятно, что чем полнее учёный осознаёт характер своей деятельности, тем в большей степени обнаруживается метафорическая основа большинства его фундаментальных концепций. Можно считать доказанным, что метафора нужна на том этапе познания, когда ещё нет оснований однозначно определить категориальную принадлежность познаваемого объекта, когда невозможно установить, к какой сфере концептосферы принадлежит та или иная деталь, тот или иной признак, входящий в описываемый и именуемый концепт. А коль средства прямой номинации в этом беспомощны, решение подобного вопроса чаще всего носит контекстуально-метафорический характер. Метафора нужна тогда, когда возникают реальные трудности в номинации чего-то «ещё не ставшего», не определившегося полностью, находящегося в процессе становления, оформления.

Всё сказанное здесь вынуждает нас усомниться в самодостаточности весьма распространенного (идущего от Аристотеля) взгляда на метафору как на средство выявления подобий различающихся объектов. Это явно односторонний подход. Даже У. Эко, видимо, отдавая дань традиции, пишет о том, что метафора называет предмет «с помощью другого предмета с целью выявления скрытого сходства» (Эко У., 1998: 101). Материалы нашего исследования показывают, что традиционное понимание метафоры как «переноса имени с одного объекта на другой», словесного именованья результатов взаимного уподобления сопоставляемых предметов мысли можно считать справедливым лишь по отношению к отдельным (далеко не самым востребованным в речемышлении) дискурсам, в которых

рождается и функционирует метафора. На ограниченность традиционного толкования метафоры указывает и этимология термина. *Фора* по-гречески — не только 'перенесение', но и 'множество', 'производство плодов' и пр. А префикс *мета* — указание на положение 'над', 'вне' того, о чем идет речь. Даже если ориентироваться на то значение, которое обычно принимается во внимание исследователями метафор (т.е. на значение 'переносить'), всё равно необходимо сместить акцент: под метафорой следует понимать выражение некой внешней позиции по отношению к самому акту переноса. При таком подходе этимологическое значение слова *метафора* нужно сформулировать как нечто 'находящееся над процессом переноса', 'вне его', и тогда семантической спецификой любой метафоры будет служить указание на протекающий процесс, представление в явном виде его начальной и завершающей фаз.

Данному заключению не противоречит и второе значение слова *фора* — 'множество', отражающее когнитивный аспект метафоры. Если под ней понимать особую речемыслительную структуру, то второе значение этого слова указывает на множество смысловых граней того внеязыкового содержания, которое объективируется метафорой.

Метафора представляет некий предмет мысли двояко: как уже совершившийся факт и как факт, который совершится в будущем. В этом следует усматривать истинное предназначение (функцию) метафоры. Если принять такую точку зрения, то несминувым станет «крамольное» для традиционной теории метафоры следствие: когнитивная сущность метафоры определяется не сходством сопоставляемых объектов, а их различием.

Опираясь на дискурсивную модель подобия, метафора побуждает говорящих осознавать всю условность такого тождества и обращать внимание на «скрытые», «неявные» возможности представления явлений и предметов, с которыми человек сталкивается в своей жизни. Иными словами, метафора устремлена в возможные миры. Кстати, почему-то в литературе умалчивается, что и сам Аристотель видел в метафорах средство описания не того, что было и есть, а того, «что могло бы быть, будучи возможным в силу вероятности или необходимости» (Аристотель, 1978: 126). И только через многие века современным исследователям удалось разглядеть

в метафоре скрытые потенциальные значения, связанные с какими-то другими мирами, не входящими в непосредственное окружение человека. (См.: Рикер П., 1998: 119; Степанов Ю.С., 1985: 229).

Итак, метафора в качестве когнитивного образования выступает средством выражения объектов «возможных миров», иначе сложно проникнуть в её глубинную сущность. С.С. Гусев с позиции современной философии показывает, что коллективная деятельность людей порождает одновременно а) и ощущение их оторванности друг от друга (в силу растущей специализации «социальных ролей»), и б) стремление к «восстановлению утраченного единства». Достижение такого восстановления обычно осознается как характеристика «возможного будущего», которое должно обладать определёнными чертами общества сегодняшнего (быть именно объединением людей) и в то же время качественно от него отличаться. Человек, группа людей в таком объединении должны ощущать наличие индивидуальных границ своего вхождения в коллектив.

В этом смысле характерен растущий интерес к метафоре. Ведь на самом деле каждый индивид не столько стремится стать «одним из всех» и даже к тому, чтобы в других увидеть свое подобие (или превратить этих других в такое подобие), сколько к тому, чтобы полнее понять *собственное своеобразие*. Сталкиваемые в метафорическом контексте объекты обнаруживают при сопоставлении прежде всего то, что делает каждый из них уникальным. Хотя «живые» слова возникают для закрепления социокультурного единства, они всё же не лишены и обратной стороны — в них актуализируются те элементы (свойства, признаки), из которых соответствующее единство состоит.

Обратимся к излюбленному примеру М.М. Бахтина — карнавальной маске. С этим образом связано происхождение многих «живых» сочетаний слов. На первый взгляд предназначение карнавальной маски — скрыть различия отдельных людей, превратить множество разных людей в некое единое целое, в котором каждый индивид уподоблен другому, уравнен с любым другим. Однако у маски есть и другая задача — подчеркнуть своеобразие отдельного человека в толпе. М.М. Бахтин обратил внимание на ещё одну особенность маски: её коннотационное значение — тайна (Бахтин М., 1965). Однако тайна не столько скрывает, сколько требует раскры-

тия того, что спрятано, укрыто. «Железная маска» или опереточный «мистер Икс» — оба привлекают внимание именно сокрытием своих лиц. Например: 1) *Железная маска* — таинственный узник времени Людовика XIV. Первые сведения о нем появились в «*Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Perse*», по которым *Железная маска* есть герцог Вермандуа, незаконный сын Людовика XIV и 2-жи Лавальер, давший пощечину своему сводному брату, дофину, и искупивший эту вину вечным заключением (Программа спектакля); 2) Даже самый положительный герой может занервничать, а уж у злодея и подавно нет другого выхода, как начать плести интриги. Орудием мести должен стать молодой скрипач *Мистер Икс*, у которого свои претензии к Теодоре — по ее вине он лишен наследства. К счастью, Теодора так обворожительна, а *Мистер Икс* так благороден, что любовь между ними неизбежна. Как правило, это делают очень чувствительные люди (Программа оперетты).

В данных примерах «Железная маска» и «Мистер Икс» употреблены в тех первичных значениях, которые были за ними закреплены авторами художественных текстов. Такого рода знаки выделяют, отмечают соответствующие предметы мысли. Однако со временем эти знаки стали использоваться во вторичных значениях, при которых первичное значение выступает обязательным пресуппозитивным фоном.

Такое соединение различных значений в одну смысловую структуру (а реальные формы социальной коммуникации обязательно используют подобного рода соединения) делает значение любого сообщения «внутренним», косвенным, неявным, а само высказывание — носителем тех коннотаций, которые связаны с этими знаками. Ср.: 1) — *Господин Вольтер, не могли бы вы дать кое-какие разъяснения? — Разумеется, господа! — Кто это был — человек в железной маске? — Я никогда не говорил, что маска была железная, хотя мои заметки на эту тему породили ту легенду, о которой вы говорите. Извольте правду: маска была серая, цвета как бы металлического, что я и упомянул. Я вовсе не утверждал, что она — железная. — И всё же кто скрывался под ней? — Об этом мы можем только гадать* (Лит. обозрение).

Коннотативный смысл усиливается, если метафорическое словосочетание утрачивает связь с исторической легендой и упо-

требуется с глаголами *надевать* или *снимать*: 1) Вообще, человек **надевает на себя маску** неприступности, равнодушия, или создает субличность, которой все равно, когда на самом деле ему не все равно, когда малейшее событие, которое идет не согласно намеченному им плану, причиняет ему психологическую боль. И тогда, чтобы не испытывать эту боль, он создает искусственную субличность, которой все равно, надевает маску неприступности и равнодушия. Но на самом деле ему не все равно. (АиФ); 2) Можно в Тонком Мире **надеть** любую **маску**, любое обличье, так что даже близкий друг, рядом стоящий, не узнает, кто находится около. Можно, ярко думая о желаемом облике, облечься в его форму. Можно предстать в виде рыцаря, кочевника, воина, грека, римлянина, словом, войти в любую созданную воображением форму. Можно улучшить и облагородить свой внешний вид и можно ухудшить его (Новая газета); 3) Хорошо, если человек сильный духом и может **снять эту маску**. А это очень больно — **снять с себя маску**, признать, что за внешним благополучием стоит жизненный проигрыш (Н. Дека. Золотой Рог. № 99. 2006).

В приведенных контекстах фразема достаточно отчетливо сохраняет свою этимологическую связь с первичным контекстом, поскольку характеризует человека. Более абстрактный смысл ей придает отнесённость с неодушевлённым объектом: *Вечер снял маску с полудня, / В серость окрасив улицы, / Снова невзрачные будни / Тучами неба хмурятся* (А. Тютин).

Подобная закономерность наблюдается и в употреблении метафоры **Мистер Икс**. Ср. метафору, характеризующую человека (1), животного (2) и мероприятие (3): 1) *Гениальный Мистер Икс. Трудно в России быть немцем. Еще труднее быть талантливым немцем. Все эти свойства были у Николая Эрדмана в полной мере. Шаламовская истина, что лагерный опыт, весь и всегда только отрицательный и дать ничего не может, тогда еще не была открыта. Эрдман вернулся из ссылки в ссылку. Даже в хрущевскую оттепель он оставался Мистером Икс* (К. Кедров. Новая газета); 2) *В противоположность Контики, наш хорек — Мистер Икс — существо в высшей степени недоверчивое и угрюмое. Целые дни лежит в своем домике, зарывшись в сено. Изредка, когда никого чужих нет поблизости, высунется, перебросит свое длинное гибкое тельце через порог*

домика и, крадучись, пробежит через вольеру. Но только заслышит чьи-нибудь шаги, молниеносно ныряет назад в свое логово и затаивается, сердито посверкивая черными бусинками глаз. Он светло-палевый; брюшко, лапки и хвост — темно-бурые, а на мордочке — словно черная полумаска надета. Оттого и назвали мы его **Мистер Икс**. (Е.А. Крутовская); 3) В своем доме на тихой улочке Ригачина умело хозяйничает Владимир Праслов — оператор хлораторных установок городских очистных сооружений. Владимира любят и ценят друзья, которые от души порадовались его победе на весеннем городском конкурсе авторской песни **«Мистер икс»** (Коммерсантъ).

Итак, метафорическое «живое» слово амбивалентно: одновременно соотносится с двумя денотатами таким образом, что один из элементов первого денотата используется для экспликации другого. При этом денотативные поля обоих денотатов приобретают предметно-чувственную рельефность, детали которой при обычном речемыслении остаются недоступными для восприятия.

Если использовать вне контекста такие «живые» метафорические выражения, как **«Витёк — Буратино»** и **«Витёк — полено»**, то этим можно лишь подчеркнуть иллюзорность первичных значений предикатных слов (*Буратино, полено*). Действительно, приведённые слова-предикаты не употребляются в качестве названий человека. Ни одно из них не указывает ни на одного живого реального человека. Их значением являются **отношения между словами**, выражающими определенные образы или концепты, существующие только в мысленной сфере людей — носителей определенной культуры. В наших примерах и Ю. Поляков (автор романа «Козлёнок в молоке»), и читатели относятся к той европейской культуре, в которой хорошо известны образы *Буратино* и *полена* из сказки А.Н. Толстого «Приключение Буратино, или Золотой ключик»: Папа Карло, как известно, вытесал Буратино из полена. Понятно, что юные читатели (слушатели) сказки, воспринимают слова *Буратино* и *полено* существенно иначе, нежели читатели романа Ю. Полякова: 1) *На следующий день Витёк снова не позвонил. И хотя, конечно, я мог узнать у Одуева телефон Стеллы и выяснить, в чем дело, но решил тоже выдержать характер. Ишь ты, какой обидчивый Буратино выискался! Характер показывает. Да если я захочу — завтра о нем все забудут, как и не знали! Но все-таки без Витька мне было то-*

скливо и одиноко. Я даже зачем-то набрал номер Анки, но услышал только унылые длинные гудки (Ю. Поляков); 2) Да, пожалуй, именно так! А Витёк? Витёк был простым **поленом**, валявшимся под забором, и я вырезал из него смешного говорящего человечка. Говорящего то, что прикажу (Ю. Поляков).

Одни и те же слова (*Буратино* и *полено*) в когнитивно-дискурсивных ситуациях выражают совершенно разные отношения. Метафорическое слово побуждает читателей искать эти различия. В романе идёт речь о споре двух писателей: один заявляет другому, что в течение некоторого времени сможет из достаточно безграмотного паренька (Витька) сделать известного писателя. В этом им помогает тот факт, что прямыми значениями метафорических выражений являются известные из сказки образы, а метафоры, их обозначающие, превратились со временем в символы: *полено* — символ материала, из которого изготовлено некое существо, а *Буратино* — символ собственноручно изготовленного артефакта. Всё это позволяет читателю понять скрытый смысл метафоры: Витёк потому Буратино, что его писательскую известность «собственными» руками, точнее — усилиями, собственным вымыслом, «изваял» герой романа. Во втором предложении тот же Витёк назван поленом, во-первых, потому, что в сказке Буратино вытесан из куска расколотого бревна, а во-вторых, потому, что слово *полено* в «живом» разговорно-бранном стиле служит языковой (устойчивой, часто употребляемой) метафорой со значением 'тупой, неотёсанный человек'. В этих значениях оба предиката полностью соответствуют тому образу и характеру Витька, который был выписан писателем на предыдущих страницах романа.

Разумеется, не всякая метафора непременно подразумевает обращение к общекультурным смыслам, определяющим социальное обусловленное отношение к ним всего этноязыкового коллектива. И всё же, являясь определенным лингво-когнитивным образованием, обеспечивающим реализацию различных речевых актов, из которых складываются процессы общественной коммуникации, именно такая «живая» метафора всегда служит средством репрезентации символа в определённом пространстве этнокультурного сознания. Этому способствует и использование «живых» метафор, позволяющее не только раскрыть содержание предметной об-

ласти, обозначаемой посредством данного знака (Витёк — *полено*, Витёк — *Буратино*), но и явно выразить цель указания на эту область. Кроме того, что немаловажно для художественного дискурса, семантика «живой» метафоры включает в себя оценочный аспект. Называя Витька Буратино и поленом, герой романа выражает тем самым своё оценочное отношение к нему: он сердится на него за то, что тот исчез, проявив дерзкую самостоятельность и непослушание, но добрый и смешной образ Буратино всё это окрашивает в тёплую, совсем не агрессивную смысловую тональность.

Одно дело, скажем, когда для характеристики парня используется метафора: «он — чурбан», и совсем другое, если его называют «Буратино». Каждая из таких метафор позволяет достаточно определенно судить об отношении говорящего к тем объектам, на которые они указывают. Однако не всегда, используя в своем общении метафоры, говорящие ориентируются не столько на особенности самих объектов, становящихся предметами обсуждения, сколько на своё оценочное отношение к ним. И всё же налицо закономерность: *если первичное значение «живого» слова связано с областью предметных референтов, то их вторичное значение содержит информацию о способе восприятия человеком отдельных элементов предмета мысли, оценку их значимости, возможности их использования и т.д.*

В связи с тем, что именно оценочный аспект играет ведущую роль во взаимодействии человека с окружающей действительностью, широкое распространение в различных типах языка метафорических выражений приводит постепенно к тому, что сама непосредственно существующая реальность всё больше вытесняется из светлого сознания людей, замещаясь знаковыми средствами, которые создавались для ее обозначения. Собственно, это обычно происходит с метафорическими выражениями, подвергающимися идиоматизации. Ср. фразему *проливать бальзам*, возникшую по метафорической модели и утратившую в романе Т. Толстой «Кысь» непосредственную связь с породившей её реальностью: *Глядишь, говорит, через тыщу-другую лет вы, наконец, вступите на цивилизованный путь развития, язви вас в душу, свет знания развеет беспробудную тьму вашего невежества, о народ жестоковыйный, и бальзам просвещения прольется на заскорузлые ваши нравы, пути*

и привычки (Т. Толстая). Такому отчуждению способствует скрытая буквализация фраземы путём включения в её структуру слов-распространителей: *бальзам просвещения*, который **прольётся** на *заскорузлые ваши нравы, пути и привычки*. Фразеологизации выражения способствует употребление слова *бальзам* в его символическом значении — 'целительное средство' (ср. первичное его значение — 'содержащееся в корне некоторых деревьев густое ароматическое вещество').

В качестве вербального способа репрезентации символов метафорические образы явственно выражают для всех носителей данной культуры основные ценностные установки и ориентации общества. В связи с этим метафора обладает способностью влиять практически на все виды человеческой деятельности. Дело в том, что несмотря на свою образную сущность, они служат механизмом возникновения многих известных понятийных схем. С их помощью обычно создаётся вполне реальная картина мира, а также выстраивается взаимодействие человека с окружающей действительностью, обусловливается поведение людей в разных когнитивно-дискурсивных ситуациях. Дж. Лакофф и М. Джонсон назвали это свойство метафор их **регулятивной функцией**. «Наши понятия, — писали учёные, — упорядочивают воспринимаемую нами реальность, способы нашего поведения в мире и наши контакты с людьми» (Лакофф Дж., Джонсон М., 1990: 387). Согласно их концепции, метафорические слова не только выражают ценностно-смысловое отношение говорящего к действительности, но и задают определённое видение среды его обитания.

Так, употребляя слово *колдовать* по отношению к определённой деятельности человека, мы оказываемся в предопределённом нашей культурой мире устойчивых представлений, согласно которым это слово может иметь нестандартный смысл: не только 'заниматься колдовством, использовать магические приёмы воздействия на силы природы и на других людей', но и 'углубившись в какое-нибудь дело, заниматься им со значительным видом и сосредоточенно'. Ср.: *Он убеждал себя, что хитроумные взрывные устройства, над которыми он колдует в своей тихой кладовке, надо иногда испытывать. А как же иначе?* (Дашкова П.В.). Подмена этого слова другой метафорой лишило бы говорящего воздействия на своё поведе-

ние и поведение окружающих тех коннотаций, которые связаны с представлениями о вдохновении, сосредоточенности и творческом состоянии души.

Вместе с тем для метафоры характерно ограничение, усечение возможных способов репрезентации смыслового содержания, поскольку задавая одно дискурсивное пространство, метафора представляет другое. Такого рода свойство имеет свой когнитивно-дискурсивный смысл, так как образует нечто напоминающее цепную реакцию: выбрав один элемент метафорического описания действительности, человек неизбежно вынужден действовать избирательно — отбрасывать те, которые не соотносятся с употребляемой метафорой. На это фундаментальное свойство метафоры указывают и некоторые современные когнитивные психологи (Б.М. Величковский, Е.С. Гусев и др.).

Данное свойство метафоры обусловлено её способностью к взаимному индуцированию. Это означает, что метафоры в нашем языковом сознании хранятся в виде системного «пучка». Американские исследователи выделяют в нём несколько концептуальных областей. В условиях конкретного словоупотребления каждая из этих концептуальных областей задаёт свой «системообразующий» признак: область «ориентационных» метафор, онтологическую область метафоры-«вместилища». Ср. метафорические значения глагольной метафоры **развести** что: 1) *Из-за пустяков **развёл** целую философию* (Новая газета); 2) *Иногда кажется, что наше общество живет сегодня по принципу «сам ворует — не мешай другим». Того гаишника **разведут** на взятку в больнице, а больничного врача — в домоуправлении при получении справки. Потом всех вместе — в каком-нибудь пенсионном фонде и т.д.* (П. Чухрай. ЛиФ). В первом сказывании **развести** означает 'начать делать что-нибудь длинное, нудное, неприятное', а во втором — 'вынудить'.

Если говорящий соотносит именуемый метафорой концепт с одной из этих областей, то он и дальше явно или неявно ориентируется на элементы, входящие именно в её состав. Тем самым ограничивается дискурсивное пространство метафоры, а её содержание строится на основе комплекса образов, возникающих в психике человека при его «восприятии тех фрагментов действительности, которые имеют сигнальное значение для жизнедеятельности со-

общества» (Гусев С.С, 1984: 29). Причём характер этих восприятий обуславливается, как правило, теми культурными доминантами, которые определяют языковое сознание говорящего. Кроме того, на хранение метафорического «живого» слова в нашем языковом сознании в виде системного «пучка» существенное конструктивное воздействие оказывает специфика того семиотического пространства, в рамках которого рождается и функционирует метафора. Иными словами, природа и сущность метафоры определяется двумя факторами: а) культурными традициями народа и б) семиосферой того или иного языкового сознания.

В разные периоды развития человеческой цивилизации эти факторы, в зависимости от их значимости в жизни человека, формировали соответствующий тип метафоры.

На этапе господства мифологического сознания с его ярко выраженным *коллективизмом древнего мышления* и сходством мировоззренческих представлений у разных народов в механизмах образования метафор преобладали семантические универсалии. Они-то и предопределили появление в древности многих фундаментальных метафор, отражающих единообразный способ мировосприятия, а также общую оценку места человека в этом мире и возможные способы поведения в нём. По данным Б.А. Парахонского, М. Коуэла и С.С. Гусева, преобладание в древних метафорах общих для всех людей способов отношения к окружающему миру объясняется тем, что на мифологическом этапе развития человеческого общества культурные различия были, по сравнению с последующими периодами, весьма незначительными: общее преобладало над различиями.

Поскольку наиболее сходными объектами для сравнения различных предметов мысли являются части человеческого тела, их непосредственная данность для всех членов первобытного сообщества, именно соматизмы стали неким образцом сосуществования людей. Свидетельством тому служат так называемые соматические фраземы. Ср.: 1) *В Европе нормальной прибылью считается 4–5 процентов. При 10% все счастливы. Наш же российский «деловичок» и пальцем не пошевелит, если норма менее 100%* (АиФ, 2007, № 29, с. 6); 2) *Пускай Коровин узнает о пропаже своего пациента утром — от садовника. Нечего тратить время на лишние объяснения, да и неизвестно еще, какую роль играет доктор во всей этой истории. И*

голову ломать о произошедшем сейчас тоже незачем, и так уж она
не лопается, бедная голова. Лечь в постель и заснуть, поста-
ться (Б. Акунин); 3) Прошло лето красное, не воротись — слов-
но бы сама жизнь прошла, развеялась радость пылью дорожной!
творотить от окна тряпицу, глянуть, — а на улице никогошеньки,
никогошеньки, только дождь крутит да в лужи бьет. Да тучи рва-
не. Голубчики. Даже из самых глупых, в такую погоду ничем из
му по своей воле носа не высунут... (Т. Толстая); 4) Он смертельно
стал. Минуты три они тихо переговаривались, потом он задремал.
идел, клевал носом (Д. Рубина); 5) Казалось бы, у меня есть все:
мухэтажный особняк в центре Москвы, деньги, шикарный «Ягуар»,
убы, драгоценности, муж-умища, чудесный ребенок, но я устала
такой жизни. Однообразие, скука, затворничество идут со мной
ка об руку, и впереди не видно никакого просвета (Ю. Шилова);
Оказывается, их подарила одна дама и сказала, что это именно
то, принадлежит, мол, ее отцу. Только вот за что ты сделала
мой подарок с барского плеча, непонятно (Ю. Шилова).

Вне всякого сомнения, именно человеческое тело служило в
этот период эталоном, с которым соотносились все объекты и явле-
ния, становившиеся предметом лингвокультуры. Однако всё более
совершенствованное мышление приводило к выделению и пони-
анию различий в способах организации разных сообществ и среды
жизни того или иного этнокультурного коллектива. Переломным
моментом в метафоризации языка стало осознание того, что мно-
гие свойства человеческой сущности несводимы только к телесным
формам, не обуславливаются исключительно физиологическими
факторами. Человек всё больше обращался к сравнениям своей
личности с неодушевленными предметами. Например: — Даже са-
мый левый мужик, как вытьет, места себе не находит, пока кого-
нибудь не прищемит. У нас её [настойку из рогов морала] поэтому
«мораловкой» и прозвали. Вы сегодня больше — ни-ни, а то **резьбу**
делаете. — Предупреждать надо! — обиделся Стас (Ю. Поляков).
Предполагают учёные, именно такие сравнения с неодушевлёнными
предметами в конечном счете привели к изменению представлений
о собственной природе, заставляя все больше внимания об-
ращать на способы организации человеческих коллективов, на по-
строение общественных взаимоотношений.

В «живой» словесной метафоре устройство мира стало моделироваться по аналогии с организацией соответствующих сообществ людей, с их признаками, свойствами и способностями. Ср.: *И всё-таки первый удар опять застиг её врасплох — этот вопросительный протяжный стон, высокая долгая нота, истаивающая вверху, в низком сером небе. Опять заговорили жалобно, перебивая друг друга, колокола соседних церквей, им отвечал с Сан-Маркс ровный гуд, на фоне которого всплескивали верхние колокола* (Д. Рубина). Колокола здесь наделены человеческими свойствами: первый удар *застиг* её *врасплох*, удар колокола — *стон*, колокола *заговорили жалобно, перебивая друг друга*. По достаточно обоснованному мнению А.Ф. Лосева — одного из самых авторитетных отечественных исследователей античной культуры и языка, «родовые отношения одушевленных существ прямо переносятся на весь окружающий мир, так что весь мир является как бы огромной родовой общиной» (Лосев А. Ф. 1977: 31; см. также: Ортега-и-Гассет Х., 1990: 76). Принципиально иное мировосприятие не могло не отразиться на механизмах метафоризации. Они настолько изменились, что привели к возникновению нового типа фундаментальной метафоры, получившей название «социоморфной».

Главной отличительной особенностью данного этапа метафоризации мышления стало осознание человеком многомерности своего «я». Этому способствовало происходившее внутри исходной целостности расслоение на группы по половым, возрастным, функциональным и прочим признакам. Вследствие чего следующая стадия в эволюции фундаментальной метафоры связана с формированием индивидуально-личностного сознания.

И всё же обращает на себя внимание сходный принцип метафорического речемышления. Это сходство исходило из главного: действительность отождествлялась с миром людей, а возникновение метафоры опиралось на один из его признаков. Сами признаки подвергаются, разумеется, варьированию. На эту особенность метафоризации речемышления обратил в своё время внимание Х. Ортега, выделивший две «великие метафоры», выражающие, по его мнению, «древний» и «новый» типы мышления. В соответствии с *первым субъект и объект отождествлялись, поскольку бытие и*

того и другого понималось лишь как взаимодействие физических тел. В результате возникала метафора-отпечаток.

Новый же тип мышления, как утверждал Х. Ортега, появился в результате осознания творческой активности человеческого разума. С этой точки зрения чувственные образы окружающего мира есть итог сложной деятельности интеллекта и воображения, совместно создающих этноязыковой образ мира, который возникает перед мысленным взором каждого члена того или иного сообщества. В связи с этим предметы окружающего мира пропускаются через внутренний «дисплей» человеческой души.

Вместо метафоры «отпечатка» появляется метафора «содержимого сосуда» (Ортега-и-Гассет Х., 1990: 78). И всё же обе разновидности фундаментальной метафоры ещё порождаются «антропоморфным» сопоставлением, хотя каждая из них воплощается в множестве своих речевых модификаций. Однако развитие специализированных видов познавательной деятельности постепенно привело к осознанию его ограниченности и исчерпанности. Отождествление, пусть даже и условное, в рамках метафорического контекста познания человека с познаваемыми объектами, выявляло многие провалы в знаниях человека о своей собственной природе.

Различные варианты первой фундаментальной метафоры, возникшей ещё в рамках мифологического сознания античного миропонимания, активно использовались вплоть до Нового времени, не исчерпали они полностью и сегодня. Однако сознание Нового времени было вынуждено сменить некоторые ориентиры метафорообразования. Если предыдущая когнитивно-дискурсивная традиция строилась на сопоставлении действительности с природными или социальными характеристиками «мира людей», то теперь необходимо было найти новый образец, с которым можно было бы сопоставлять представление человека, превратившегося в «неизвестный объект». Этого требовалось нечто хорошо известное людям и в то же время существенно отличающееся от них.

Направление поисков такого образца организации знаний обусловлено тем, что к XVII столетию в сфере практической деятельности людей все большую роль стали играть всевозможные технические системы, машины. Уже само их возникновение как результат человеческой изобретательности, их конструктивная «от-

крытость» людям, наконец, достаточно однозначный характер связей между устройством механизма и его функционированием — всё оказывало мощное влияние на стиль мышления, характерный для европейских культур. Ср.: *Тяжелое, сонное око мое заплывало вязким светом пустыни, сгущалось мутное марево полдня, рама окна растворялась, и медленно и тяжело, как парусный фрегат, словидение выносило меня за пределы Матнаса* (Д. Рубина). Именно образ «мира-машины» обусловил становление качественно нового стиля мышления.

Механистический взгляд на человека и его деятельность определил ориентацию на выделение в природной действительности таких ее форм, которые могли бы уложиться в схему «конструкция — функция — результат». Так возникал второй, «машинный» тип фундаментальной метафоры. В отличие от форм «антропной» (включая и её социоморфный и перцептивный вариант) метафоры, «машинная» уже в большей степени характеризовала культуру европейского типа. Если первые два типа фундаментальной метафоры можно найти в практически любой лингвокультуре, то «машинная» метафора стала достоянием европейской культуры. В эпоху электронной техники метафорические образы возникают хотя и на по-прежнему технических, но всё же иных принципах. «Мир — компьютер», «человек — компьютер» стали обычными образами в обиходном сознании современного европейца или американца.

Однако «машинная» метафора, к счастью, не стала для нашего времени определяющей. Бурный рост техники и ухудшение экологии жизни порождают ощущение ограниченности машинной метафоры. Такого рода ощущения возникают прежде всего потому, что машинные метафоры, как правило, ориентированы на поверхностные уровни культуры, а слова, их обозначающие, — на «прямые» значения и смыслы. При этом остаются не актуализированными скрытые, косвенные коннотации, без которых в языке возможны лишь некие муляжи современного мира, но отнюдь не его «живые» образы.

Поэтому современная метафоризация языка опирается на диалог разных лингвокультур. Познавая внутренний мир других, человек либо принимает чужую позицию в качестве «допустимой», либо расценивает ее как «недопустимую», т.е. ищет аргументы для ее опровержения. В любом случае его внутренний мир (зна-

ния, навыки интеллектуальной деятельности и пр.) обогащается. Например: а) наименования пользователей различной степени провинутиости (*юзер, чайник, урюк*); б) социально ограниченная лексика (*убивать* — 'удалять'), в том числе жаргонная (*тачка, зависнуть, пучок*); арготическая (*глюк, коцать, сутенер*); сленговая (*примочки, хата*) и др.

Появление новых типов метафоры стимулирует исследования её когнитивной природы и сущности. Традиционно в духе логического эмпиризма большинство авторов, исследующих метафору, считают её появление результатом наложения прямого лексического значения на переносное (косвенное) значение других слов. Однако начиная с 60-х годов наступает разочарование в установках логического эмпиризма. Это стимулировало обращение исследователей к изучению функционирования языковых единиц, с помощью которых осуществляются реальные коммуникативные акты. В связи с этим когнитивная метафора оказалась в центре наиболее обсуждаемых проблем. Упомянутые исследователи разрушают основные стереотипы в осмыслении метафоры как «скрытого сравнения». Первый шаг в этом направлении сделал М. Блэк.

До него господствующим было понимание метафоры как упрощенного сравнения двух предметов, обладающих некоторым сходством. В результате такого сравнения новый объект познания назывался именем уже известного предмета. Поскольку метафора, как упоминалось, является элементом семиосферы, её воспринимали только лишь как знак, указывающий на некий определенный объект (вещь, явление, событие и пр.). При этом прямое смысловое содержание высказываний, содержащих в себе метафоры, сводилось непосредственно к процедуре указания. Косвенные смыслы и коннотации оставались в таком случае неактуализированными.

В отличие от традиционного понимания природы метафоры М. Блэк, акцентируя внимание на ее познавательных возможностях, видел в ней прежде всего «связывание двух идей». В связи с этим он выделял в метафорическом слове два аспекта: употребление «в обычном смысле» (его он назвал «рамкой») и использование «в переносном» смысле («фокус» метафоры). Структура метафоры, с точки зрения, сводится к соединению импликаций, с одной стороны, связанных с так называемым вспомогательным субъектом

(слово, взятое метафорически), а с другой — с «главным субъектом», о котором идет речь в данном высказывании. Так, в модели «Поэт — птица», служащей схемой порождения многих «живых» метафор, слово «поэт» представляет главного субъекта, а слово «птица» — дополнительного. Ср.: 1) *Близ вас поют певцы Ирана, Гафиз и Сади — соловьи!* (А.А. Дельвиг); 2) *Знаменитый, / Молодой, / Опальный, / Яростный российский соловей, / Но ночам мечтающий о дальней, / О громадной Африке своей* (Б. Корн); 3) *Я — соловей, я — сероптичка, / Но песня радужна моя* (И. Северянин).

М. Блэк разработал так называемую интеракционистскую концепцию метафоры, согласно которой сущность метафоры заключается в актуализации системы ассоциаций, порождаемых вспомогательным субъектом, и «видении» главного субъекта через призму этих ассоциаций. При этом метафорический контекст определяется, во-первых, общностью представлений «говорящего» и «слушающего» о специфических свойствах вспомогательного субъекта (*соловей, сероптичка*), а во-вторых, объёмом этих свойств. Это послужило М. Блэку основанием для утверждения, что метафора, всеми воспринимаемая в рамках одной культуры, может оказаться отторгаемой и даже абсурдной с точки зрения другой (Блэк М., 1990: 164). Приведенные метафоры выстраиваются на том, что система импликаций, порождаемых образом соловья, порождает соответствующую систему импликаций и относительно концепта «Поэт». Новый, поэтический смысл фразы возникает как раз из столкновения двух различных ассоциативных рядов.

Согласно интеракционистской концепции метафоры, «фокус» её направлен только на часть используемого выражения. В таком случае главный субъект всегда объективируется в прямом значении слова, а вспомогательный — в переносном. Однако при этом остаётся непонятным главное: чем обусловлен переносный смысл вспомогательного субъекта? Как соотносятся между собой прямые и косвенные значения и смыслы обоих образов, связываемых друг с другом? Чтобы понять это, необходимо представить смысл отношения между «рамкой» и «фокусом» как подвижное, даже симметрично обратимое построение. Тогда придется признать, что в выражении «поэт — соловей» не только поэт наделяется свойствами соловья, но и соловей в чем-то должен восприниматься в качестве поэта.

Чтобы выйти из этого порочного круга, необходимо метафорический контекст истолковывать как пересечение нескольких уровней: двух прямых значений слов (в нашем примере *поэт* и *соловей*), двух косвенных, а также двух прямых и косвенных уровней смысла. В действительности их еще больше, поскольку в реальной ситуации общения людей с разным социальным и культурным статусом объемы ассоциативных комплексов включают множество «боковых» ветвей, контекстно влияющих на интерпретацию передаваемых и получаемых сообщений. Например, в разбираемом выражении «поэт — соловей» каждое из слов косвенно указывает на принадлежность и того и другого объекта к классу «живых» или к классу «обитателей Земли», «млекопитающих» и пр., что может различным образом определять «рамки» метафорического контекста. Если же учитывать цели говорящего и того, кому метафора адресована (т.е. пытаться определить смыслы, первичные и вторичные), то станет ясно, что сведение функции метафор к «переописанию» поэта с помощью языка, употребляемого для описания соловья, слишком упрощает ситуацию. В реальном семиотическом пространстве культуры каждый конкретный акт межчеловеческой коммуникации может порождать весьма динамичные контексты.

И всё же интеракционистский подход к анализу языковых метафор оказался наиболее предпочтительным, обусловив появление разнообразных вариантов. Так, другой американский автор — Уилрайт, модифицировал подход Блэка, выделив два различных типа метафор: эпифору и диафору. Суть э п и ф о р ы состоит в том, что более определенный образ задает истолкование менее определенного. В высказывании «жизнь — сон» концепт «Жизнь» связан с множеством самых различных образов, часть из которых вообще явно не фиксируется, а потому является «неопределенной», тогда как «Сон» вызывает у всех устойчивые ассоциации и используется в качестве «определяющего» (Уилрайт Ф. 1990: 83–84). Эпифора, таким образом, выражает сходство между хорошо известным и смутно осознаваемым. Она мало чем отличается от тех языковых ситуаций, которые анализировал М. Блэк.

Другой тип метафоры — д и а ф о р а — связан с контрастным сопоставлением двух рядов образов, соединение которых инициирует идею их сходства. Сами по себе сопоставляемые предметы

не обладают какими-то общими признаками, и казалось бы, для их прямого сравнения нет оснований. В таком случае метафорообразующим оказывается контекст, в котором возникает некий новый образ, интегрирующий оба эти ряда в единое целое. Например: *Мое любопытство не знало границ. Чьи это письма Пашка хранит столь бережно у себя под кроватью? Наверное, это переписка, с той убитой девушкой. Почувствовав глупый укол ревности, я раскрыла первый конверт и дрожащими руками достала оттуда фотографию* (Ю.В. Шилова). Основа подобного единства находится не в вещах или явлениях мира, она — в **эмоциональном состоянии** людей, вызванном в них соответствующими словесными образами. Диафора не так явно, как эпифора, соотносится с интеракционистской концепцией М. Блэка, поскольку здесь внимание человека обращается не столько на свойства самих предметов, сколько на вызванные ими внутренние состояния людей.

Более явно на необходимость учитывать переносные, скрытые значения слов, образующих метафору, обратил внимание М. Бирдсли. Он не только выделяет вторичные, коннотативные значения, но и различает в них «основные» и «потенциальные» уровни (Бирдсли М., 1990: 208). Бирдсли считает, что с каждым словом соотносимы целые спектры различных коннотаций, одни из которых постоянно принимаются в расчет при общении людей друг с другом (их он называет «основными»), тогда как другие употребляются редко и потому имеют лишь «потенциальное» значение. Например, говоря о таких объектах, как «птица», люди чаще всего имеют в виду их способность летать, оперение и т.п. — те свойства птиц, которые воспринимаются в качестве «основных». А вот цвет оперения, умение или неумение летать относятся к тем свойствам и признакам, которые образуют класс «потенциальных» коннотаций.

Если между прямыми или косвенными значениями слов возникает логическая несовместимость (либо семантических свойств самих слов, либо их пресуппозиций), то происходит сдвиг от центрального, основного значения слова к его маргинальным, вторичным значениям. Например: *Зло должно быть наказано. В Володиных толковых руках появилось реальное оружие. Он постоянно совершенствовал свои смертоносные игрушки. Потом каждый раз он испытывал странное чувство звенящей ледяной пустоты в душе*

(П.В. Дашкова). В результате логической несовместимости слов «пустота — звенящая, ледяная» происходит семантический сдвиг от основного значения слова *пустота* к вторичным значениям прилагательных *звенящая* и *ледяная*. Именно в таком сдвиге Бирдсли видит сущность метафорического контекста. Потенциальные значения могут становиться основными при существенном изменении общекультурных смыслов и вызванной этим кардинальной перестройке дискурсивного пространства метафоры.

Динамичность всех возможных уровней значения и смысла, порождающая метафорический контекст, заставляет искать ответ на вопрос: можно ли указать какую-то общую семантическую (или прагматическую) черту, которая прямым образом позволила бы выявить специфику такого контекста. В самом деле, чем вызвана столь фундаментальная роль метафор в любом слое языка? Почему они оказываются формой представления символов в процессах социальной коммуникации? На какую особенность человеческого взаимодействия с окружающей действительностью метафоры указывают наиболее явно?

Ясно, что ориентируясь исключительно на структурные особенности высказываний, выражающих формальный аспект любых коммуникативных процессов, получить ответ на поставленные вопросы не удастся. Скорее, прав Дж. Сёрль, отвергавший абсолютированный вариант интеракционистского подхода, при котором «фокус» и «рамка» метафорического выражения берутся в их однозначно фиксированном положении. С точки зрения учёного, метафорический контекст порождается не взаимным положением слов, а целями и намерениями людей, употребляющих эти слова. Значение речевого акта существенно больше, чем значение произнесённых слов и фраз (см.: Сёрль Дж. 1990: 311).

Метафора устанавливает (или, скорее, выражает) не столько соотношение между денотатами, на которые указывают используемые слова или другие знаки, сколько взаимное соответствие убеждений говорящих людей, совпадение их отношений определенными элементами действительности, что выражается в использовании одних и тех же знаков, связанных с одними и теми же денотатами. Её употребление обязательно предполагает решение прагматической задачи: зачем тот или иной человек употребляет именно

метафору, а не средство прямого указания на интересующее его содержание (Сёрль Дж. 1990: 313).

Метафора позволяет видеть мир многомерным. Она не только способствует формированию образа желаемой цели или оценке успешности повседневных актов, но и пониманию вообще «иной возможности». Человек осознает, что мог бы выбрать другую цель вместо достигнутой, использовать другой способ действий и пр. Очень часто даже достигающий желаемого результата индивид, добившись успеха, осуществив свои желания, испытывает в какой-то момент разочарование, осознавая какие-то иные, нереализованные в действительности возможности.

Это означает, что метафора не является средством описания только реально существующего. Для этого гораздо эффективнее использовать средства прямой номинации. А вот метафора, обозначая ирреальные объекты и ситуации, позволяет наглядно представлять то, что находится вне реального пространства. «Возможные миры», следовательно, являются неким фоном, на котором реальность приобретает особую полноту и ясность. Метафора обеспечивает возможность оценить совершенные человеком действия не только с точки зрения реальных условий, но и в «общем», абстрактном виде. Потому, согласно концепции П. Рикера, скрытым смыслом ситуаций, в которых употребляются метафоры, является отмена обычной референции, вызывающая явный переход к референции «второго порядка» (Рикер П., 1990: 427).

Мир «возможного» характеризует скрытую сторону человеческой природы, показывает людям, какими они могут быть. И интерес к этой теме может свидетельствовать о формировании новой фундаментальной — «потенциальной» метафоры. Она представляет один из вариантов возможного мира. Когнитивная метафора, таким образом, на содержательном уровне оказывается элементом одного из возможных миров, средством виртуального представления вновь добываемых знаний в структуре языкового сознания.

3.4. Когнитивная энергия метафоры

Когнитивная энергия метафоры — продукт многовековой эволюции образного слова. «В сущности, каждое слово — писал

А.Н. Веселовский, — было когда-то метафорой, односторонне-образно выражавшей ту сторону или свойство объекта, которая казалась наиболее характерною, показательною для его жизненности. Обогащение нашего знания объекта выяснением других его признаков совершалось на первых порах путем сопоставления с другими сходными или несходными объектами по категориям образности и предполагаемой жизнедеятельности» (Веселовский А.Н., 1940: 355).

Когнитивная энергия современной метафоры — эффективный инструмент «оязыковления» новых проблемных ситуаций. Мылопорождающими истоками в процессах вторичного лингвогенеза оказываются опорные для данной лингвокультуры когнитивные метафоры, задающие аналогии и ассоциации между разными системами понятий и порождающие более частные метафоры (Белия В.Н., 1988). В современной лингвокультуре нашего общества выделяются следующие ключевые когнитивные метафоры (Баранов А.Н., Караулов Ю.Н., 1991).

1. Метафора строения, позволяющая представить общество как строящееся здание, отдельные элементы которого служат, в свою очередь, основой возникновения частных метафор — *фундамент, застройка, надстройка, несущие опоры, блоки, иерархические ступени* — для образной номинации самого общества. Лидеры общественного строительства называются *архитекторами, прорабами, зодчими*.

2. Метафора механизма, представляющая общество в динамике — *Государственный механизм, механизм перемен, рычаги власти, государство-винтики, машина голосования*.

3. Метафора организма, изображающая общество как живой организм со всеми присущими ему фазами жизни: а) метафора рождения — *рождение Государственного совета, новорожденные депутаты, вывести на свет конституцию*; б) метафора роста: *первые шаги рыночной экономики, молочные зубы страны уже выпали, вся страна вошла в школу демократии, у нее прорезаются зубы мудрости*; в) метафора болезни и лечения: *детская болезнь, лекарство <от...> агональный паралич власти, склероз гражданской совести, аллергия <на...>, рак, метастазы, вирус большевизма, бактерии национализма, тромб, реанимация, излечение <от...>, оздоровление экономики*.

шокотерапия, психотерапия; г) метафора смерти: *труп лжесоциализма, последние конвульсии прежней власти, клиническая смерть народнохозяйственного комплекса, проводы в последний путь*.

4. Метафора родства: страна как большая семья, семья (приближенные к главе государства), отец рыночных реформ, *старший брат* (русский народ), любимое *дитя* перестройки.

5. Метафора сверхъестественного существа: общество как мифическое существо, аппаратный *монстр*, *семиголовый ареопак* (< гр. *Areios pagos* — 'Ареосов холм' — высший орган власти в Древних Афинах), *драконы* заговора.

6. Метафора лицедейства, позволяющая показать общество как огромный *театр*, в котором есть свои *режиссеры, сценаристы, актеры, исполнители главных и второстепенных ролей, художники, декораторы*; где *на подмостках, на сцене идут трагедии, комедии, трагикомедии, развлекательные шоу и фарсы*; общество — это и *театр драмы, и театр абсурда*.

7. Метафора пути: *красный свет на пути реформ, политический тупик, буксующий автомобиль наших реформ, локомотив истории, телега, обочина*.

8. Метафора спортивного состязания, представляющая общество как огромную спортивную арену: предвыборный *марафон, победитель избирательного заезда, нокаутирующий удар по оппозиции, дан старт, у финиша, забег на длинную дистанцию*.

3.5. Когнитивно-номинативные уровни порождения и восприятия метафоры

«Второе пришествие» метафоры на страницы лингвистических изданий связано с повышенным интересом к проблемам порождения и восприятия знаков вторичной номинации и, шире, — к когнитивно-семиотической деятельности. Дело в том, что процессы номинации непосредственно связаны с когнитивной деятельностью, а в механизмах номинации ведущая роль принадлежит сравнению и метафоризации как имплицитному (скрытому) сравнению. Ср.: *нос, как у птицы; взгляд хищной птицы; И было что-то птичье в нас с тобой* (М. Цветаева); *трещать и чирикать по-пти-*

тѣмъ (Г. Успенский); *птичкой* ты резвой росла (А. Апухтин); Он рос один... на воле, без забот, / Как *птичка*, меж землей и небесами! (М. Лермонтов); Ну, теперь мы — вольные *птицы* (И. Тургенев); *Птицы* небесные — ср. а) евангельское словосочетание: *Взгляните на птиц* небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житицы; и Отец ваш Небесный питает их (Мф. 76 25—26) и б) Все мы *птицы* небесные, создания Творца! (И. Шмелев).

Несмотря на то что номинация подчиняется общим (универсальным) законам именования (среди них законы аналогии и ассоциации), отдельные ее разновидности (первичная, вторичная, косвенно-производная) не только отличаются значительным своеобразием, но нередко уникальны. Их уникальность во многом обусловливается удаленностью и даже логической несовместимостью объектов сравнения. Так, по мнению В.Н. Телия, своеобразие вторичной номинации определяется тем, что «гносеологический образ отражаемого внеязыкового объекта здесь всегда опосредован переосмысливаемым содержанием языковой формы» (Телия В.Н., 1977: 167). В переосмыслении значения слова при метафорическом обозначении внеязыкового объекта определяющим является субъективный фактор (орел — воин-богатырь, орлы — полководцы, орел — поэт). Ср.: 1) Вот, брат, значит ты какой. Богатырь. **Орел**. Ну, просто — воин! — скажет генерал (А. Твардовский); 2) Взвились *жутозлов* и Суворов — / Сии *питомцы* бранных споров, / Событий *будущих орлы* (В. Бенедиктов); 3) Свободен, весел, полон сил, / **Орел** *ликий* встрепечется, / *Расширит* крылья и взовьется / К бессмертной области светил (Н. Языков). Именно из-за субъективного фактора метафорическое слово так сложно для нашего интерпретирования восприятия. Как и порождение, понимание (восприятие и интерпретация) метафоры во многом зависит от индивидуального когнитивного опыта, от прохождения метафоры через призму своего личного опыта и «личностного знания» (термин М. Полани).

Что значит понять метафору? Это значит в какой-то степени осмысленно проследить все этапы её создания, что довольно непросто, поскольку предполагает некоторое интеллектуально-эмоциональное напряжение, связанное с преодолением противоречий, связанных несовместимостью сравниваемых лексических значений, и с необходимостью «восстановления смысловой гармонии»

между ними (Арутюнова Н.Д., 1978: 341). Реципиент (слушающий или читатель), воспринимающий метафору, должен «пропустить» результаты чужого сравнения через свое языковое сознание и, сопоставив их с собственным опытом, соотнести с теми же явлениями и предметами, что и «автор» метафоры. Это требует от реципиента достаточно развитого языкового сознания и «личностного знания». Их отсутствие, например, у детей порождает трудности, с которыми они неизбежно сталкиваются в своей коммуникативно-когнитивной деятельности. Непросто решается эта задача и взрослыми.

Воссозданию смысловой гармонии препятствуют такие категориальные свойства метафоры, как её *субъективность* и *смысловая диффузность*. Они обусловлены и порождены изначальным предназначением метафоры — скорее вызывать представления, чем сообщать информацию (см.: Арутюнова Н.Д., 1978: 340).

Представления же, как известно, создаются номинативной деятельностью, основанной на внешних, наглядно воспринимаемых свойствах номинируемого предмета. Соответственно, и средства знакообозначения должны непременно обладать предметной обусловленностью (Исхагарович А.М., 1978). Этим свойством коммуникативно-когнитивной деятельности и порождаются сложности восприятия и понимания метафоры, обладающей неявным, «размытым» денотативным (предметным) содержанием. Диффузность предметного содержания метафоры — результат самого процесса метафоризации, представляющего собой предикацию (приписывание) обозначаемому некоторого признака, не входящего в его собственное предметное значение, но актуализируемого образующимся вокруг него ассоциативно-смысловым полем.

Именно ассоциативно-смысловые связи между сравниваемыми предметами, возникающие в силу их сходства по аналогии (Телия В.Н., 1977: 202, 211; Арутюнова Н.Д., 1978: 341–342), проецируют в нашем сознании признак, который не принадлежит самому предмету метафоризации, не дан в нем наглядно. Ср.: *Между тем гуси, своим узором разделившие небо пополам, вытягиваются в тонкую полосу* (В. Хлебников). *Узор* — признак, не принадлежащий гусям как предмету метафоризации. Следовательно, воспринимающему субъекту надо извлечь его из анналов своего сознания вместе с образом того предмета, для которого данный признак является

образовым (для некоего пространства, на котором создается рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней: ткани, полотна, листа бумаги и т.п.). Сущность понимания метафоры как раз и состоит в том, чтобы обеспечить восстановление гносеологического образа предмета метафоризации через языковое значение метафоры. Восстановить предметный образ номината — значит увидеть смысловые связи между предметами, которые не являются однопорядковыми в предметном мире, но какими-то невидимыми ассоциативными нитями соединены в этнокультурном языковом сознании. В представленном отрывке пространство — небо, вереница гусей — рисунок на нем, словно узор на полотне.

Несложно убедиться в том, что мир метафоры — это мир образного мышления. Образный способ репрезентации знания о мире позволяет вступить в мир воображаемого, в мир образного мышления. Это мир рождения, развития и функционирования когнитивной метафоры, служащей средством продуцирования, хранения и образования знания и формой его репрезентации.

В процессе наглядно-образного мышления происходит овладение многообразием сторон и свойств предмета. Возможность же представления объекта со всеми частными, второстепенными признаками может послужить основой переосмысления, когда второстепенные свойства послужат исходной точкой той линии анализа, которая и позволит увидеть предмет в новой плоскости, в иной системе связей, где, казалось бы, второстепенные свойства и связи будут восприниматься как существенные. В метафоре при сопоставлении двух предметных смыслов продуцируется новое сопоставление, основой которого становится актуализация компонентов сопоставляемых смыслов. Для субъекта, имеющего дело с новой системой отношений, появляется возможность увидеть и выделить новую грань предмета. Условием создания новой системы отношений (значений) является наличие *tertium comparationis* (общих моментов в сравниваемых предметах).

В самом процессе обнаружения общих моментов в сравниваемых предметах и состоит когнитивно-номинативная суть метафоризации. По своей форме она представляет перенос некоторого признака одного предмета на другой в силу наличия у них сходных признаков. С этой точки зрения создание метафоры —

двусудный процесс: выявление общих признаков «разведенных в реальности» предметов и сам акт номинации. Восприятие же метафоры и ее интерпретация — сфера когнитивной деятельности реципиента.

Уровень восприятия определяется тем, конфигурацией каких смысловых компонентов осуществляется интерпретация метафоры. Интерпретации могут подвергаться разные компоненты смысловой структуры метафоры: основной и вспомогательный субъекты метафоры, а также их признаки, дающие основание для сравнения субъектов (Арутюнова Н.Д., 1978; Black M., 1962). От их конфигурации полностью зависит смысловая глубина и внешний облик восстанавливаемого предметного образа, лежащего в основе переносного значения (см. о нем в главе 2) метафоры. Так, разные смысловые конфигурации предметного значения основного субъекта сравнения могут восстанавливать порой неожиданные предметные образы: 1) *Все бури, все волненья мира, / Летя, касались вас крылом* (В. Брюсов) (крыло → буря), 2) *Летит метель на крыльях вихря* (В. Соллогуб) (крыло → вихрь); 3) *Закрыла день гроза крылом* (Вяч. Иванов) (крыло → гроза); 4) *Не лес завывает, не волны кипят / Под сильным крылом непогоды* (Н. Языков) (крыло → непогода); 5) *<...> роняют брызги / Крылья тумана* (М. Волошин) (крыло → туман).

Н.Д. Арутюнова обнаружила, что в поверхностной структуре метафоры её основной и вспомогательный субъекты, а также их признаки, дающие основание для сравнения, представлены в разной степени. Так, в метафоре когнитивного типа (предикатной, признаковой) вспомогательный субъект обычно не эксплицирован. Он имплицирован самим метафоризируемым предикатом, который объективируется глаголом, именем прилагательным или причастием (ср.: Арутюнова Н.Д., 1978: 341–342). О такого рода вспомогательном субъекте когнитивной метафоры особенно выразительно говорят поэтические тексты С. Есенина:

Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.

Вспомогательным субъектом когнитивной метафоры здесь выступают люди (*человек*). Он извлекается из значений глагола *разбудить* и *улыбнуться*, причастия *дремавший* и имени прилагательного *сонная*.

Как видим, метафорическое значение обуславливается признаками вспомогательного субъекта, а коммуникативно-когнитивным назначением метафоры и её конечным результатом является эксплицирование смысловых элементов из предметного значения основного субъекта.

Интерпретация метафоры состоит в такой репрезентации её смысловой структуры, в такой дефиниции, которая включала бы в качестве составных частей все четыре компонента смысловой структуры метафоры. Как показывает приведенный выше пример, для восприятия и понимания когнитивной метафоры прежде всего важно правильно определить вспомогательный субъект, чтобы, оттолкнувшись от него, найти в нём признак, по которому можно было бы удерживать вспомогательный и основной субъекты в едином когнитивно-смысловом поле; найти аналогию в образах и соединить их одним, третьим признаком, получившим у А.А. Потебни терминовое обозначение — *tertium comparationis*.

Восприятие и декодирование когнитивной метафоры начинается с видимой стороны айсберга — словесной метафоры. Именно отталкиваясь от семантической структуры, можно прийти к когнитивной структуре номинируемого метафорой внеязыкового фрагмента; открыть аналогию или сходство отдельных признаков двух, казалось бы, несовместимых объектов, тем самым как бы мысленно произвести путь «создателя» метафоры (см.: Телия В.Н., 1977: 104). Современный уровень развития когнитивной семантики позволяет выделить несколько типов интерпретаций метафоры, опирающихся на лингвокогнитивный опыт интерпретатора. К интерпретациям метафор привлекались дети младшего (1), среднего (2) и старшего (3) школьного возраста, а также студенты университета. Интерпретации метафор обычно представляют собой простые описывания.

1. Интерпретации, реконструирующие и внешние, и внутренние признаки основного субъекта метафоры.

Метафоры

Воем вьюга

Солнце смеется и играет своими лучами

Живая вода

Буря злится

Интерпретации

Сильный ветер
Очень холодно, идет снег. Ветер

Знойный день
Лучистое солнце
Солнце все согревает
Дрожит раскаленный воздух

Воду пьют
Вода утоляет жажду

Ветер, холодно
Идет снег зимой
Холодный ветер щиплет щеки

Интерпретации метафор основаны на связях и отношениях, устанавливаемых и освоенных в наглядно-практическом опыте.

Характеризуя основной объект метафоры, обычно указывают на реальные характеристики и признаки этого субъекта, известные из непосредственного (или заимствованного) опыта. Идет конкретно-наглядное восприятие *основного субъекта* метафоры (денотата), имеющее глубокие корни в практическом опыте человека. Восстановление предметного образа опирается на все признаки денотата, причем все они равны и важны в функциональном значении. Основной субъект метафоры предстает как определенный конкретный предмет со всеми его признаками, но не как носитель одного определенного признака, на базе которого и возникла соответствующая метафора. Признак, ставший денотативно-когнитивным основанием для возникновения метафоры, не выделяется из всех остальных и не является для реципиента специфическим. По Л.С. Выготскому, «он, равный среди равных, один среди многих других признаков» (1982: 145).

Если *основной субъект* метафоры нам знаком непосредственно или освоен нами через общение с другими, то человек видит его во всей совокупности знакомых ему признаков. Так, солнце для нас может быть жёлтым, золотым, теплым, может согревать, но *смеяться*

... и *играть* оно не может, т.е. на этом уровне интерпретации важны признаки, объективно свойственные предмету. Соотнесение предмета с несвойственными ему («чужими») признаками и присвоение предмету не свойственных ему характеристик у детей ещё не наблюдается. Это приводит к тому, что объяснение метафоры относится только к одному *основному субъекту* метафоры, второй же член метафорической пары как бы не замечается.

2. Интерпретации, реконструирующие и основной, и вспомогательный субъекты смысловой структуры метафоры, но не восстанавливающие *tertium comparationis* — общего для двух предметов признака, делающих метафору семантически целостным образованием.

Метафоры

Ветер вьюга

*Солнце смеется и играет своими
лучами*

Листья шептались березки

Интерпретации

Воют волки, а не буря. Еще собаки воют

Солнце светит. Солнце не смеется. Играют на баяне. Когда солнце — светло. Играют дети.

У них нет ротика, они только шелестят листьями

Интерпретации данного типа показывают, что инородный признак, «приписанный» предмету метафоризации, бросается в глаза и воспринимается (оценивается) как несовместимый с денотатом. Метафора при такой интерпретации воспринимается как нарушение когнитивного узуса, замечается отсутствие привычной денотативной связи.

Оказавшись в тупике, реципиент пытается устранить выявленное противоречие, ищет выход при помощи тех средств, которые предоставляет язык. Воспринимая метафору, мы ищем некую логику, стремимся обнаружить закономерности переноса значения.

Однако сама метафора в этом нам не в состоянии помочь, поскольку «образность и кажущаяся конкретность, вещественность метафоры, несколько не превращает ее в наглядное пособие языка» (Лотман Н.Д., 1978: 340). Сам предмет метафоризации при данном типе интерпретации — уравнение с несколькими неизвестными.

Итак, в ходе такой интерпретации метафоры факт присвоения признака (предмету метафоризации) «инородного» признака остается семантически не осмысленным.

3. Интерпретации, основанные на восприятии метафоры в ее прямом значении с некоторым отклонением от предметных признаков объекта метафоризации. При этом наблюдается переход от чувственно воспринимаемых наглядных признаков предмета к отвлеченным свойствам и признакам номинируемого предмета. Причем подключение к когнитивно-номинативному акту именно этих свойств и признаков делает данную метафоризацию возможной.

Метафоры

Оборвать разговор

Интерпретации

Обрывок. Не закончить говорить.
Ветер оборвал телефонные провода,
вот и оборвался разговор

Живая вода

Это когда вода не стоит, а движется

Утро седое

Утро старенькое. ...Как борода

Метафора здесь, как видим, теряет своё предметное значение; переносное значение становится более явным, образ реконструируется при помощи выделенных в предмете метафоризации признаков.

4. Интерпретации, частично реконструирующие переносное значение метафоры; предмет метафоризации раскрывается посредством использования «чужого» признака (реального носителя искомого признака), который, однако, в высказываниях-интерпретациях не вербализован.

Метафоры

Шептались березки

Интерпретации

Они что-то говорили
Они что-то рассказывали
Они тихо разговаривали. Березки
раскачивались
Березки шелестели листиками

Море спит

Море не шевелится
Море спокойное, море не бушует

Оборвать разговор

Кто-то мешает разговаривать.
Разговор прекращается

Адекватное восприятие метафорического значения происходит, конечно, только в ходе двух последних интерпретаций.

На ранних этапах филогенеза метафора находится под давлением логики воспринимаемого объекта. Позднее наступает понимание языкового значения метафоры, ради которого она, собственно, создавалась.

Представленные типы интерпретаций метафоры являются не исключительно возрастными, поскольку к разным метафорам могут быть применены все типы интерпретаций. И все же в чистом виде определенные типы интерпретаций по овладению истинно метафорическим значением зависят от возраста человека, точнее, от его когнитивно-номинативного опыта. Поэтому рассмотренные типы интерпретаций метафоры в основном соответствуют стадиям овладения метафорическим значением слова.

Как показывают психолингвистические исследования, перенос значения и метафора как его частный случай представляет собой сложную и, вероятно, иерархическую семантическую структуру. На нижних ярусах семантической структуры метафоры располагаются номинативные семы, которые уже способны определять характер семантического переноса, но, разумеется, не выходя за рамки модели предметного мира. Компоненты верхних ярусов обуславливаются векторными связями и отношениями. С одной стороны, их определяют отношения человека с предметным миром, а с другой — отношения между людьми. В первом случае для метафорического значения эмотивный компонент не является доминантным, хотя может определять смысловой фон, во втором случае эмотивный компонент не только проецирует и служит источником самого переноса, но и оказывается ведущим способом формирования семантической структуры метафорического значения.

Когнитивная энергия метонимии. Семантическая сущность метонимии состоит в использовании известного означающего для причинного именованного нового означаемого, ассоциируемого с означаемым прямономинативного знака по принципу смежности означаемых объектов (Сандакова М.В., 2004: 29). Например: *глаз (глаз) нужен* — 'исходим присмотр, надзор' (*глаз* → *присмотр, надзор*); *голова* — 'умный' (*голова* → *разум*). Ср.: 1) *Хозяйский глаз* *ведь нужен* (А.С. Пушкин. Граф Нулин); 2) *Вчера просилась*

спать — отказ; Ждем друга: *нужен глаз да глаз!* (А.С. Грибоедов, Горе от ума); 3) Я, кажется, человек ...не то, чтобы совсем глупый — напротив, добрые люди еще *головой* зовут (М.Е. Салтыков-Щедрин, Губернские очерки).

Когнитивные механизмы языкового сознания подчинены ассоциативному переносу в означаемое знака вторичного именования признака, названного знаком первичной номинации, по которому видовое имя представляет родовое понятие: *правая рука* чья (рука → человек) 'кто-л. у кого-л. первый, главный помощник'. В когнитологии мышление рассматривается как механизм и процесс обработки знаний, их представления в нашем сознании. Когнитивной основой метонимической вербализации чаще других концептуальных структур выступают фреймы и сценарии, особенно тогда, когда смысловое содержание выражено средствами косвенного знакообозначения, в частности дискурсивными идиомами, процедурно представляющими стереотипные ситуации типа *не покладая рук*. Данная идиома представляет такую стереотипную ситуацию, когда какая-либо работа выполняется человеком усердно, без усталости, не переставая, без отдыха, старательно.

Интерииоризация знаний о вторичной денотативной ситуации в означаемое дискурсивной идиомы осуществляется опосредованно, т.е. путем перенесения смыслов по смежности номинируемых объектов. Такого рода интерииоризация представляет собой преобразования элементарных звеньев фрейма, называемых слотами (Баранов А.Н., Добровольский Д.О., 1990: 25). Под слотами понимаются элементарные смысловые ячейки фрейма, которые заполняются конкретными семами в процессе формирования значения знака. Например, фрейм, представляемый идиомой *замолвить словечко* (слово) за кого, о ком, возник путем преобразования слота «сказать» исходного фрейма результирующим слотом «попросить». В итоге фреймовых преобразований сформировалось значение идиомы 'походатайствовать перед кем.-л. влиятельным в пользу кого-л.'. Наряду с преобразованием слота исходного фрейма в структуру нового фрейма потребовалось введение нехарактерных слотов «(просить) кого-л.» и «(просить) в пользу кого-л.».

В связи с такой интерпретацией метонимической модели преобразования первичного знака в знак вторичной номинации уместно

напомнить понимание Е.В. Падучевой сущности метонимического переноса как смещения фокуса внимания: метонимия переводит участников ситуации с заднего плана на передний (с периферии в центр) и наоборот. Так, в высказывании *Мне не ставили палки в колеса, не мешали работать* (Ф. Вигдорова) слот первичного фрейма «цель действия», находящегося на периферии его структуры, во вторичном фрейме перемещается в центр структуры.

Чтобы проследить за такой транспозицией, необходимо обратиться к лингвокультурологическим данным. Анализируемая идиома восходит к обычаю использовать специальные палки для замедления хода телеги, повозки и других средств передвижения. Следовательно, имело место омонимичное свободное словосочетание, в котором все слова употреблялись в буквальном (прямом) значении, а все сочетание вскоре приобрело метонимический смысл: «палки в колеса телеги вставлялись палки». На периферии и даже за пределами сочетания оставалась невербализованная информация, «для замедления хода телеги, спускающейся с горы». При этом смысловое содержание высказывания сопровождалось положительной коннотацией: «благодаря таким действиям спуск прошел успешно, благополучно». В процессе фразеологизации периферийный слот «замедление хода (торможение)» перемещается в центр фразеологического значения, определяя тем самым его интенционал «намеренно мешать кому-л. в каком-л. деле, в осуществлении чего-л.». Изменился также модально-оценочный вектор значения «неодобрительно»: имеются в виду недоброжелательные действия, совершаемые втихую, исподтишка. В отличие от метафоры, появляющейся в языке путем парадигматического преобразования концепта (Опарина Е.О., 1998), метонимия — результат его синтагматической трансмутации, один из способов вербализации пространственных отношений. Метонимия призвана сужать номинативное поле, выделяя предмет вторичного именования из области возможного. Иными словами, метонимия подчинена референции (О.П. Ермакова, Н.Д. Арутюнова). Взаимодействием метонимии и фразеологизма метонимического происхождения выступает ситуация. Оказавшись в позиции предиката, метонимия превращается в метафору.

Когнитивный принцип в теории фразеологической семантики заключается в соотношении структуры значения знака-идиомы с механиз-

мами интеллектуальной деятельности человека и в конечном итоге со структурированными элементами его языкового сознания. Иными словами, знание и значение при таком подходе рассматриваются в их генетической соотнесенности и корреляции, во взаимодействии.

3.6. Когнитивно-семасиологическая интерпретация внутренней формы языкового знака

В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы современной лингвистики семантика номинативных единиц рассматривается как синергетическое единство внутреннего и внешнего содержания языкового знака. Внутреннее содержание слова составляет его собственно языковая семантика — результат взаимодействия лексического, грамматического, словообразовательного и стилистического значений.

Первые два представляют собой «языковленные» предметные и структурные отношения языкового знака к внеязыковым объектам номинации (Ungerer F., Schmid H.-J. 1996: 37), вторые два (словообразовательное и стилистическое значения) порождаются генетическими (деривационными) и функционально-смысловыми отношениями, устанавливающимися между единицами внутри языковой системы. И те и другие формируют семантическую структуру слова: смысловую структуру многозначного слова (структуру его ЛСВ) и семантему (семную структуру) каждого ЛСВ.

Внешнее содержание номинативных единиц языка детерминировано их внеязыковыми связями и отношениями, порождающими основные протосемантические категории — универсально-предметный код (УПК), предметный остов, концепт и внутреннюю форму слова.

Универсально-предметный код — первая когнитивная структура, уже во внутренней речи закладывающая мыслительный базис языковой семантики. В его основании лежит достаточно информативное содержание, формирующееся в процессе осмысления и обобщения денотативной ситуации. Денотативные схемы подобного рода фокусируют эмпирические знания о предмете номинации и его связях и отношениях с другими элементами дискурсивного

знания во внутренней речи, имеющей, по данным А.Р. Лурия, решающее значение для перекодирования замысла в развернутую речь и для создания порождающей схемы развернутого речевого высказывания. Именно внутренняя речь служит основным «механизмом, превращающим внутренние субъективные *смыслы* в систему внешних развернутых речевых *значений*» (Лурия А.Р., 1975: 114). Поскольку субъективные смыслы воплощаются в предметно-чувственных образах, внутренняя речь призвана перевести план содержания таких образов из сукцессивно (линейно) представленных фрагментов дискурсивного сознания в симультанную (нелинейную, целостную) структуру. Последняя в силу своего предметно-наглядного статуса была названа Н.И. Жинкиным (1982: 63) предметно-образительным, или универсально-предметным кодом (УПК).

Предметно-изобразительный код, — утверждает ученый, — *ско- не конкретный образ, а образная схема, выполняющая роль по- дника между языковым знаком и обозначаемым предметом. «Не наз» — потому что УПК не представляет собой целостной и за- нной картинки.*

И все же, на наш взгляд, УПК не лишен в нашем сознании об- ного представления, пусть даже и схематичного. Будучи пред- метно-изобразительным кодом, УПК действительно представляет собой образную схему, смысловое содержание которой сопровож- ается наглядным образом. Это, надо полагать, сжатая, контурно- представленная схема, по которой осуществляется интериоризация (идеотическое перерождение предмета номинации). Ее когни- тивная сущность состоит в том, что в речемыслительном процессе денотативная структура (обобщенное отражение предмета) преоб- разовывается в семантическую структуру знака, а при восприятии язы- чного знака, наоборот — семантическая структура (означаемое) переводится в денотативную структуру номинируемого объ- екта. УПК, таким образом, выполняет посредническую функцию, обеспечивая возможность взаимопонимания между общающимися. Исходный протосемантический конструкт, непосредственно со- держащий довербальную информацию в смысловое содержание, передается посредством так называемого предметного остова.

Понятие «чистый предметный остов», введенное в науку Шпетом (1994), с одной стороны, несколько отличается от УПК,

а с другой — от внутренней формы слова. Если УПК — посредник между познаваемым объектом и языковым знаком, то предметный остов — **элемент словесной структуры**, точнее, смысловой структуры языкового знака. Психологи утверждают, что предметный остов языкового знака не дан, а задан (Шпет Г.Г., 1994). Он может быть реализован в языковом знаке, в котором, собственно, ему и сообщается некий смысл, включающий в себя образ действия, моторную программу и т.п.

Итак, предметный остов языкового знака — это образ, но образ амодальный, образ уже осуществившегося или будущего предметного действия. Такой образ может приобрести то или иное словесное выражение. Например, намерение пригрозить кому-либо обычно обретает предметный остов-образ, в пределах которого кодируется амодальное содержание: «адресат может быть (или будет) наказан, проучен». Это чистая амодальная программа будущего предметного действия. При этом зрительный образ еще не сформирован. Он формируется в дискурсивной деятельности вместе с выбором той или иной словесной структуры. Ср.: *наказать* кого-л., *проучить* кого-л., *показать, где раки зимуют* кому, *костей не собрать*; *спустить (содрать) шкуру* с кого, *стереть в порошок* кого.

До словесного облачения предметный остов остается стержневым элементом мысли: **человек знает умом, что он хочет сделать, какое воздействие произвести, но не может то, что знает умом, собрать в зрительный образ**. Виртуальная, желаемая реальность становится актуальной лишь тогда, когда возникает наглядно-чувственный образ, проецирующий, в свою очередь, образ словесный. На этом этапе предметный остов превращается в «живую» *внутреннюю форму* слова, в которой динамика предметного действия сообщает слову почти ощутимую поэтическую (образную) энергию. Без этой энергии слово не может «жечь сердца людей». А слово в функции вторичной номинации еще и приращивает, умножает свою поэтическую энергию, чтобы затем сторичей вернуть ее действию.

Предметный остов в структуре внутренней формы в сочетании со смысловым восприятием объекта номинации представляет собой когнитивную базу любого языкового знака и в этом плане связан с этимологией слова. Этимон — первое изображение на дисплее дискурсивно-когнитивного порождения слова и его значения. Это своего

ода речемыслительный конструкт, в котором находит выражение
е, как представлен нашему сознанию концепт в результате сопоставления
тавления всех форм его репрезентации в экстенционале языкового
ака. Так, для слова *истребитель* этимологически выступает первичный
нструкт концепта «истребление, уничтожение», схваченный по
ицистическим признакам обобщенный *образ*; он уже понятен и даже
ивалентен понятию, но существует еще в другой системе изменений
ний (ср. работы В.В. Колесова). Смысловым и эмбриональным
ром этимона является внутренняя форма имени концепта. Не
лучайно некоторыми исследователями концепт отождествляется
с смыслом имени, вследствие чего он определяется как способ, ко-
рым имя выражает информацию о предмете через соответствующее
е понятие.

В лингвистике нашего времени «понятие» и «концепт» обычно
личаются, хотя характер их соотношения и содержания интерпретируется
неоднозначно (ср.: ЛЭС, 1990: 383–384; КСКТ, 1996: 16; Болдырев Н.Н., 2002: 16). С точки зрения когнитивно-семасиологического
содержания языкового знака концепт — культурно-семасиологический феномен,
поскольку обладает способностью отражать не только смыслы, облаченные в языковую
плоть, но и так называемые «невербализованные» («молчаливые») смыслы.

Истоки подобных суждений восходят к определению, сформулированному основоположником концептуализма Петром Абелем: *концепт — это не форма, а способ схватывания смысла — свертывание суждений (высказываний) в одну точку зрения на тот или предмет*. «Схватывание смысла» означает своего рода попытку понять, каким образом нашему языковому сознанию представляется когнитивное содержание языкового знака. Это, в свою очередь, ставит вопрос, как порождается концепт в процессе того или иного речемыслительного акта, что служит связующим мостиком, по которому осуществляется перевод когнитивной структуры в языковую форму. В поисках ответа на данный вопрос целесообразно обратиться к мысли В. фон Гумбольдта, согласно которому таким «мостиком» является в языке его внутренняя форма, не являющаяся, однако, исключительно интеллектуальной (поэтому не отождествляется с понятием / представлением), ни формальной структурой в узком понимании. Она, в интерпретации Г.Г. Шпета, может вы-

ступать абсолютную форму, формой форм словесно-логического плана, т.е. формой форм как чувственной, так и смысловой данности (Шпет Г.Г., 2003: 101).

Внутренняя форма слова, в отличие от понятия — категории объективной, классифицирующей, статичной, логической, характеризуется способностью к субъективному, переживаемому, динамичному и поэтому лингвокреативному представлению предметов номинации в языковом сознании говорящих на определенном языке. Лингвокреативная функция внутренней формы слова лежит в основе определения В.Н. Манакина: «Внутренняя форма слов, являясь средоточием этимологической памяти слова, хранителем первоначального концептуального представления о предметах, служит и указателем дальнейшего семантического развития слова, прокладывает пути будущих возможных смысловых ассоциаций, которые формируют разные значения» (Манакин В.Н., 2004: 246–247).

Внутренняя форма как закон смыслового развития слова не может быть ни самим смыслом (равно как и образом, сопровождающим представление, механизмом ассоциации и аперцепции), ни этимологически исконным значением слова. Она является продуктом дискурсивного мышления, служащим для нашего языкового сознания импульсом, толчком, отправным пунктом к преодолению тех противоречий, которые так или иначе имплицированы в концепте в виде скрытой когнитивно-дискурсивной энергии, определяющей творческий потенциал языкового знака. Преодоление этих противоречий доступно всем говорящим на данном языке, поскольку осуществляются по повторяющимся законам живого комбинирования словесно-логических единиц, т.е. по словесно-логическим алгоритмам. Именно такого рода алгоритмы позволяют назвать способы представления смыслового содержания в языковом знаке его *внутренней формой*. Однако в этом случае речь идет скорее о внутренней форме слов как *словесно-логическом* представлении заключенного в них смысла. В поэтическом языке слово обычно обращено к переносным смыслам, способы представления которых нашему сознанию отличаются их обусловленностью эстетическими переживаниями и воображаемыми ассоциативно-образными импликациями. Поэтому такие способы презентации нашему сознанию когнитивно-смыслового содержания мы вслед за Г.Г. Шпетом

называем художественными (поэтическими) внутренними формами слова (Шпет Г.Г., 2003: 144).

Внутренняя форма слова, таким образом, как пограничный элемент когнитивной и языковой семантики — понятие более емкое и широкое, чем предметный остов и УПК — элементы когнитивной структуры. При этом все они служат этапными, узловыми механизмами формирования образной семантики языковых знаков: **УПК — предметный остов > внутренняя форма > словесный образ**. Здесь, однако, следует сделать еще одно важное уточнение: УПК — предметный остов структуры слова, хотя и глубинные, но все же элементы семантической структуры слова, поскольку противоположаются вещи — референту слова.

«Следовательно, если объект знакообозначения условно назвать внешней формой речемышления, а актуальное значение языкового знака — оптической формой, то лежащие между ними логические формы следует считать внутренними и по отношению к первым, и по отношению ко вторым» (см.: Шпет Г.Г., 2003: 400). По мнению Г.Г. Шпета, внутренняя форма языкового знака должна рассматриваться с точки зрения двух его взаимосвязанных функций — номинативной и семасиологической. В рамках первой внутренней форма вскрывает свою номинативную предметность, а в рамках второй — предметность смысловую.

Номинативная предметность внутренней формы языковых знаков традиционно вызвала особый интерес в отечественной науке о языке. Ф.И. Буслаев впервые сформулировал очень распространенное положение о том, что источником языковой номинации служит, как правило, тот признак, который прежде всех бросается в глаза и глубже, чем другие, волнует наши «чувства и воображение». Сущностные свойства этого признака как эпидигматическо-на деривационной памяти языковых значений были обобщены в понятии «внутренней формы» (В. Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Вундт), получившем оригинальное, собственно лингвистическое название в трудах А.А. Потебни. Ученый опирается на понятие восприятия — обусловленности каждого конкретного восприятия предыдущим опытом человека. Под прошлым опытом понимают все знания, взгляды, интересы, эмоциональное отношение данной личности. И не только. Опираясь на Г. Штейнталья, С.Д. Кацнельсон пи-

шет: «Апперципируя внутреннее, слово апперципирует тем самым и внешний объект. Если восприятие нашло выражение в звуковом рефлексе, то как восприятие, так и воспроизведенный в памяти образ апперципируется этим рефлексом, и этот рефлекс представляет находящийся внутри образ, или интериоризованный <...> предмет» (Кацнельсон С.Д., 2001: 39).

Эти мысли представляются нам особо ценными для понимания семантики знаков вторичной номинации, поскольку их значения формируются опосредованно, путем использования того коллективного опыта народа, который закодирован в соответствующих знаках первичного именования. Таким посредником между значением знака вторичной номинации и значением его производящего и выступает внутренняя форма. Из этого следует, что содержание внутренней формы составляют те смысловые элементы лексической и грамматической семантики знака-прототипа, которые послужили ее генетическим источником. Ср.: *лить воду на мельницу* чью, кого — 'косвенно помогать, содействовать кому-л. своими поступками, доводами'; *держат под своим крылышком* кого — 'опекать, оберегать, помогать и покровительственно относиться к кому-либо'; *наводить / навести тень на плетень* — 'намеренно вносить неясность, сбивать с толку'. В первом случае внутренней формой служит образное представление о «механизме» работы водяных мельниц, во втором — о заботливом отношении птиц к своим детенышам, в третьем — о теневом отражении предметов. Кроме денотативных сем лексических компонентов, в создании внутренней формы принимают также участие и грамматические семы первично-денотативного характера, которые, выражая определенные отношения между предметами, воспроизводят в нашем воображении целые денотативные ситуации, в контурном виде предопределяющие характер и основные направления формирования семантической структуры слова и соответственно его понимания участниками коммуникативного акта.

Большинство исследователей выводит внутреннюю форму за пределы семантической структуры слова в область психических (сенсорно-перцептивных) категорий. Сам по себе такой подход к интерпретации анализируемого понятия не вызывает возражений, однако представляется односторонним. Внутренняя форма — ре-

Открытый А.А. Потебней элемент языковой семантики («ближайшее значение») назван им формальным, поскольку он «является формой другого содержания» (Потебня А.А., 1976: 22). Иными словами, «ближайшее значение» служит внутренней формой репрезентации дальнейшего значения, способом языковой объективации интеллектуально-эмоционального содержания.

Итак, внутренняя форма языкового знака рассматривается нами как синхронный эпидигматический компонент его семантической структуры, служащий идиоэтнической основой косвенно-производной номинации, т.е. отражающий тот денотативный признак, по которому и был наименован соответствующий фрагмент реальной действительности. Ср., например, внутренние формы 1) «ограниченность» в семантической структуре идиомы *руки коротки у кого* — 'нет права, возможности, силы что-л. сделать, предпринять', 2) «основание, сущность» в семантике фраземы *смотреть (глядеть) в корень* чего — 'входить, вникать в сущность чего-л.' и т.п.

Во внутренней форме знаков вторичной номинации оказываются взаимосвязанными номинативный, предикативный и действительный аспекты смыслообразования. В зародыше такая внутренняя форма содержит в себе и коннотативный, и оценочный, и семантический компоненты. Поэтому внутренняя форма не сводима ни к концепту, ни к эмосеме, ни к этимологическому значению. Это своего рода речемыслительный кентавр, фокусирующий в себе один из признаков этимологического образа, модально-оценочный элемент эмосемы и отдельные смысловые гены концепта. В этом отношении чрезвычайно важным представляется суждение Г.Г. Шпета о том, что внутренняя форма номинативных единиц не исчерпывается логическими, т.е. смысловыми, формами. Логические формы образуют лишь семасиологическое ядро знака, которое как бы обволакивается формами синтагматическими.

Именно сложное сплетение синтагматического и ближайшего логического (смыслового) слоя образует сложные и не всегда уловимые контуры внутренней формы. Причем синтагматические формы знаков не прямой номинации шире логических и целиком в последние не укладываются. Перефразируя Н. Заболоцкого, можно сказать, что под поверхностью каждого такого знака шевелится бездонная смысловая мгла. Своеобразие синтагматических форм со-

стоит в том, что они сначала предполагают, а затем модифицируют логические формы.

Для понимания внутренней формы знаков не прямой номинации существенно замечание Г.Г. Шпета об игре синтагм и логических форм между собою. Последние, по его мнению, служат лишь основанием для такой игры. Эмпирические синтагмы образуются капризом языка, составляют его улыбку и гримасы, поскольку эти формы тривы, вольны, подвижны и динамичны (Г.Г. Шпет). Ср.: *и (даже) провью (глазом, ухом, усом) не ведет / не повел (-а, -и)* — 'кто-либо ничем внешне не проявляет своего отношения к кому-либо или к чему-либо, сохраняя спокойствие, проявляя самообладание, сдержанность', *хоть отбавляй, осоты пруд пруди, яблоку негде (некуда) упасть, конца-краю (края) не видно (не видать, нет)* чему — 'очень много, в огромном количестве'.

Внутренняя форма знаков непрямого именования взаимодействует не только с внутренними формами знаков первичной номинации, но и с внутренними формами действия и образа. Слова в составе фразеологизма, например, своими внутренними формами проникают в действие, становятся его внутренней формой. Это делает действие осмысленным и эвристическим. Вот почему внутренняя форма знака меньше всего напоминает оболочку, напротив, предстает как стимул переработки и преобразования первоначальной информации, кодируемой в языковом знаке не прямой номинации (Алефиренко Н.Ф., 2004а: 71). Столь важную преобразующую функцию внутренней форме сообщают предметный остов знака и образ номинируемого действия.

Как речемыслительный «эмбрион» и внутренняя программа (тема) внутренняя форма, всплывая на поверхность языкового сознания, становится источником типичных системно нерелевантных ассоциаций, лингвокреативным стимулом оживления целой цепи функционально значимых связей, коннотаций и представлений — всей словесной гаммы образной палитры дискурсивной идиомы.

Внутренняя форма слова уподобляет концепт ближайшему родовому значению: *истребитель* — 'тот, который истребляет'. И в этом качестве он представляет в нашем языковом сознании суть категоризации соответствующего объекта познания и именования. Не последнюю роль в интенсификации коннотативных сем

языкового значения играют внутренняя форма как центр этимологического образа («скрученный, винтообразный бараний рог») и те экстралингвистические смыслы концепта, которые остались в процессе косвенно-производной номинации не объективированными. Кроме предметно-логического содержания, знак непрямого обозначения содержит информацию о субъективном понимании тех отношений, в которых находятся объект номинации и языковой знак. Значение таких знаков «зависит от того смыслового света, который на него падает от обозначаемого <...> предмета» (Лосев А.Ф., 1990: 75).

Лосевская метафора «смысловый свет», падающий от предмета номинации, по отношению к значениям знаков непрямого именования имеет особое этнокультурное содержание, полученное в результате ценностно-ориентированной интерпретации знаний не только о предмете знакообозначения, но и о той денотативной ситуации, частью которой он является. Такое этнокультурное содержание означаемого знака представляет: а) не объективированную в знаке часть концепта — когнитивного субстрата значения; б) экстралингвистические знания, расширяющие и углубляющие первичные представления об объекте познания; в) этноязыковые смыслы, косвенно исходящие от знаков первичной номинации, послуживших деривационной базой для вторичного лингвосемантизма; г) коммуникативно-прагматические смыслы, рожденные в процессе взаимодействия языковых значений в соответствующих речевых и ситуативных контекстах.

При таком понимании внутренняя форма слова — это некий смысловой эмбрион, по-разному актуализируемый в образном пространстве данного концептуального поля: а) тот, кто истребляет кого- или что-н. (*истребитель грызунов*), б) самолет-истребитель, в) летчик истребительной авиации.

Таким образом, когнитивно-семасиологическое содержание языкового знака формируется пересечением самых разных по своей когнитивной онтологии смысловых линий, идущих от концепта, предметного остова, УПК и внутренней формы слова. Иерархически организованная совокупность элементарных смыслов, порождаемых этими смысловыми линиями, образует семантическую структуру слова.

Глава 4

ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЖИВОГО» СЛОВА

4.1. Дискурсивные истоки «живого» слова. 4.2. Дискурсивная синергетика «живого» слова. 4.3. Дискурсивные смыслы «живого» слова. 4.4. Дискурсивная стилистика «живого» слова. 4.5. «Живое» слово и речевой жанр.

Молчат гробницы, мумии и кости,
— Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И.А. Бунин

4.1. Дискурсивные истоки «живого» слова

Понятие «дискурс» несколько популярно, настолько и трудно определяемо. Его популярность уже выходит за пределы научного употребления. Так, в романе Б. Акунина «Пелагия и черный монах» читаем: *«Сергей Николаевич Лямпе, скорее всего, тоже гений, как Есихин. Но беда в том, что Есихину не нужно доказывать свою гениальность на словах — написал картину, и всё понятно. Лямпе же учёный, причем занимающийся странными, граничащими с шарлатанством исследованиями. Тут без убедительных и, желательно, даже противоречивых, объяснений обойтись никак нельзя. Но беда в том, что Сергей Николаевич страдает тяжелейшим расстройством дискурсивности. — Чем-чем? — не поняла Лисицына. — Нарушением логичной речи. Попросту говоря, слова у него не поспевают за мыслями. Что он говорит, понять почти невозможно. Даже я в девяти случаях из десяти не догадываюсь, что именно он хочет сказать»* (Б. Акунин). Однако расширение сфер употребления лишь делает это понятие ещё более загадочным. И прежде всего с точки зрения его отношения к издавна употребляемому родственному понятию «текст».

Методологические основы исследования дискурса закладывались в трудах ученых французской и англоамериканской школ дискурс-анализа. Диапазон истолкования основных категорий («текст» и «дискурс») практически трудно обозрим: от их синонимической взаимозамены (причем то, что одни исследователи называют текстом, другие именуют дискурсом и наоборот) до трудно обозримого многообразия истолкования дискурса.

Классическим примером первого подхода является позиция известного французского лингвиста Э. Бенвениста, последовательно использовавшего термин «дискурс» (*discours*) вместо термина «речь» (*parole*). Разделяют такой подход и некоторые отечественные ученые, считающие термин *дискурс* избыточным, поскольку он покрывает содержание традиционного термина *текст*. Принципиально противоположную точку зрения отстаивают те исследователи, которые доказывают необходимость сосуществования этих понятий. Оба подхода располагают весьма убедительным арсеналом аргументов, что не только не разрешает проблемы, но ещё более обостряет полемическое противостояние сторон.

Пока лишь ясно, что востребованность понятия «дискурс» обусловливается стремлением как модифицировать традиционные представления о тексте, так и найти для сопряженных с ним понятий — «речь», «диалог», «стиль» и «язык» — некую объединяющую категорию.

Действительно, если отвлечься от многочисленных вариаций терминологического содержания дискурса и попытаться оставить в нём только наиболее существенное и категориально значимое, то в нём найдут своё отражение свойства и когниции, и речи, и текста, и диалога, и стиля, и языка.

Когнитивной составляющей речи являются когнитивные механизмы ее порождения, знание мира, мнения, ценностные установки, играющие важную роль для понимания и восприятия информации. При этом в центре внимания исследователей оказывается диалогичность речи-мышления, поскольку субъект речи вне зависимости от наличия / отсутствия реального или воображаемого (потенциального) адресата проецирует на него своё сообщение, подбирая для этого необходимые локативные и перформативные средства. Именно поэтому современная практика дискурс-анализа основыва-

ется на изучении «закономерностей движения информации в рамках коммуникативной ситуации» (Серио П., 1999: 25).

Поскольку же обмен информацией осуществляется чаще всего через обмен репликами, то в реальном дискурс-анализе, как правило, моделируются наблюдаемые структуры диалогового взаимодействия. Такой подход позволяет сосредоточиться на динамическом характере дискурса, закладывая тем самым главный принцип отграничения дискурса от традиционного представления о тексте как образовании статическом. Для текста это будет кодирование денотативной ситуации (излагаемых событий), для диалога — интерактивный обмен информацией (речевое сознание участников этих событий, перформативная информация, интерактивное структурирование высказываний и их понимание общающимися). Стиль речи при таком подходе оказывается формой выражения стиля мышления при использовании в определенной конфигурации тропов и фигур для эксплицитного или скрытого представления обстоятельств, сопровождающих событийную информацию и оценочную модальность в отношении участников описываемых событий и создающих тем самым уникальный для данного речемыслительного акта стилизирующий фон.

Язык в совокупности своих знаковых единиц служит дискурсивной деятельности в качестве средства представления когнитивных структур в процессе речемыслительной деятельности. Таким образом, дискурс рассматривается как «третий член» в сосюровской оппозиции «язык — речь». Теоретические предпосылки для превращения данной дихотомии в трихотомию были заложены в работах известного в своё время бельгийского лингвиста Э. Бюиссанса.

Столь широкий смысловой диапазон данного понятия привлекает к нему внимание специалистов из разных научных сфер, занимающихся коммуникативно-прагматическими проблемами культуры. О дискурсе пишут философы, психологи, литературоведы и, конечно, лингвисты. Все ищут в нем и открывают свой «момент истины». Кроме того, терминологическое содержание дискурса окрашивается различными национальными традициями. Наиболее влиятельными из них являются а) *дискурс-анализ* американского лингвиста З. Харриса (1952), б) современная теория дискурса французской школы (П. Серио), развивающая идеи французских структура-

листов и постструктуралистов (М. Фуко, А. Греймаса, Ж. Деррида, Ю. Кристевой) и их более поздние модификации (М. Пешё и др.) и в) российская когнитивно-дискурсивная школа (Н.Д. Арутюнова, В.З. Демьянков, А.А. Кибрик, Е.С. Кубрякова и др.).

Отечественную школу отличает лингвоцентрический подход к пониманию дискурса, стремление уточнить и развить традиционные понятия речи, текста и диалога. Основным побуждающим мотивом к таким размышлениям стало все более очевидное понимание, что классическое противопоставление языка и речи, принятое Ф. де Соссюром, хотя и открыло «второе дыхание» лингвистическим исследованиям начала XX века, все же лишено той связующей нити, схватившись за которую можно было бы выйти за формальные рамки психофизической репрезентации идеальных языковых образований.

Необходимо расширить противопоставленные горизонты языка-речи, чтобы проникнуть в тайны невидимого речемыслительного пространства, в котором «встречаются» мысль, язык, речь, сознание и культура. Такой нитью Ариадны стал дискурс, который, с одной стороны, выходя за пределы речевой деятельности, устремлен к мыслительным прототипам общения, а с другой, преодолевает границы «языкового видения мира», обращаясь к другим семиотическим (паралингвистическим) средствам его познания. Наиболее лаконично и афористично глубинная сущность искомого понятия была сформулирована Н.Д. Арутюновой: «дискурс — это речь, погруженная в жизнь».

Данное ныне принятое, пожалуй, всеми исследователями определение дискурса явилось результатом развития идей, возникших в рамках предшествующей дискурсивному анализу дисциплины — лингвистики текста (В.Г. Гак, С.И. Гиндин, Т.М. Николаева, Е.В. Падучева и др.). Казалось, сама лингвистика текста нуждалась в обновлении и расширении горизонтов видения речемыслительных проблем, поскольку она не могла в рамках своих методологических установок раскрыть природу и сущность единиц более крупных, чем предложение, но не вмещающихся в понятие «текст».

Для того чтобы ответить на вопрос, что же не укладывается в объем понятия «текст», обратимся к его дефиниции. А вот первое недоумение! В популярном зарубежном издании — «Словаре линг-

вистических терминов» Ж. Марузо вообще отсутствует определение текста (как, впрочем, и дискурса). В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой искомое понятие сформулировано следующим образом: текст — «реальное высказанное (написанное и т.п.) предложение или совокупность предложений <...>, могущее, в частности, служить материалом для наблюдения фактов данного языка» (Ахманова О.С., 2007: 365). Под предложением здесь понимается, конечно, единица речи (высказывание). Однако в таком случае в объяснении нуждается и системный статус самого текста: это единица речи или сама речь? В интерпретации В.Б. Касевича, и то и другое. В «широком» смысле текст есть речь, а в «узком» — единица речи. Двойственность, разумеется, не способствует устранению лакун в лингвистическом представлении сущности данного феномена. Во-первых, потому, что не понятно, является ли такая единица однопорядковой с другими единицами речи (высказыванием, абзацем, сложным синтаксическим целым). Во-вторых, признание за текстом статуса единицы речи порождает не менее важный для теоретического языкознания вопрос. Известно, что единицы речи коррелируют с единицами языка (*звук* — фонема, *морф* — морфема, *лекс* [словоформа] — лексема, *высказывание* — предложение). Если рассматривать текст с точки зрения нашего понимания проблемы соотношения единиц языка и единиц речи, то текст не отвечает критериям, по которым те или иные сегменты речевых произведений обобщаются и абстрагируются в единицы языка. В связи с этим возникает вопрос: какую единицу языка объективирует текст? Ситуация усугубляется попыткой некоторых ученых рассматривать текст как единицу языковой системы. Так, Т.М. Николаева определяет текст как объединенную смысловой связью последовательность знаков, что не противоречит, на ее взгляд, отнесению текста к самым крупным единицам системы языка (ЛЭС).

В нашей концепции соотношения единиц языка и единиц речи текст не отвечает критериям, по которым те или иные сегменты речевых произведений обобщаются и абстрагируются в единицы языка. Прежде всего они не обладают, как все единицы языка, воспроизводимостью. Текст — производное в речи образование, а производимость, как известно, — главный признак речевых образований (В.М. Солнцев).

Можно, конечно, возразить таким суждениям, вспомнив о единицах с двойным статусом. Предложение, например, является и единицей языка (обобщенная структурная схема ряда однородных синтаксических построений), и единицей речи (конкретное предложение-высказывание); слово также выступает и единицей языка (лексема), и единицей речи (словоформа). Однако, в отличие от названных единиц, тексты не могут быть обобщены в какие-либо схемы, абстрагированные модели. Более того, каждая единица языка имеет свои параметрические ограничения (длину, объем) — то, что не свойственно тексту. Его объем и длина не имеют каких-либо ограничений (Кронгауз М.А., 2001); главное в ином: единицы должны создавать связные и целостные речевые произведения. В соответствии с этим текст интерпретируется как «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются *связность* и *цельность*» (ЛЭС).

Выделенные свойства текста не только не противоречат сущности дискурса, но и являются его категориальными признаками. Однако такое совпадение следует считать внешним. По своему же внутреннему устройству — это разные феномены. В тексте связность и цельность касаются формальных и семантических закономерностей построения, тогда как в дискурсе эти же свойства отражают когнитивную и прагматическую сущность речемыслительных структур. Сторонники лингвистики текста в этой части толкования сущности дискурса могут возразить: когнитивных и прагматических свойств, дескать, тексты также не лишены. И это действительно так. Разница, однако, в том, что в тексте эти свойства вытекают из природы его составляющих — коммуникативных актов. Они, с одной стороны, несомненно, прагматичны, а с другой — реализуют такие важнейшие когнитивные структуры, как суждения.

Разница в ином. Текст по сути своей образование сукцессивное, линейное: как определяет ЛЭС, «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц». Такого рода линейность может ограничивать творческий полёт мысли, о чём пишут не только исследователи, но и писатели. Так, в своём романе «Воскресная месса в Толедо» Д. Рубина признаётся: *«Странное ощущение владею мною: меня вдруг покинуло чувство, что я сочиняю эту пьесу, веду на ниточках этих кукол. Пропала магия совпадений, чудесное*

ощущение нитей, которые ты перебираешь пальцами, прядя повествование» (Д. Рубина). Речемышлительная деятельность человека нередко не вкладывается в линейную последовательность «пряденья», создающего текст, и ситуацию уже не спасает «чудесное ощущение нитей, которые ты перебираешь пальцами, прядя повествование». Речемышление покидает линейный мир и врывается в дискурсивное пространство, природа которого определяется не л и н е й н о й организацией. Именно это обстоятельство и позволяет изучать «живое» слово в рамках лингвосинергетической парадигмы языка, что существенно отличается от анализа дискурса, предложенного зарубежными лингвистическими школами.

Мы придерживаемся той концепции (Ю.Н. Караулов, В.В. Петров, Е.В. Пономаренко, И.С. Шевченко и др.), согласно которой дискурс — синергетическое коммуникативно-когнитивное явление, в состав которого входит не только сам текст, но и различные экстралингвистические факторы (знание мира, мнения, ценностные установки), играющие важную роль для понимания и восприятия информации. Элементами дискурса служат: излагаемые события, участники этих событий, перформативная информация и «не-события», т.е. обстоятельства, сопровождающие события, фон, оценка участников события и т.п. Теперь понятно, почему слово становится «живым» именно в дискурсе, который служит благодатным его источником.

Для создания когнитивно-семиологической теории «живого» слова в данном определении особой значимостью обладают терминологические определения — *коммуникативно-когнитивное и синергетическое* (явление). Коммуникативно-когнитивное потому, что дискурсивная природа «живого» слова изначально обусловлена двумя взаимосвязанными факторами: познавательными потребностями человека и его общественным статусом, предполагающим прежде всего обмен информацией и необходимость воздействовать на мысли, поведение и действия других субъектов этноязыкового сообщества. Не менее значимым категориальным свойством дискурса является его синергетика. Категориальный статус обуславливается тем, что по сути своей «синергетика» (от греч. *synergetikos*) означает 'совместное, согласованное, кооперативное действие'.

Открытая система (среда) — определенный вид систем (сред), которые обмениваются веществом, энергией и / или информацией с окружающей средой, т.е. имеют источники и стоки. Способные к самоорганизации открытые системы, как правило, имеют объемные источники и стоки, а именно в каждой точке системы.

Многие исследователи выделяют два основных аспекта в когнитивном анализе дискурса — структуры представления знаний и способы его концептуальной организации. В настоящее время в исследовании дискурса выделяются шесть основных направлений: теория речевых актов, интеракциональная социолингвистика, этнография коммуникации, прагматика, конверсационный анализ и вариационный анализ. Источниками формирования моделей понимания и методов анализа дискурса в перечисленных подходах (при всём множестве различий между ними) стали достижения таких дисциплин, как лингвистика, антропология, социология, философия, теория коммуникации, социальная психология и искусственный интеллект.

Несмотря на различия в этих подходах, в них наблюдается нечто общее и объединяющее, что одновременно является общим во всех когнитивно-ориентированных лингвистических исследованиях. Это антропоцентричность языка, точнее, заложенных в языке практических, теоретических и культурных знаний и опыта, освоенных, осмысленных и прямо или косвенно вербализованных носителями языка и восстанавливаемых в конечном счете (в результате семантического и концептуального анализа) в виде языковой картины мира.

Этот подход к пониманию дискурса можно назвать деятельностным. Наряду с ним существует ещё подход с точки зрения продуктов дискурсивной деятельности. В таком случае под дискурсом подразумевают не только речемыслительную деятельность, но и ее продукты (сочинения одного автора, научные публикации и учебники, выступления по каналам СМИ политиков и деятелей культуры, деловые письма и религиозные проповеди), являющиеся средствами взаимного воздействия коммуникантов.

Выделяют несколько типов дискурса: 1) институциональный, или, по Р. Барту, социализированный, 2) личностный, 3) научный, 4) публицистический, 5) юридический, 6) политический, 7) философский и т.п. Каждый из них обладает языковой, семантической

и прагматической спецификой. В своей совокупности разные типы дискурса формируют так называемое дискурсивное сознание человека, его мышление, миропонимание и мироощущение. Этим и объясняется междисциплинарное исследование дискурса: кроме лингвистики, ещё в философии, семиотике, культурологии и др.

В лингвистике одним из первых возник вопрос о том, чем понятие «дискурс» отличается от таких сходных с ним понятий, как «язык», «речь», «мышление» и «текст». Особенно часто дискурс отождествляется с языком и речью. Повод для этого, конечно, есть. Язык, как известно, — важнейший механизм, выполняющий две основные функции: функцию речепорождения и функцию рецепции речевых произведений. Речь — деятельность, направленная на реализацию функций языковой системы. Между системой языка и ее речевой реализацией существует некое третье пространство, которое И. Тодоров назвал «пропастью» неопределенности, а современная наука именует дискурсом. Поскольку он занимает промежуточное положение между языком и речью, в нем присутствуют оба феномена. Система языка снабжает его языковыми знаками, а речь предоставляет в распоряжение дискурсивной деятельности коммуникативные ситуации, речевые тактики и стратегии, социальный статус и целевые интенции коммуникантов (Ж. Гийом, Д. Мальдидье).

Имеются и философские предпосылки появления понятия «дискурс». К середине XX века стало ясно, что картезианская дихотомия «*res cogitas — res extensa*», господствовавшая в парадигмах новоевропейской науки, себя исчерпала. Новый этап развития науки о речемышлении стремится преодолеть пропасть, образовавшуюся усилиями прежней методологии между субъективным миром человека и всей остальной реальностью (Манаенко Г.Н., 2004).

Проблематика «чистого мышления» и «чистого бытия» изжила себя, поскольку превратилась в реликты спекулятивно-мифологического сознания. Противопоставляемые понятия на самом деле не исключают друг друга. Они, скорее, являются противоположностями единого и целостного опыта каждого субъекта социокультурной общности, или единством противоположностей.

Третий фактор заключён в сущности текста. Именно понимание его многокачественной природы привело к появлению таких пара-

текстовых понятий, как *подтекст*, *сверхтекст*, *гипертекст*, *интертекст* и т.п. (см.: Чумак-Жунь И.И., 2005). Требовалось понятие, с одной стороны, более объемное, чем текст, а с другой — содержащее текст. Им и стало понятие «дискурс», которое является, конечно же, текстом, хотя не каждый текст можно назвать дискурсом.

Дискурс можно считать текстом лишь в том случае, если он подвергается личностному осмыслению говорящих: шифруется, дешифруется, интерпретируется.

В пространстве гетерогенных дискурсов формируется сознание современного человека, его мышление, миропонимание и мироощущение. Не случайно в науке появляются самые разнообразные, главным образом, трансдисциплинарные исследования сущностных свойств дискурса: семиотические, лингвопрагматические, социологические и философско-культурологические, в которых делаются попытки уяснить закономерности их комплексного влияния как на отдельного человека, так и на общественное сознание в целом. Надо полагать, в этом направлении и следует искать факторы, стимулировавшие само появление понятия «дискурс», наряду с уже ставшими для нас привычными — «язык», «речь», «мышление» и «текст».

Прежде всего возникает вопрос о соотношении традиционного понятия «язык» и относительно нового — «дискурс». Существует точка зрения, согласно которой язык и дискурс нераздельны <...>. Вместе с тем на начальном этапе своего возникновения различие этих понятий, восходящее (в виде пары Язык / Речь) к Соссюру, является достаточно целесообразным. Оно дало импульс развития семиологии как научной дисциплины.

Дискурсивное пространство определенным образом регламентировано и находится во взаимодействии с системой языка: *язык перетекает в дискурс, дискурс — обратно в язык*. Согласно уже приводимому, образному выражению А.-Ж. Греймаса, они как бы держатся друг под другом, словно ладони при игре в жгуты. Ученый полагает, что разграничение языка и дискурса является промежуточной операцией, от которой в конечном счете надлежит отречься. Семиологии суждено было бы стать работой по собиранию побочных продуктов языковой деятельности — продуктов, которые суть не что иное, как желания, страхи, гримасы, угрозы, посулы, ласки, мелодии, досады, извинения, наскоки, из которых и складывается

язык в действии. Подобное определение, не будем отрицать, страдает сугубо личностным восприятием языка в действии. Однако в нем сконцентрирована суть взаимоотношений языка, дискурса и семиологии.

4.2. Дискурсивная синергетика «живого» слова

Под синергетикой дискурса мы понимаем взаимодействие всех порождающих его факторов, в результате которого происходит «слияние и со-действие энергией», направленное на онтологическую и функциональную «самоорганизацию» дискурсивного пространства и определяющее смысловую дистрибуцию его ингредиентов. В связи с этим, как нам представляется, смыслопорождающая энергия дискурса подпитывается различными энергопотоками: сенсорно-перцептивной образностью, знаково-символической интерпретацией первичных образов, действием превращенной формы в контексте и, наконец, воздействием экстралингвистической среды (ситуативного, коммуникативно-прагматического и культурного контекстов). В своем единстве названные энергопотоки представляют собой ассоциативно-деривационную сущность дискурса, благодаря которой используемые в нем языковые знаки становятся его основными единицами, способными нести не только рациональную информацию, но и выражать практически необозримый спектр человеческих эмоций, представляя в единстве понимание и переживание человеком воспринимаемого мира.

Поэтому объектом лингвистического анализа дискурсов любого типа (художественного, научного), смысловое пространство которых представляют (в разном соотношении) единицы первичной исторической номинации, становится не только текст, но и вся та социокультурная информация, которая этим текстом опосредуется. Самообразие анализа определяется типом дискурса. Остановимся на художественном дискурсе, представляющем собой прежде всего стадию формирования поэтической энергии единиц непрямого знаменования. При этом следует помнить, что центральной фигурой вторичного семиозиса выступает языковая личность — главный носитель в лингвокреативных процессах метафорического

мышления. Действительно, текст создается и воспринимается субъектами дискурса, без которых существует лишь «тело текста», последовательная цепочка каких-то фигур. Иными словами, «тело текста», рассматриваемое без означающего его субъекта речи, не может служить источником внутренней энергии. Таковым он становится, лишь когда погружается в соответствующее этнокультурное пространство, центральной фигурой которого выступает художник слова (писатель, поэт как языковая личность), создающий художественный текст. Только текст, погруженный в культуру, представляющий собой определенное дискурсивное пространство, может служить источником той энергии (образного напряжения, поэтической силы и интенсивности), в силовом поле которой порождаются знаки образной номинации. Что же является невидимым и поэтому таинственным источником поэтической энергии дискурса?

Как показывают наши исследования, таковыми прежде всего выступают прагматические и концептообразовательные механизмы формирования внутренней формы дискурсивно обусловленного языкового знака.

Дискурс — это речемышлительное образование событийного характера в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими, паралингвистическими и другими факторами. Концептообразовательные возможности дискурса обуславливаются самой его природой: образование дискурса обычно концентрируется вокруг некоторого обобщенного обыденного понятия, в результате чего создается определенный смысловой контекст, включающий в себя информацию о субъекте (-ах) речемышления, объектах, обстоятельствах и о пространственно-временных координатах.

Дискурс, концентрируясь вокруг некоторого опорного концепта, создает общий речемышлительный контекст, включающий в себя информацию о субъекте (-ах) речемышления, объектах, обстоятельствах, о временных координатах. Базовыми структурными элементами дискурса выступают: а) события, их участники, перформативная информация и б) несобытия (обстоятельства, сопровождающие события, фоновая информация, оценка события, информация, соотносящая дискурс с событием) (Демьянков 1983: 203). За дискурсом, следовательно, стоит особый мир. Более того, этот мир может

быть не только реальным. Чаше всего художественный дискурс, по Ю.С. Степанову, — это один из «возможных миров» многосложной структуры.

С точки зрения структуры дискурс — двустороннее образование, имеющее план выражения и план содержания (Сусов И.П., 1988: 8). План выражения дискурса — связанная последовательность языковых единиц, созданная в определенное время в определенном месте с определенной целью. В означающем дискурса дискурсивным этносознанием выделяются ключевые слова-концепты, вобравшие в себя смысловую и экспрессивно-оценочную энергетику всего коммуникативного события. Именно эти слова-концепты становятся, как правило, смысловым центром вторичного знакообразования. Значения же таких знаков заключают в себе свернутые модели дискурсивной деятельности.

План содержания дискурса образуют его семантика и прагматика. Семантическая структура дискурса представляет собой триединство следующих аспектов: а) реляционного, отражающего строение факта в виде признаков отношений между предметами; б) референциального, соотносящего аргументы пропозиции с предметами; в) предикационного, фиксирующего приписываемые семантическому субъекту признаки. В результате сложнейших лингвокогнитивных преобразований дискурса (редукции и перестройки плана выражения, с одной стороны, и образной конденсации плана содержания в процессе образования новых метафорических концептов, с другой) лингвокреативное мышление способно порождать знаки собственно-производной номинации.

Любой знак косвенного именованья (метафорическое сравнение, метафорическое и метонимическое сочетание, фразеологизм, идиоматизм), возникнув на базе дискурса, характеризуется асимметрией формы и содержания, когда смысловое содержание означаемого знака не вытекает непосредственно из линейно организованного текста означающего. Асимметрический дуализм дискурсивно образованных знаков порождается самой их генетической природой: они порождаются потребностью речемышления в образно-прагматических средствах — вербализации чувств, эмоциональных оценок, способов эмоционального воздействия, ярких и метких характеристик человека, предметов и явлений.

Когнитивная сущность дискурсивного знакообразования (разумеется, в иной терминологии) впервые была определена М. Лацарусом и А.А. Потебней как «сгущение мысли», когда появление на основе дискурсивного мышления новой внутренней формы и сама апперцепция в формирующемся знаке «сгущает чувственный образ, заменяя все его стихии одним представлением...» (Потебня 1999: 194). При этом происходит ослабление или даже забвение внутренних форм слов их дискурсивного переосмысления. В результате таких дискурсивно-когнитивных преобразований развивается несоответствие означаемого означающему дискурсивно обусловленного знака косвенно-производной номинации.

В соответствии с концепцией структурной асимметрии языкового знака при возникновении дискурсивно обусловленного знака нарушение взаимнооднозначных отношений между означаемым и означающим дискурса приводит к их асимметрии. Причем дискурсивное знакообразование осуществляется в процессе возникновения совмещенной асимметрии — парадигматической и синтагматической. Синтагматическая асимметрия проявляется в том, что целостная мыслительная структура (концепт, гештальт) объективируется в образной речи имплицитно, в виде устойчивого сочетания слов, возникшего в результате нарушения их смысловой дистрибуции: *одним миром мазаны* — 'одинаковы' или эксплицитно, в виде метафоры: *Молния сверкала синей птицей* (Б. Попплавский) < *молния* — синяя птица.

Парадигматическая асимметрия дискурсивно обусловленного знака образуется несоответствием его ассоциативно-смыслового содержания значениям слов в их первично-номинативном статусе. Ср. парадигматическую асимметрию фразеологических единиц и метафор: (а) *открывать Америку* — 'говорить, сообщать то, что всем давно известно' (насмешливо, пренебрежительно); (б) *Свой гребень подняла волна / Крылом нацелившейся чайки* (И.А. Васильев) < *гребень* — крыло чайки. Такого рода асимметрия отражает весь прагматический спектр синергетики художественного дискурса, включающего в себя интенциональный, ориентационный (дейктический), пресуппозиционный, импликационный, экспрессивно-оценочный, субкодовый (функционально-стилистический), модальный и коммуникативно-информационный (фокальный) компоненты

(И.П. Сусов), которые определяют коммуникативно-прагматические свойства языкового знака.

Изначальными коммуникативно-прагматическими факторами концептуальной организации дискурсивно обусловленного знака выступают не столько единичные денотаты и сигнификаты, сколько такие дискурсивные категории, как событие, ситуация, пресуппозиция, преконструкт, интердискурс, интрадискурс, которые уже были объектом нашего рассмотрения (Алефиренко Н.Ф., 2004: 5). Здесь же остановимся на событии как важнейшей категории для лингвокультурологического осмысления синергетики образного слова и дискурса.

«Событийное» представление мира выдвинуло на первый план идею связей и отношений, свойств и состояний, признаков и действий, выполняемых в окружающем мире. «Для события релевантен признак выделенности из потока происходящего» (Langacker R.W., 1991: 36). Внутри данной категории, вслед за В.З. Демьянковым (Демьянков В.З., 1983: 201), имеет смысл различать событие-идею, референтное событие и текстовое событие. События-идеи соотносятся в художественном дискурсе не с реальными объектами действительности, а с их «теньями». Вот почему понимание, например, простого стихотворения предполагает понимание не только каждого из составляющих его слов в их обычном значении: необходимо также понимание всего образа жизни (события-идеи), отраженного в словах и раскрывающегося в оттенках их значений (Сепир Э., 2003: 131).

Событие как идея находится вне пространственно-временного измерения. Так, за дискурсивно обусловленным знаком, возникшим на базе библейской притчи или, скажем, басни И.А. Крылова, необходимо «увидеть» весь дискурс одновременно как повествование и обучение; ср.: *петушка хвалит петуха, правая рука кого*. Событие-идея в результате интерпретации реального или виртуального события лежит в основе интенционала (предметно-понятийного ядра) образного слова. Собственно событие — это конкретный объект действительности, представленный дискурсом в пространственно-временном измерении как праобраз события-идеи.

В семантической структуре дискурсивно обусловленного слова собственно событие образует ее экстенционал, т.е. то денотативное пространство, с которым соотносится данное слово, или те образы

культуры, которые закодированы в его значении. Это позволяет один и тот же реальный объект подвергать разным интерпретациям. Ср.: *иметь голову на плечах* — 'быть умным, рассудительным, сообразительным'; *голова (котелок) варит* у кого — 'кто-л. умен, сообразителен, догадлив, понятлив'; *семи пядей во лбу* — 'очень умный, мудрый, выдающийся'. Вербализуемое таким образом событие дает возможность референтное событие представлять в разных денотативных вариациях текста.

Текстовое событие — это «плавное течение» референтных в пространстве и времени или «течение» событий-идей во времени. Текстовое событие, таким образом, представляет собой линейную интерпретацию предмета культуры в рамках соответствующего дискурса или интерпретацию предмета культуры в ряду фрагментов дискурса. В семантической структуре дискурсивно обусловленного знака текстовое событие представлено коннотативными и прагматическими смыслами (семами). Следовательно, лингвокультурологический анализ дискурсивно обусловленных знаков (единиц косвенно-производной номинации) должен опираться на экспликацию референтного события, события-идеи и текстового события, закодированных соответственно в экстенционале, интенционале и импликационале анализируемого знака.

Как особый тип культурно-семиотического контекста событие характеризуется референтностью, общественно значимой кульминативностью, динамизмом и «сценарностью». Ср.: *родиться в сорочке* (в *рубашке*) — 'быть удачливым, счастливым, везучим во всем'; *перейти Рубикон* — 'сделать решительный шаг, определяющий дальнейшие события, совершить решительный поступок, имеющий поворотное значение в жизни'. Значимость события для формирования концептуальной структуры знаков косвенно-производной номинации очевидна. «Событие после сущности» — основная единица языковой картины мира. Поскольку «на оси жизни событие занимает особое, выделенное место... это — веха, а иногда и поворотный пункт на жизненном пути... это — зарубка на шкале жизненных уровней, отмечающая высоту взлета и глубину падения», «событие нельзя не заметить» (Арутюнова Н.Д., 1999: 509). Поэтому под синергетическим воздействием дискурсивного контекста оно способно преобразовываться в когнитивную структуру — мыслительный субстрат образной единицы языка.

4.3. Дискурсивные смыслы «живого» слова

Сопоставление понятий «текст» и «дискурс» показало, что одним из важнейших категориальных свойств дискурса является его способность порождать новый смысл, неаддитивный семантике составляющих его языковых единиц. Его смыслопорождающая способность обусловливается тем, что в отличие от актуального высказывания дискурс состоит из элементов ранее произведенных дискурсов. Главным условием его формирования является интердискурс, а функционирование дискурса по отношению к нему самому обеспечивается интер- и интрадискурсом (Алефиренко, 2005: 8). При этом происходит нейтрализация субъективных смыслов и образование так называемого бессубъектного дискурса. С одной стороны, субъект «подавляется» интер- и интрадискурсом, а с другой — принимает дискурс как свое собственное произведение, забывая, что в нем присутствует интердискурс.

Сложные смысловые конфигурации, нуждающиеся в разнообразных средствах вторичного знакообозначения, зарождаются в глубинных пластах дискурса. Именно здесь при наличии необходимых условий обостряются противоречия между структурообразующими дискурс факторами, в результате чего высекаются первые искры лингвокреативного стимулирования процессов вторичного семиозиса.

Такого рода противоречия обнаруживаются и между лингвистическими и экстралингвистическими механизмами структурирования дискурса, и внутри них. К внешнему противодействию относятся причины актуализации языковых или внеязыковых стимулов «жизни» дискурса. Внутренние же противоречия буквально пронизывают языковую семантику, активно участвующую в конституировании смыслообразующего дискурса. Эти противоречия предопределили появление в лингвистике различных семантических теорий — «отражательной», релятивной и формально-логической (Виноградов, 1981: 18). Согласно первой смысловое содержание дискурса обусловливается интеграцией отображенных в сознании предметов номинации в соответствии с задачами коммуникативного акта. Релятивная теория обращает внимание на второй этап дискурсии — моделирование различных отношений как между вербализованными, так и внеязыковыми предметами мысли.

Формально-логическая концепция, находясь между хомскианским генеративизмом и теорией речевых актов, снабжает и укрепляет мысль о креативных возможностях дискурса идеями субъектно-объектного речепорождения и необходимости учитывать внешние (социокультурные и прагматические) условия общения. Роль и значение каждого из названных аспектов в конституировании дискурса зависят, разумеется, от понимания природы и сущности самого дискурса. Первый аспект ставит дискурс в подчинение языку, который своей семантикой в таком случае должен определять смысловое содержание дискурса. Второй исходит из представлений о дискурсе как сетке коммуникативно-прагматических отношений, а третий рассматривает дискурс как смыслопорождающее устройство. Ущербность каждого из этих подходов очевидна, поскольку ни один из них не отвечает комплексному осмыслению дискурса как речемышления, погруженного в жизнь. В них наблюдается недопустимая абсолютизация одной из частей понятия «дискурс» — или текста, или его внешнего окружения. В первом случае основой дискурса считается текст, а его внешний контекст — сопровождающим фоном, во втором случае — все наоборот. На самом же деле и семантика текста, и социокультурные условия текстообразования — обязательные компоненты смыслового содержания дискурса.

Все многообразие взаимодействия человека с миром дискурса достаточно емко отражено в известном суждении Ю.Н. Караулова: «За каждым текстом (продуктом дискурса. — Н.А.) стоит языковая личность, владеющая системой языка» [6, с. 27]. Не менее выразительно и справедливо звучит его перифразирование в устах К.Ф. Седова: «за каждой языковой личностью стоит множество производимых ею дискурсов» [11, с. 4].

Однако для осмысления роли дискурсивного мышления в образовании знаков вторичной номинации важно рассмотреть не столько процесс взаимодействия языковой личности с дискурсами, сколько взаимодействие с дискурсами всего этнокультурного сообщества, которое конкретно реализуется в речевой деятельности каждого человека — члена данного сообщества. Вспомним рылеевскую фразу, ассоциативно связанную с известной дискурсивной ситуацией: 1) «Куда ты ведешь нас? Не видно ни зги» — *Сусанину с сердцем Вскричали враги* (К. Рылеев); или 2) *Полина Андреевна в панике*

хлопнула дверь, что было глупо. Осталась в крошечной тьме и с перепугу даже забыла, в какой стороне выход. Да и как бежать, если не видно ни зги? (Б. Акунин).

Идиомы *не видно ни зги* могла бы быть вложена в уста любого говорящего по-русски, находящегося под магическим воздействием своего этноязыкового сознания, несмотря на то, что в ней содержится непонятное слово *зга*. Это старинное слово образовано, как полагают, от слова *стега* 'стежка, дорожка, тропинка'. Значит, буквальный смысл выражения — 'не видно даже тропинки'. А вот еще одно толкование: *зга* — металлическое колечко на дуге лошади, к которому прикрепляется повод. И если уж его не было видно, то, значит, стоит в дворе тьма крошечная. Затем, видимо, возник вторичный смысл: *зга* — 'темень, потемки, темнота'. Второе значение — 'кроха, капля, кра, малость чего-л.' (В.И. Даль). Правда, для того чтобы видеть тропу, и не было особой необходимости смотреть на нее через такую кроху, как *зга*. А вот чтобы распрячь и запрячь коня в темную ночь или в ненастье, её нужно видеть. В такой ситуации немудрено было услышать ворчанье кучера: «Ну, темень (потемки) — зги даже не видно». Так закрепилось в этноязыковом сознании выражение *ни зги не видно* в значении 'абсолютно ничего не видно, очень темно'.

Речь идет, собственно, не о противопоставлении отдельного носителя языка сообществу, а о том, как личностные смыслы говорящего становятся коллективными. Как нам представляется, процесс такого преобразования обеспечивается несколькими факторами: во-первых, принадлежностью говорящего к определенному лингвокультурному сообществу, что достаточно жестко ограничивает коллективную свободу выбора когнитивных моделей и языковых средств их представления в языковом сознании; он вынужден думать, воспринимать, понимать и вербализовать действительность в рамках определенного социокультурного опыта; во-вторых, языковые субъекты речи пользуются единой для всех когнитивной основой; в-третьих, говорящий всегда находится в плену коллективного языкового сознания и дискурсивных стереотипов.

Действительно, субъект речемыслительной деятельности зачастую не только не знает конкретной схемы вербализации замысла, но и смутно осознает отдельные его элементы. Поэтому «ход преобразования мысли в слово, — согласимся с К.Ф. Седовым, — пред-

стает перед нами как драматический конфликт между личностными смыслами и значениями, которые навязывает говорящему национальный язык» [Седов К.Ф., с. 8]. Кроме языкового сознания (системы языковых значений), в это противоборство подключаются стереотипные схемы построения стандартных дискурсов, «сила ассоциативных связей между словами», а также между прецедентными коммуникативно-прагматическими ситуациями и клишированными речевыми моделями.

Индивидуально-личностные смыслы говорящего, таким образом, вместо свободно конструируемого языковлечения вынуждены преодолевать тройной заслон: а) соответствовать этнокультурным эталонам, б) формироваться на общей для всего сообщества когнитивной базе и в) подчиняться диктату этноязыкового сознания, системе значений и законам дискурсивной стратегии. В итоге речевые интенции вступают в конфликт с существующими в системе языка средствами выражения мысли. Мысль нередко деформируется до неузнаваемости: 1) или сама перерождается, приобретая имплицитное содержание, скрывается за уже устоявшимися языковыми структурами; или 2) оставаясь без изменений, порождает нестандартные сочетания слов, которые не имеют прямых денотативных связей и с выражаемыми когнитивными структурами соотносятся исключительно ассоциативно. В первом случае «дискурс, скользящий по потоку насыщенного раствора языковых ассоциаций, где речь ведет серия стереотипных моделей, просто маскирует банальность» прецедентных феноменов. Так, чтобы выразить когнитивную структуру, «начинать действовать откровенно, переставая скрывать свои замыслы, планы, намерения», используется дискурсивно-прецедентное выражение *играть с открытыми картами*, трансформируя его в глагольное сочетание *раскрывать (открывать) < свои > карты* кому, перед кем. Во втором случае возникают алогические сочетания типа *кошки скребут (заскребли) на душе у кого, положить (класть) зубы на полку*.

Перерождение первичной мысли в процессе ее вербализации обуславливается тем, что замысел, формируя смысловую структуру (проходя процесс смыслообразовательного структурирования), подвергается преобразованию под воздействием самых разных ассоциаций «предметных» смыслов. В результате возникают когни-

тивные структуры самых разнообразных конфигураций. В итоге подбирается та когнитивная структура, которая в наибольшей мере соответствует данной коммуникативно-прагматической ситуации.

На следующем — формулирующем — этапе на отобранную когнитивную структуру накладывается структура из сферы языкового сознания, получившая в психологии название «вербальная сеть». Вербальные сети также избирательны: структурные связи между элементами оказываются достаточно гибкими. Между словами структурной сети образуются зоны «сгущения», «разряжения», множественные пересечения и др. (см. Караулов, 1987: 14), где возникает особая лингвокреативная синергетика. Ее источник — интенсивное взаимодействие двух структур: когнитивной и дискурсивной. Первая, подпитываясь фантомами замысла, пытается преодолеть сопротивление вербального материала (вербальной сети), а вербальные сети, отягощенные денотативными связями, стремятся разместить когнитивные смыслы в прокрустово ложе известных языку моделей и схем.

В результате ассоциативного мышления изменяются и первичные смыслы, и словесные конфигурации, их вербализующие. В результате развития связей между словесными сигналами создается новый уровень обобщения и отвлечения с помощью слова. Появляются слова, значения которых определяются не через отношение к непосредственным впечатлениям, а через связь с другими словами» [14, с. 15]. Ср., например, замысел передать (выразить) состояние очарования или влюбленности и его вербализацию словесной структурой «*не могу не смотреть на что-л. (не любоваться) кем-л.*». Ассоциативно-смысловая синтагматика порождает новые словесные структуры, которые образно и экспрессивно формируют языковым сознанием представление о влюбленности или восхищении чем-либо; *не отрывать {не отводить} глаз от кого, от чего; нельзя глаз отвести от кого, от чего; не в силах оторвать глаз от кого, от чего* 'не отрываясь, смотреть на кого-л. или что-л.', 'быть не в состоянии перестать смотреть на кого-л. или на что-л.'. Использование той или иной вербально-ассоциативной структуры зависит от коммуникативно-прагматической ситуации повседневного общения. теми же словами, способ и характер вербализации когнитивных

структур определяется типом дискурсивного мышления, имеющего изначально социокультурную основу.

Различные варианты и вариации разворачивания замысла в вербальные структуры представления знаний отражают многообразие фреймовой организации коммуникативно-прагматических стереотипов. Следовательно, стереотипное дискурсивное мышление и, шире, дискурсивное поведение следует рассматривать как способ самовыражения этноязыковой личности типичного представителя своего культурно-языкового сообщества.

Мы рассматриваем дискурс как особую форму существования языка, способ выражения ментальности народа (см.: Радбиль Т.Б., 2010: 50–53). Подобный подход ориентирует на более широкое видение дискурсивного существования языка, чем его отождествление с «живой речью». Следует согласиться с У. Чейфом в том, что «дискурс многосторонен, и достаточно очевидна ограниченность любых попыток отразить его моделирование, сведя дискурс к одному или двум измерениям...» (Chafe W., 1996: 23–42, 49).

Лингвокультурологическая аура смыслообразующего дискурса проявляется в нескольких ракурсах и направлениях его отношений с реальным бытием человека: а) через связь дискурса с социокультурной деятельностью, б) через связь дискурса с текстами, обогащающую интеракциональный характер первого и статичность второго; в) через связь дискурса с реальным речевым общением в различных культурно-когнитивных контекстах.

В первом аспекте а) дискурс может быть интерпретирован как особый «язык в языке», моделирующий ментальность «возможного мира» и изображающий человека в одном из возможных миров. Согласно второму направлению б) дискурс значительно шире и глубже текста, поскольку текст — единица дискурса (Алефиренко Н.Ф., 2003: 28): он одновременно и семиотизация культурно-исторического события, и речевая деятельность, ее продукт (текст). В третьем ракурсе в) дискурс представляет интенциональное образование, в составе которого знаки вторичной номинации прирастают новыми смыслами, исходящими от коммуникативно-прагматических намерений и целей речемыслительной деятельности, а также в процессе «исчезновения авторства» формируется идеаль-

ный (усредненный) адресат, что создает необходимые условия для порождения бессубъектного дискурса.

Введение в культурологию понятия «бессубъектный дискурс» обосновано М.М. Бахтиным в его «Философии поступка», где проводится грань между живым уникальным событием (актом свершающегося бытия) и пространством объективированной культуры, между миром жизни и миром культуры. Событие совершаемого бытия рассматривается как творческое деяние человека; поэтому оно субъектно, а его содержание пронизано уникальным переживанием, которое способно выплеснуть из себя поэтические образы в пространство «оязыковленной» культуры. «Сжатая энергия» таких поэтических (художественных) образов как раз и порождает дискурсивные идиомы. Экстралингвистической основой вторичного лингвосомиозиса на базе «сжатой энергии» дискурса служит поступок, который, по концепции М.М. Бахтина, больше чем шаг из единственности переживания к объективации. Поступок самодостаточен. Он не нуждается в проявлении. «Все, даже мысль и чувство, есть мой поступок», — пишет М.М. Бахтин (Бахтин М.М., 1996: 85). Поступок больше, чем поведение субъекта. Когда есть поступок, в субъекте при нем уже нет строгой необходимости.

Понятие бессубъектного дискурса, как показывает О.Г. Ревзина, (Ревзина О.Г., 1999: 26), находится в рамках одной парадигмы с разработанной Б.М. Гаспаровым лингвистикой *языкового* существования. Особую ценность для лингвокультурологического описания средств вторичной номинации приобретает понятие памяти как репродуктивной стратегии в языковом существовании, вводимое М. Гаспаровым для разграничения «живой» субъектной речи и независимых высказываний, которые коммуникантами не производятся по схемам порождения речи, а воспроизводятся как уже существующие в языковой памяти фрагменты известного дискурса. По утверждению П. Серно, такого рода репродуктивы «в более или менее скрытом виде покрывают все пространство языка» [12, с. 49]. Следовательно, если субъектный дискурс находится во власти говорящего (у него есть автор, он синтагматичен (линеен) и производим), то бессубъектный дискурс определяет характер языкового сознания всего этнокультурного коллектива. Он анонимен, нелинеен и воспроизводим (см.: Ревзина О.Г., 1999: 28) и даже синергетичен.

Парадигматичность бессубъектного дискурса сближает его с языком настолько, что он, по мнению О.Г. Ревзиной, сам занимает место языка» (Ревзина О.Г., 1999: 25) в дихотомии «язык — речь». Однако бессубъектный дискурс — это еще не знаковая лингвосистема, а (если вернуться к теории Б.М. Гаспарова) способ языкового существования или форма бытования языка, которая представлена на уровне этноязыкового сознания в виде речемыслительных стереотипов, с которыми соотносятся прецедентные знаки. Как нам представляется, бессубъектный дискурс образует промежуточное звено в трихотомии «язык — бессубъектный дискурс — речь». И в таком понимании его действительно можно назвать «языком в языке».

Как и язык, бессубъектный дискурс реализуется в речи. Единицей бессубъектного дискурса является *дискурсивное высказывание*, которое отличается от высказывания речевого по нескольким признакам.

1. Речевым высказываниям свойственны логические корреляции с конкретными пропозициональными структурами (суждениями о реалиях денотативной ситуации), т.е. они иконически вербализуют полный смысловой концептуальный набор компонентов пропозиции (актантов и ситуантов), в который входят: деятель, действие, инструмент, объект действия, время, место действия и т.п. Как известно, одна и та же пропозиция может быть передана разными речевыми высказываниями. Ср.: *Ошибки неизбежны между смертными* (Феогнид). *Каждому человеку свойственно ошибаться* (Цицерон). *Ошибки свойственны людям* (Сенека). *Людям вообще свойственно ошибаться* (М. Салтыков-Щедрин) — «Человек имеет право на ошибку». И наоборот, в одном речевом высказывании может содержаться несколько пропозиций. Дискурсивное высказывание лишено коррелятивной связи с конкретными пропорциями. Оно является инвариантным речемыслительным образованием, косвенно представляющим в этноязыковом сознании типовую пропозицию, служит средством неиконического выражения дискурсивно обусловленного концепта — собирательного мыслительного образа, отражающего обобщенно-целостный смысл соответствующего бессубъектного дискурса. Ср.: *Человеку свойственно ошибаться* (дискурсивное высказывание) и *Невозможно сохранить ни с кем*

дружеских отношений, если сердиться за всякую ошибку друзей и близких (бессубъектный дискурс).

2. Дискурсивное высказывание не тождественно таким речевым структурам, как фраза (= предложение) и речевой акт, от которых оно отличается и по объему, и по форме. Ср.: дискурсивное высказывание «Вольному воля» и фразу «Ты можешь поступать по своему усмотрению». Дискурсивное высказывание можно перевести в грамматически правильно построенное предложение (фразу). Речевой акт (клятва, молитва и т.п.) может состоять из нескольких речевых высказываний.

3. В отличие от речевого высказывания, коррелирующего во языковой действительности с конкретной денотативной ситуацией, дискурсивное высказывание соотносится с типичной денотативной ситуацией. Дискурсивное высказывание в силу этого имеет асимметричное строение: означающее связано с дискурсивно обусловленным означаемым, т.е. означаемое здесь значительно шире сферы смыслового содержания компонентов означающего. Именно по этой причине означаемое дискурсивного высказывания требует лингвокультурной интерпретации.

Дискурсивные высказывания в бессубъектном дискурсе «живут своей жизнью», они могут повторяться, расщепляться, трансформироваться, перемещаться в поле дискурса, предаваться забвению [Ахундов М.М., 1996: 111]. Поэтому лингвокультурологический анализ дискурсивного высказывания должен быть направлен не столько на то, что в нем сказано, сколько на то, какие трансформации с ним произошли, как оно использовалось в речемышлении и какие с ним вторичной номинации возникли на его основе. Последние являются не чем иным, как хранящим в памяти «монады языково-культурного быта» — результатом дискурсивно-когнитивной деятельности этноязыкового сообщества: *квасной патриотизм* — «упрямая, неукротимая приверженность к бытовым мелочам национального быта», *квасная барышня* — «изнеженный, не приспособленный к жизни человек», *кутить* — «проводить время в кутежах, в кутеже» *облапошить* — «обставить».

Бессубъектно-дискурсивное происхождение знаков вторичной номинации обусловило их событийную семантику в отличие от пропозитивной (фактообразующей) семантики выска-

званий, образовавшихся в рамках субъектного дискурса. Концептообразовательные возможности дискурса обуславливаются самой его природой: образование дискурса обычно концентрируется вокруг некоторого общего понятия, в результате чего создается определенный смысловой контекст, включающий в себя информацию о субъекте (-ах) речемышления, объектах, обстоятельствах, временных координатах. Элементы дискурса: события, их участники, перформативная информация и не-события (обстоятельства, сопровождающие события; фоновая информация; оценка события; информация, соотносящая дискурс с событием) (см. Арутюнова Н.Д., 1999). За дискурсом, следовательно, стоит особый мир. Более того, по Ю.С. Степанову, дискурс — это один из «возможных миров» многосложной структуры.

Таким образом, изначальными моментами концептуальной организации знаков вторичной номинации выступают не столько единичные денотаты и сигнификаты, сколько дискурсивно-мыслительные процессы этнокультурного характера.

Дискурсивное мышление порождает и закрепляет в этноязыковом сознании устойчивые воспроизводимые знаки вторичного образования, в содержании которых сфокусировались разноаспектные смыслы, продуцируемые вертикальным контекстом, синтагматическими связями, прагматикой и социокультурной значимостью производящего дискурса. Такого рода речемыслительная онтология дискурсивной идиоматики предполагает осмысление лингвокультурных аспектов языкового сознания, в долговременной памяти которого удерживаются, интерпретируются и семантически обогащаются дискурсивные идиомы — экспрессивно-образные элементы производящего дискурса.

Собственно, этот аспект языкового сознания можно было бы назвать дискурсивно-идеальным, поскольку его культурно значимыми «атомами» выступают не столько понятия, пусть даже обобщенные, сколько события, ситуации, обстоятельства, эпизоды в их социальном и коммуникативно-прагматическом ракурсе.

На *втором этапе* семиозиса дискурсивной идиоматики происходит образование прецедентных текстов, порождающих знаки не-прямой референции и определяющих их роль и место в коммуникации. Непрямая референция должна не просто кивать в сторону чего-

то иного, могущего быть выраженным также и прямо, но оставаться единственным способом намекнуть на недоступное схватыванию, на постоянно ускользающее. Поэтому «достаточно несложно бывает сказать, как и с помощью чего непрямая референция разворачивается, но совершенно бессмысленно спрашивать, к чему именно она отсылает — ведь даже сама возможность ответа на такой вопрос превратила бы ее в прямую референцию» (Арутюнова Н.Д., 1990: 224).

Третий этап представляет собой идиоматизацию прецедентных контекстов (развитие асимметрического дуализма в их билатеральной структуре, нарушение симметрии между их означаемыми и означающими), на базе которых формируются ономастопозитические концепты — когнитивная основа образной семантики знаков не прямой номинации.

4.4. Дискурсивная стилистика «живого» слова

В самом названии представляемой здесь работы эксплицитно заложены две активно обсуждаемые проблемы: первая (дискурс) — собственно языковедческая, вторая (синергетика) — общенаучная, требующая лингвистической адаптации.

Третья проблема существует имплицитно. Ее суть можно выразить в вопросе: как дискурс и синергетика связаны со стилем и стилистикой? Сегодня в центре внимания исследователей находится синергетика языка, дискурсивная же синергетика стиля остается пока в нашей науке «белым пятном». Основной причиной тому является неопределенность множественных интерпретаций самого дискурса, его многокачественная природа (Токарев В.Г., 2003). Поворачиваясь к исследователю той или иной своей гранью, дискурс открывает ему лишь «видимую» часть айсберга. Насколько многогранен дискурс, настолько он и многосложен в определении (Chafe W., 1996: 49). Открывая новые грани дискурса, мы получаем новые сведения о его свойствах, признаках и функционально-коммуникативных возможностях. Согласимся с Л.С. Пихтовниковой: «Теория дискурса еще далека от завершения и нужны новые системные идеи для адекватного отображения этого сложного феномена» (Пихтовникова Л.С., 1999).

Одной из таких стимулирующих научный поиск идей является попытка посмотреть на дискурс как на сложную самоорганизующуюся систему. Можно надеяться, что это откроет путь к использованию в ее исследовании основных принципов синергетики. Однако такого рода идея ставит на повестку дня еще один вопрос: насколько системным может быть дискурс, тем более системой сложной и саморазвивающейся? Только ответив на этот вопрос утвердительно, можно говорить о дискурсивной синергетике. Это влечет необходимость выявления и исследования структурной организации дискурса, поскольку обязательным признаком любой системы является ее структура (Кубрякова Е.С., 2000: 7–25; Макаров М.Л., 2003: 16). Собственно, это первое требование синергетического подхода, согласно которому самоорганизующаяся система должна включать в себя как минимум две иерархически связанные подсистемы, каждая из которых моделирует не только состояние другой, но и состояние среды (в нашем случае этнокультурного пространства системно организованного дискурса).

В качестве базового элемента структуры дискурсивного пространства мы берем пропозицию (Г.Г. Почепцов), которая вместе с событийным контекстом составляет основу смыслового содержания газетного текста. Мы говорим о смысловом содержании текста не случайно: ранее сформулированное нами определение дискурса указывает на его два системообразующих компонента — текст и когнитивно-событийный контекст (ср.: Бибихин В.В., 2001). Напомним: дискурс — это сложное коммуникативно-когнитивное явление, в состав которого входит не только сам текст, но и различные экстралингвистические факторы (знание мира, мнения, ценностные установки), играющие важную роль для понимания и восприятия информации.

Газетный текст и когнитивно-событийный контекст как составляющие дискурса взаимно предполагают друг друга, иными словами, они взаимно детерминируемы. Уже этого вполне достаточно, чтобы утверждать: дискурс — сложно организованная система (см.: Шевченко И.С., 2006: 307). Сложная потому, что в составе дискурса наряду со структурными элементами текста активизируются элементы среды, в качестве которой выступает когнитивно-событийный контекст. Таковы излагаемые события, участники этих

событий, перформативная информация, а также «не-события»: обстоятельства, сопровождающие события, фон, оценка участников события. Кроме того, что такое понимание дискурса (единство двух подсистем — текста и его когнитивно-событийной среды) требует дополнительной аргументации, для нас важно выяснить, как дискурс связан со стилем (см.: Гончарова Е.А., 2003: 9–23). Поскольку, как мы знаем, в состав дискурса входят две подсистемы, естественно было бы устанавливать синергетические связи дискурса со стилистикой через осмысление того, в каких отношениях со стилистикой пребывают газетный *текст* и когнитивно-событийный *контекст*.

Связь со стилистикой первой подсистемы не требует доказательств: существует научная дисциплина, ее изучающая, — стилистика текста (см.: Болотнова Н.С., 199). Связь со стилистикой второй подсистемы (когнитивно-событийной среды) менее очевидна и поэтому требует особого внимания. Прежде всего необходимо выяснить их причинно-следственные отношения: стиль порождает дискурс или дискурс обладает стилепорождающими возможностями?

Текст обладает рядом хорошо известных категорий: связанностью, информативностью и т.д., в тесном взаимодействии с которыми находится и понятие стиля (Милевская Т.В., 2003). Однако порождение и функционирование газетных текстов вне социально-культурной среды невозможно. Для этого необходимы определенные лингвистические условия при активном участии пресуппозиций, интенций говорящих, языковой личности и энергетики соответствующей картины мира. Иными словами, текстопорождение осуществляется только в определенном дискурсивном пространстве. Будем считать это положение достаточно обоснованным.

Однако как «собрать» столь разноплановые категории в единую структуру? Мы исходим из того, что объединить такое многообразие внеязыковых факторов и механизмов собственно текстообразования в единую дискурсивно-функциональную систему позволяет синергетика. Конструктивными когнитивно-коммуникативными точками дискурсообразования служат аттракторы, притягивающие и направляющие все составляющие элементы двух подсистем в единую систему. Примером тому может служить фрагмент 8-й главы романа Д. Рубиной «Воскресная месса в Толедо», где аттрактором является единство внеязыкового и собственно языкового стимулов

порождения дискурса. Внеязыковым фактором дискурсообразования здесь выступает «беспокойный и бестолковый ум» Альфонсо, которому не давал покоя археологический комплекс не так давно раскопанных развалин древнего византийского монастыря. Текстобразующим фактором в нем выступает фразеологизм **шевелить мозгами**.

— Я требую от вас интеллектуальных усилий! — вопил Альфонсо на заседаниях коллектива. — **Полета фантазии** — вот чего недостает всем вам! **Шевелите мозгами: шутка ли — в двух шагах от нас такое богатство!** Монастырь пятого века с дивно сохранившейся мозаикой, с огромными водяными цистернами, в которых **Бог знает что можно устроить!** **Шевелите мозгами, хеврэ!**

Кончилось тем, что в один из дней Люсио явился на четверговое заседание в полном облачении хасида, в черной шляпе — как выяснилось, с двойным дном в высокой тулье. Когда на повестке дня вновь замаячил монастырь Мартириус и Альфонсо уже **открыл рот** для очередного призыва **шевелить мозгами**, в черной шляпе, как в шапке-тулке, откинулась круглая крышка, и изнутри, извиваясь, полезли розово-серые пиявки. При этом карлик сидел с отрешенным видом, не реагируя на восторженно-пугливый визг женщин.

— Смотри, они **шевелиются!** — кричала секретарь Отилия. — Из чего ты сделал этих червяков, дьявол?!

— Это **мозги**, — с невнятным выражением на кривой физиономии отвечал Люсио. — **Я ими шевелю...** — поднял руки и жирно, страшно **пошевелил** накладными пальцами в черных перчатках и отворотительными **шевеющимися** пиявками вывернул губы.

Для выявления аттракторов необходимо обратиться к основным факторам порождения дискурса. Учитывая главные постулаты лингвистики текста, можно предположить, что и стимулами возникновения дискурсивного пространства также выступают интенции, цели и мотивы речемыслительной деятельности. Однако не только они: его создают и внелингвистические условия речемыслительной деятельности, и этнокультурные архетипы дискурсообразования, проецируемые национально-языковой картиной мира. А коль так, то названные компоненты речемыслительной деятельности служат своего рода аттракторами — объектами, «притягивающими» их в единую дискурсообразующую систему и определяющими стили-

стический спектр текстов, возникающих в данном дискурсивном пространстве.

Ограничения же выбора элементов дискурсообразования служат репеллерами (антиаттракторами), выполняющими роль сита, отсеивающего всё, что не отвечает этноязыковой норме. Как известно, аттракторы и репеллеры — понятия синергетики. Они-то и позволяют рассматривать дискурс как синергетическую систему.

1. Репеллеры служат отбору и лексико-фразеологических единиц, и грамматических моделей, в процессе которого происходит *уплотнение* информации (ср.: Манаенко С.А., 2005: 274). Компрессия равноценна выбору денотативных и коннотативных смыслов используемых слов и фразеологизмов (*полет фантазии, шевелить мозгами, шутка ли, в двух шагах, открыть рот* и их лексические компоненты в прямом значении). Аттрактор сжимает информацию путем непрямого именованья, вынуждая тем самым использовать метафорические и фразеологические единицы на уровне номинации, на уровне грамматики дискурса и на уровне контекстов. Текст, собственно, и рождается под воздействием соответствующих аттракторов.

Как видим, аттракторы и репеллеры (согласно когнитивно-синергетической теории) находятся в полном соответствии с интенциями автора, экстралингвистическими условиями и нормами речемышления и служат ведущими механизмами дискурсообразования.

Пока остается невыясненным еще один вопрос: насколько образование дискурса согласуется с основным, пожалуй, синергетическим принципом самоорганизации сложных систем? Ясно одно: самоорганизация дискурса состоит не в том, что он возникает независимо от автора, а в том, что сам автор является одновременно и создателем, творцом дискурса, и орудием независимых от него аттракторов и репеллеров.

2. Сжатие информации, процесс выбора языковых средств происходит при неравновесных состояниях системы. В равновесных состояниях системы дискурс не образуется. Действительно, о каком дискурсе можно говорить при формулировании математических теорем или патентных формул? (см. Пихтовникова Л.С., 2002: 36). Наоборот, при неравновесных состояниях дискурсивной системы ак-

тивизируются многие механизмы текстообразования: деривационный потенциал и валентность языковых единиц, синтаксическая вариативность, текстообразование и др.

Самоорганизация контекста и текста осуществляется как единое целое, хотя в самоорганизации контекста участвует одна система аттракторов и релаксаторов (интенции, нормы и т.п.), а в самоорганизации текста — другая иерархия аттракторов (см.: Москальчук Г.Г., 2003). При этом важно отметить, что самоорганизация текста связана с самоорганизацией не только всех его категорий, что естественно, но и стиля. Для выяснения взаимодействия процессов дискурсообразования и стиля используем категориальные единицы синергетики и стиля.

Наиболее востребованными для нас являются такие понятия синергетики, как *параметр порядка, быстрый и медленный режим самоорганизации, точки бифуркации и пространство аттракторов*. Что касается стилистических категорий, то, пожалуй, наиболее polemичным остается основополагающее понятие — понятие стиля. Это и «совокупность приемов использования языка, и разнovidность языка, характеризующаяся особенностями выбора, сочетания и организации языковых средств в связи с задачами общения» (Розенталь Д.Э., 1985: 345). В понимании Л.С. Пихтовниковой, «стиль как системообразующий и саморазвивающийся фактор представляет собой совокупность разноуровневых языковых средств воплощения социально значимых идей, архитипов, и в ракурсе, специфическом для каждой речевой сферы и каждой речевой социально-исторической среды, выявляется и описывается в виде определенного набора стилистических средств, наиболее адекватных изначальному социальному заказу» (Пихтовникова Л.С., 2000: 10).

В широком понимании стиль (это понятие, как известно, используется в музыке, искусстве и других областях) служит задаче организации пространственно-временного восприятия, поскольку любой объект искусства существует (чаще всего в виде концептов) в пространстве и времени и даже в нескольких хронологических плоскостях (картина, музыкальное произведение). Такое концептуальное пространство организует, например, монтаж нашумевшего фильма П. Михалкова «Сибирский цирюльник». В нем ощущается почерк мастера, называемого нередко «стилем Михалкова».

Хронотопические рамки служат условием существования человеческих чувств и разных психических проявлений (А.М. Мостепаненко). Такими же условиями психических процессов служит и стилистика публицистического или художественного текста. Можно утверждать, что стиль во многом конструирует концептосферу газетной информации. Концептуальное и перцептивное в газетной речи — взаимодополняющие категории. Указанное предназначение стиля обуславливает его основные функции: а) узнаваемость газетного текста и художественных образов; б) возможность тиражирования художественных объектов по общности их стилистических характеристик (пародии, стилизации и т.п.); в) классификацию произведений по стилю (класс произведений эпохи Возрождения, реалистических или постмодернистических; фольклорных: народные песни, думы, сказания).

В существующих разработках этой проблемы стиль рассматривается в разных аспектах. В статистическом аспекте стиль представляет собой фильтр, при помощи которого происходит отбор соответствующей лексики и фраземики (Пихтовникова Л.С., 2002). В этом плане средством идентификации индивидуального стиля служит известный закон Ципфа. В конструктивном аспекте стиль газетного текста отличается структурой использованных в нем стилистических свойств и признаков слова (Э.Г. Ризель). В психолингвистическом аспекте устойчивый стиль может трансформироваться в архетип (Пихтовникова Л.Г., 2002).

Итак, свойства и функции стиля свидетельствуют о спектре его текстообразующих и дискурсообразующих возможностей. Первые из них раскрыты, в частности, в теории стилевых признаков и композиционных уровней (Ризель Э.Г., 1961; Пихтовникова Л.Г., 1999). Композиционные уровни как подсистемы текста представляют в своей совокупности иерархию, компоненты которой взаимно моделируемы. Основой такого моделирования служит принцип обратной связи и принцип информационной архитектоники (А. Моль) — главное условие самоорганизации дискурса. Особенно значимым для его самоорганизации является способность аттракторов и репеллеров создавать свое собственное иерархическое пространство.

Отбор лексики и фраземики осуществляется благодаря силе притяжения так называемых точек бифуркации. Здесь создается

наименее устойчивое и, значит, наиболее динамичное микрополе, именуемое в синергетике *параметром порядка*. Это наиболее благоприятное пространство развертывания дискурса мы называем микрополем динамического дискурсообразования. Оно позволяет той или иной информации получать в дискурсе вариативную репрезентацию. Ср. выбор фразеологизмов в следующем идиоматическом микрополе уже цитированного романа Д. Рубиной: [Эли Кушниц] *спросил Таисью — к чему весь этот шум, когда она могла бы все **решить с глазу на глаз** в его кабинете. На что Таисья отвечала, что **сыта по горло** его обещаниями и только воля народа может **сдвинуть с мёртвой точки** её, в сущности, такое простое дело.* Система аттракторов и репеллеров позволяет автору выбрать наиболее адекватный способ выражения мыслей и чувств.

Наиболее подвижными текстообразующими элементами, создающими эпичность газетного дискурса, служат пространственные композиционно-речевые формы. В их состав, как мы уже показали выше, входят лексика, фраземика, атрибутивные структуры и т.п. Такого рода композиционно-речевые формы являются тем средством, благодаря которому осуществляется порождение эпического текста. Микрополе динамического дискурсообразования имеет замедленный и ускоренный режим самоорганизации, что своеобразно выражается при создании крупных и небольших (с кульминацией) газетных текстов.

При *замедленном* режиме стиль и композиция текста формируются в процессе тщательного и скрупулезного отбора языковых единиц, их синонимизации, антонимизации, установления адгерентных ассоциативно-смысловых связей с другими текстопорождающими единицами. Аттракторы работают здесь на уточнение и конкретизацию мысли. Возникает множество уточнений и разъяснений, что порождает крупные эпические формы. Примером могут служить высокохудожественные тексты Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.

Ускоренный режим микрополя динамического дискурсообразования способен создавать неожиданную кульминацию, заострять интригу, придавать необходимую малому жанру экспрессию. Образцами малых жанров могут служить басни И.А. Крылова, тексты для детей К.И. Чуковского, С.Я. Маршака и других мастеров художественного слова. Кроме них, ускоренный режим микрополя

динамического дискурсообразования особенно ярко проявляется в текстах юмористического и детективного жанров.

Механизмы синергетики (аттракторы и репеллеры, микрополя динамического дискурсообразования), таким образом, служат не только самоорганизации дискурса, но и формируют его стилистический контур.

Аттракторы и репеллеры (антиаттракторы) — понятия синергетики. Они-то и позволяют рассматривать дискурс как синергетическую систему. Репеллеры служат отбору и лексико-фразеологических единиц, и грамматических моделей, в процессе которого происходит *уплотнение* информации.

4.5. «Живое» слово и речевой жанр

Речевой жанр (РЖ) — это единица речевого общения, определяющая форму и стиль построения диалогически организованного высказывания (в широком понимании: не только реплики или предложения, но и целого поэтического или прозаического произведения). Под диалогичностью здесь понимается приём драматизации высказывания, в создании которой принимают участие реальные или виртуальные коммуниканты. Содержательная сущность РЖ обуславливается *диалогической* и *семантико-стилистической* архитектоникой речевого общения, отображающей социокультурное взаимодействие коммуникантов, смысловую аранжировку их смыслового взаимодействия: шутки, молитвы, болтовни или анекдота. В художественной речи на основе традиционных РЖ нередко возникают метаречесжанровые построения.

Дай мне горькие годы недуга,
Задыхания, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей

А. Ахматова. *Молитва*

Поскольку перед нами высказывание метаречежанрового характера, оно вместо установленной канонической последовательности слов представляет собой поэтический текст, сохраняющий основные лексико-стилистические черты обращения и просьбы: *дай мне, отыми, чтобы, стала* и др.

Взаимоотношение РЖ и культуры основано на их содержательных свойствах, в частности, на их диалогической природе и стилевой маркированности. В связи с этим речежанровая сущность текстов рассматривается с двух точек зрения: а) как продукты дискурсивной деятельности и б) как продукты культурно и исторически обусловленного дискурса. Как продукты дискурсивной деятельности тексты создаются в определенных институционных рамках, которые накладывают известные языковые и стилистические ограничения на структуру высказываний, порождаемых в определенном речевом жанре. Как продукты культурно и исторически обусловленного дискурса, высказывания, как и тексты в целом, наделены той исторической, социальной, интеллектуальной направленностью, которая определяется «языковым вкусом эпохи». «У каждой эпохи, — писал К. Чуковский, — есть свой стиль, и недопустимо, чтобы в повести, относящейся, скажем, к тридцатым годам прошлого века (имеется в виду XIX век. — Н.А.), встречались такие типичные слова декадентских девяностых годов (XX века. — Н.А.), как *настроения, переживания, искания, сверхчеловек*... В переводе торжественных стихов, обращенных к Психее, неуместно словечко *сестренка*... Назвать Психею *сестренкой* — это все равно что назвать Прометея *братишкой*, а Юнону — *мамашей*» (Чуковский К., 1961: 118—119).

Подобного рода культурно-коннотативный компонент смысловой структуры слова не может не учитываться в словоупотреблении, характерном для того или иного РЖ. Культурный компонент смысла слова для носителей конкретного языка непосредственно выявляется в речевых высказываниях. Поэтому коннотативная архитектура РЖ выявляется исследователями через анализ дискурсов, при котором в текстах так или иначе «сопоставляются социально-исторические срезы эпох, сложившиеся стереотипы мышления, речевого поведения представителей разных слоев общества, профессий, политических групп и т.п.» (Бельчиков Ю.А., 1988: 30).

Культурологическая сущность речевого жанра исходит из его понимания как переходного явления между языком и речью. Значит, речевые жанры, хотя в своей дефиниции и содержат определение *речевые*, не являются речью потому, что «жанры — это не коммуникация, а только ее формы» (Дементьев В.В., 2006: 238), а также и потому, что «являются типической формой индивидуальных высказываний, но не самими высказываниями» (Бахтин 1996: 192). По определению речевой жанр не относится и к сфере языка (недопустимо говорить «жанры языка»).

Следовательно, речевой жанр — это и не идеальный конструкт нашего интеллекта и не его речевое воплощение. В.В. Дементьев полагает, что речевые жанры составляют некое промежуточное пространство между «отчужденной» от человека системой языка и ее реальным использованием (Дементьев В.В., 2006: 238). Вместе с тем речевые жанры, вне всякого сомнения, представляют коммуникативно-значимые явления в том смысле, что служат коммуникации; они всегда актуализированы нашим коммуникативным сознанием. «Даже в самой свободной и непринужденной беседе, — отмечает М.М. Бахтин, — мы отливаем нашу речь по определенным жанровым формам, иногда штампованным и шаблонным, иногда более гибким, пластичным и творческим» (Бахтин 1996: 181). Причем такого рода речепорождение осуществляется по законам культурной коммуникации, содержательная сущность которой заключается не просто в процессе передачи знаний, а во всей совокупности взаимодействия культурного сознания с внешним и внутренним миром общественного организма, называемым этнокультурным социумом (см.: Коул М., 1997: 166). Формой же такого взаимодействия сознания и окружающей действительности, бесспорно, является обмен сообщениями. Следовательно, РЖ как способ культурной коммуникации — это типовая модель общения, которая, реализуясь в определенном этнокультурном дискурсивном пространстве, предполагает актуализацию всех процессов, связанных с порождением, организацией, переработкой, хранением, трансформацией и передачей сообщений.

Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,

В землю не зарюю.
Я не словом, не упрёком,
Я не взглядом, не намеком,
Я не песенкой наемной,
Я не похвалой нескромной,
А земным поклоном
В поле зеленом
Помяну...

А. Ахматова. *Причитание*

Текст данного стихотворения построен по модели старинного народного обрядового плача, сохраняющей основные узлы базового фрейма: плачь, приговаривание, структурно-ритмический параллелизм (многократно повторяемое отрицание).

Типовой моделью общения РЖ отличается от иных форм взаимодействия и форм культурной коммуникации.

Речевой жанр усваивается человеком одновременно с овладением родной лингвокультурой: *как и что* говорить в той или иной типовой ситуации общения. И все же категории языка, речевого жанра и культуры, хотя и не тождественны, но вполне сопоставимы как разные типы организации коммуникации. Их сопоставимость объективно детерминирована *общими признаками языка и культуры*:

1) это формы сознания, отражающие мировоззрение и культуру народа;

2) между собой они находятся в состоянии постоянного диалога, так как субъект коммуникации — это всегда субъект определенной культуры (или субкультуры);

3) язык и культура имеют индивидуальные и общественные формы существования;

4) оба феномена обладают признаками нормативности и историзма;

5) они эквивалентны: язык — составная часть культуры, основной инструмент ее усвоения, носитель специфических черт национальной ментальности; культура включена в язык, благодаря чему она моделируема в речевом общении.

В то же время нельзя не замечать существующих *различий*:

1) язык как средство коммуникации ориентирован на массового адресата, культура — элитарна;

- 2) язык и культура — разные семиотические системы;
- 3) знаковая организация культуры изоморфна языку;
- 4) в отличие от языка культура не способна к самоорганизации.

В силу этого культура нуждается в такой семиотической системе, которая компенсировала бы отсутствие коммуникативно-репрезентативной самодостаточности. Среди разных знаковых манифестантов культуры наиболее совершенным является естественный язык, способный не только выражать готовые смыслы, но и порождать и тем самым обогащать ценностно-смысловую палитру культуры. Более того, язык как способ организации продуктов речемышления формируется в недрах культуры в виде некоторого семантического потенциала осмысления возможных схем построения мысли-высказывания (Б.А. Парахонский).

Исходя из такого понимания соотношения языка, речи и культуры, можно говорить о языковом обеспечении формирования речевых моделей ценностно-смысловой репрезентации мира. В данных моделях, разумеется, фиксируется не сама картина мира, а лишь обобщенные коммуникативные схемы речевого выражения этнокультурного сознания. Конкретная коммуникативная (речевая) реализация языковой способности такого рода осуществляется в виде речевого жанра. С этих позиций под речевым жанром можно понимать определенную систему отношений, устанавливающих координацию ценностно-смысловых форм для данного типа речемышления. В рамках подобного рода отношений порождаются и вербализуются в соответствии с коммуникативными интенциями все вновь возникающие или уже существующие представления, восприятия, образы, концепты, понятия и другие носители смысла.

В процессе лингвокультурного действия РЖ расчленяет и организует концептуальное пространство, оставаясь в то же время универсальной формой осмысления и языковлечения действительности. РЖ, следовательно, является механизмом образования речевых моделей дискретности, целенаправленно осуществляющим семиотическое моделирование мира. Вербальный способ конструирования модели мира порождает языковую модель мира, которая используется в общении как своего рода семиотическая матрица и воплощается в конкретной речевой модели. Интенционально обу-

словленная совокупность речевых моделей определяет характер речевого жанра — универсальной формы диалогически организованного высказывания. Связная последовательность таких высказываний в единстве с экстралингвистическими факторами (знаниями о мире, мнениями, установками, коммуникативными целями адресата) образует то *нелинейно организованное пространство*, которое называется дискурсом.

Как видим, дискурс «не ограничивается рамками конкретного языкового высказывания, рамками текста или самого диалога» (Ван Дейк Т.А., 1989: 122), это уже не просто «связный текст или последовательность предложений» (ЛЭС 1990: 136). Он выступает важнейшим компонентом социокультурного взаимодействия и в этом статусе предстает в виде коммуникативно-событийной амальгамы языковой формы, значения и действия. Дискурс, таким образом, оказывается прагматически обращенным к когнитивно-коммуникативному взаимодействию и к речевой ситуации. Своей когнитивно-коммуникативной ипостасью он обращен к ментальным и интенциональным состояниям общающихся. Собственно прагматическая составляющая дискурса, с одной стороны, ориентирована на моделирование типовых ситуаций в виде фреймовых структур, а с другой — позволяет создавать виртуальные схемы и сценарии развития таких ситуаций в конкретном типе общения (см.: ЛЭС 1990: 412).

Из сказанного вытекает существенный для понимания взаимоотношения РЖ и культуры принцип: нельзя переносить языковую модель на предметную область культуры; модель культуры не адекватна предметной области языка. Однако названные различия не препятствуют их соотносимости, поскольку и те и другие выступают средством, при помощи которого «человек осуществляет свою ориентацию в окружающем мире и воздействие на мир, а точнее: такую важную часть взаимодействия с миром, как общение с другими людьми» (Дементьев В.В., 2006: 238). Это, по сути, разные коммуникативные аттракторы, разные типы упорядочения дискурса. Благодаря речевым жанрам коммуникация избегает, казалось бы, неизбежного хаоса и обретает свойства системности. В целом речевые жанры «гибче, пластичнее и свободнее форм языка» (Бахтин 1996: 181). По Дементьеву, речевой жанр и язык представляют собой не только две разные стадии общего процесса формализации

коммуникации (Дементьев В.В., 2006: 239), но две разные формы взаимодействия с культурой. Если язык — одна из базисных форм, в которых кодируется этнокультурное сознание, то РЖ — форма, в которой оно объективируется в речевом общении. Следовательно, речевой жанр и культура — разные сферы существования языка: речевой жанр служит формой его использования в типовой ситуации общения, а культура обобщает тот духовно-практический опыт этноязыковой общности, в пространстве которого формируются и реализуются соответствующие речевые жанры. В них отражаются закрепленные в языке ценностные отношения, чувствования, переживания, которые в соответствии с типовой коммуникативной ситуацией обычно сопровождают общение.

Речевой жанр, таким образом, очерчивает рельеф ценностно-мыслового пространства, благодаря которому язык из абстрактной знаковой системы превращается в реальное воплощение концептосферы человеческого бытия. Это соотношение основных лингвокультурных категорий достаточно явно представлено и в лингвистической теории речевых жанров, и в их прагматической интерпретации. Причем каждая из теорий представляет эти категории в своем соотношении.

В центре внимания собственно *лингвистического* изучения речевых жанров оказываются главным образом интенции говорящего, рассматриваемые с точки зрения теории речевых актов. Это настолько мощная исследовательская доминанта, что она даже послужила некоторым ученым основанием для отождествления теории речевых актов с теорией речевых жанров. Правда, в современных научных исследованиях эти теории разграничиваются. Это разграничение пытаются закрепить и номинативно, называя теорию речевых жанров *генристикой* (Дементьев В.В., 2006: 240).

В семиотической парадигме «семантика — синтактика — прагматика» *лингвистическая теория* речевых жанров исследует преимущественно семантику и синтактику, а *прагматическая теория* соответственно — семантику и прагматику. Точкой пересечения этих двух подходов, как видим, оказывается семантика в широком понимании термина — как одновременно значение и смысл. При этом для понимания взаимоотношения РЖ и культуры особую роль играет интерпретация смысла речевых построений. Приоритетность смыс-

ла здесь объясняется тем, что смысл не исчерпывается значением. Значение — лишь одна из составляющих смысла, который включает в себя и экзистенциальные переживания, и ценностные координаты данного культурного пространства. В связи с многозначностью понятия «смысл» отметим, что для нас смысл — это не столько значение, реализованное в *речевом контексте*, сколько ценностно переживаемое значение, выраженное в знаках языка и, в результате интерактивной обработки, реализуемое в *контексте речевой культуры*. Так, в РЖ утешения обязательно присутствуют призывы вернуться к нормальной жизни, не страдать, не печалиться, после которых идет напоминание о возможности осуществления чего-то важного и давно желаемого.

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом, родном дому.
Подумай, ты можешь теперь молиться
Заступнику своему.

А. Ахматова. Утешенье

В таком понимании смысл выступает первоэлементом, при помощи которого устанавливаются вторичные всеобщие связи уже не природно-эмпатического, неразрывно-континуального характера, а связи опосредованной, дискретно-кодовой, т.е. собственно *культурного* характера.

Синтактика речевого жанра как наиболее значимый предмет лингвистического осмысления РЖ изучена достаточно основательно (Дементьев В.В., 2006: 240). Этому способствовало, в частности, бурное развитие в отечественном языкознании лингвистики текста. В аспекте синтактики под РЖ понимается сложная совокупность речевых актов, сочетание которых осуществляется в соответствии с соображениями некой особой целесообразности. Речевая же семантика при этом представляется опосредованно, поскольку сами речевые акты относятся к действительности не непосредственно, а через ту речевую форму, в рамках которой они порождаются. Поэтому с точки зрения синтактики речевого жанра его связь с культурой замыкается в основном на формальной реализации стереотипов речевой культуры.

Однако ограничения, накладываемые синтактикой, приводят к «узкому» пониманию РЖ как исключительно виртуально-актуальной модели. В таком случае за ее пределами остается огромный семантико-прагматический пласт, который, не будучи конструктивным элементом РЖ, служит средой, постоянным фоновым сопровождением, без которого РЖ не может выполнять своих категориальных функций. В связи с этим для освещения проблемы взаимосвязи РЖ и прагматики необходимо разработать такой подход, который бы смог с лингвокультурологических позиций объединить принципы лингвистической и прагматической теории РЖ. Для лингвокультурологической ориентации такого подхода может быть использована концепция речевого жанра М.М. Бахтина, в которой имплицитно заложены выходы на ценностно-смысловые узлы в структурной организации РЖ через своеобразное понимание его темы — предмета речи.

В результате отбора, построения и организации коммуникативного акта предмет речи становится образованием, предполагающим к себе соответствующее ценностно-смысловое отношение. Иными словами, отбор, построение и организация коммуникативного акта обуславливают культурно-прагматическую сущность темы РЖ. Культурная составляющая такого подхода предопределяется ценностно-смысловым наполнением темы общения. Одновременно культурологическое наполнение темы РЖ формирует и ее прагматический компонент, обуславливающий, по большому счету, диалогический стиль речемышления, который не только отражает коммуникативно-смысловую экспрессию адресанта, но и предполагает соответствующую позицию его. Таким образом, речевой жанр как явление диалогическое связан с культурой посредством *темы, стиля и семантики*. При таком (культурологическом) подходе прагматика РЖ не сводится к ее семиотическому пониманию (как отношению между знаком и его пользователем). Тем самым преодолевается главный недостаток прагматического жанроведения, ориентирующего не собственно на речевые жанры, а жанры ситуативные, поведенческие.

Под прагматикой нами понимается достаточно широкий культурно-дискурсивный контекст диалогически организованного речевого жанра. Это еще один признак, по которому речевые жанры

противопоставляются языковым явлениям. Языковые средства выполняют здесь служебную роль, однако это ни в коей мере не умаляет их значимости.

Прагматические аспекты речевого жанра

Коммуникативно-прагматическая стратегия исследования РЖ наилучшим образом способствует преодолению «абстрактного объективизма» Ф. де Соссюра и воплощению идей М.М. Бахтина о языке-речи как действительной реальности. Напомним методологически значимое суждение учёного: «Действительной реальностью языка-речи является не абстрактная система языковых форм и не изолированное монологическое высказывание и не психофизиологический акт его существования, а социальное событие речевого взаимодействия, осуществляемого высказыванием и высказываниями. Речевое взаимодействие является, таким образом, основной реальностью языка» (Бахтин М.М., 1996: 113). Надо полагать, здесь под речевым взаимодействием имеется в виду функционально-смысловая связь языка-речи с событийными и прагматическими факторами устного и письменного общения.

Бахтинские идеи получили достаточно плодотворное развитие в виде социолингвистического и лингвопрагматического исследования языка-речи. Первое направление изучает функциональные свойства языка: применение его в конкретных речевых ситуациях, влияние коммуникативной компетенции того или иного этноязыкового коллектива. При этом речь идет о языке как норме, о семантических полях, свойственных разным культурам, о языковом поведении и т.п. Во втором направлении в центре внимания оказывается прагматический потенциал языка-речи, коммуникативные ситуации и способы языкового воздействия. В рамках той или иной речевой ситуации рассматриваются иллокутивные и перлокутивные функции языка и их речемыслительное обеспечение: перформативы, пресуппозиции, пропозиции и др. Всё это, конечно, крайне важно для теории речевых жанров, однако, оставаясь вне системной интеграции, лишь косвенно с ними соотносится.

Для понимания внутренних стимулов взаимодействия дискурса и речевого жанра важно найти скрытые дискурсивные нити, соеди-

няющие историко-культурные, прагматические и собственно языковые аспекты речевого жанра. Такого рода интегративный подход базируется на установке, что дискурсивное полотно соткано из языка. Однако дискурс «это не просто язык на сверхфразовом уровне» (Робен Р., 1999: 192), его нелинейная организация выстраивается на совокупности таких понятий, как дискурсивные формации, интердискурс, интрадискурс, прекоонструкт. Последние связаны с парафразами и пресуппозициями, выводящими дискурс в сферу культуры.

Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, Боже, как их замолчать заставить!

А. Ахматова. Эпиграмма

Как показывает предыдущий анализ, роль дискурса весьма значительна не только в статусном определении речевого жанра, но и в его культурной маркированности. В его рамках формируется основная единица речевого жанра, которую мы называем дискурсемой — некий квант амбивалентного знания, соответствующий одному фокусу дискурсивно-культурного сознания и являющийся носителем дискурсивной архитектоники речевого жанра. В приведенной выше «Эпиграмме» можно выделить три дискурсемы: 1) «Биче и Лаура не смогли», 2) «Я смогла», 3) «Как заставить женщин молчать». Дискурсема не всегда тождественна предложению-высказыванию. В каждой дискурсеме, как правило, содержится один двухслойный элемент новой информации, совмещающий в себе пропозициональные и пресуппозитивные знания.

Лингвокультурологический синтез в общей теории РЖ лингвистического и прагматического направлений позволяет, на наш взгляд, объединить диалогические и языковые аспекты речевых жанров в одно ценностно-смысловое пространство дискурса. В основе такого подхода лежит гипотеза, согласно которой в речевом жанре находит материальное выражение взаимное воздействие дискурса и культуры (Пульчинелли Орланди Э., 1999: 198). Иными словами, речевой жанр является той категорией, в которой объективируются и дискурсивные, и лингвокультурные факторы речепорождения. Поскольку

речевой жанр и культура находятся в опосредованных отношениях, то роль посредника здесь как раз и выполняет дискурс. Поэтому осмысление сущности взаимосвязи между речевым жанром и культурой осуществляется главным образом через анализ дискурса.

Вместе с тем, надо полагать, каким бы широким не было понимание дискурса, он никоим образом не может заменить собою лингвокультуру. Конечно, на дискурсе всегда лежит печать историко-культурной и лингвокультурной детерминированности, но по природе и сущности своей он не сводим к факторам своей обусловленности. Дело в том, что само понятие культуры, как и понятие языковой личности, наполняется в дискурсе иным содержанием. Культура здесь служит той пресуппозитивной средой, на фоне которой осуществляется дискурсивная деятельность. Субъект дискурсивной деятельности изначально связан с языком, поэтому в лингвистике он получил название языковой личности. Таким образом, субъект дискурсивной деятельности является одновременно и субъектом языка, и субъектом культуры, между которыми существует симптоматическое отношение. Их суть состоит в индетерминации: языковое сознание выступает специфическим воплощением дискурса, точнее, дискурсивных идеологий; а дискурс, в свою очередь, служит специфическим материальным воплощением культуры.

При этом следует помнить, что сознание языковой личности значительной частью погружено в подсознание. А поскольку языковое сознание — специфическое воплощение дискурса, то и в дискурсе не менее значительными оказываются речеганровые механизмы подсознательного управления процессами порождения текста (продукта дискурсивной деятельности).

Из высоких ворот,
Из заохтенских болот,
Путем нехоженым,
Лугом некошеным,
Сквозь почной кордон,
Под пасхальный звон,
Незванный,
Несуженый, —
Приходи ко мне ужинать.

А. Ахматова. Заклинание

Намерение выразить заклинание уже на подсознании предполагает наличие трех основных атрибутов данного РЖ — императива, подчинения, магии слова — для преодоления всевозможных препятствий (*из тюремных ворот, из заохтенских болот, путем нехоженым, лугом некошеным, сквозь ночной кордон*).

Несмотря на то что дискурсивное смыслообразование предполагает наличие языковой личности, причастной к культуре и к подсознательному, дискурс не может и не должен их подменять. В нашем понимании, внутренняя связь дискурса и речевого жанра осуществляется через текст, который, собственно, и является объектом дискурс-анализа. Напомним, что дискурс-анализ — это, скорее, не столько анализ, сколько метод, применяемый для адаптации дистрибутивного подхода к изучению сверхфразовых единиц в том или ином тексте. При этом термин *анализ* при всей его многозначности не кажется избыточным, поскольку, во-первых, действительно предполагает разложение дискурса на части и, во-вторых, служит эпистемологическим средством изучения произведения (поэтического, например) в лингвистическом, текстовом и собственно дискурсивном аспекте.

Имеющийся опыт лингвистического применения такого анализа Л. Альтюссером направлен на выделение и функционально-семантическое описание языковых единиц, конституирующих данный текст. Текстовый анализ подчинен экспликации скрытых, подтекстовых, смысловых пластов содержания текста, микротекста или контекста. В этой части анализа внимание исследователя обращено прежде всего на такие текстовые категории, как *когезия, тема, топики*, в центр внимания попадают разного рода интертекстуальные связи исследуемого текста. Поскольку текст является продуктом дискурсивной (речемыслительной) деятельности человека в её историко-культурной обусловленности, собственно дискурсивный анализ призван раскрыть «под невинностью говорения и слушания скрытую глубину дискурса бессознательного» (Althusser L., 1965: 12). Однако несмотря на дискурсивную терминологию, альтюссеровский подход скорее применим к тексту, чем к дискурсу: он позволяет выявить и интерпретировать прежде всего «скрытые силы» текста. При всем текстоцентризме он всё же дал необходимый импульс М. Фуко (1966) для разработки дискурс-анализа, ориентиро-

ванного на описание дискурса «как механизма высказывания и как институционального механизма» (Серио П., 1999: 25).

Для понимания связи дискурса с речевыми жанрами и культурой важны обе концепции — лингвистическая и прагматическая. Первая обращает нас к ментальной сфере бессознательного, а вторая — к скрытым культурно обусловленным смыслам текста. Однако их методологические установки неприемлемы, поскольку не учитывают внутренней связи текста с порождающей его средой и прежде всего с типовой речевой ситуацией. В этом плане ценным оказывается замечание, что «любой дискурс существует лишь ради кого-то и в определенной ситуации» (Робен Р., 1999: 184). Именно связь текста с речевыми ситуациями позволяет рассматривать дискурс как одно из важнейших условий лингвокультурологической идентификации того или иного речевого жанра. Для реализации данной концепции нужен такой дискурс-анализ, который позволил бы удерживать в поле зрения одновременно языковые, текстовые и культурно-ситуативные составляющие дискурса. Его создание будет способствовать формированию нового направления в теории РЖ, лингвокультурологического, как нам представляется, — достаточно перспективного.

Глава 5

«ЖИВОЕ» СЛОВО В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

5.1. «Языковая картина мира» и этнокультурная специфика «живого» слова. 5.2. «Живое» слово и поэтическая картина мира. 5.3. «Живое» слово, когнитивные структуры и языковое сознание. 5.4. «Живое» слово и этнокультурные константы языкового сознания. 5.5. Значение и поэтический смысл «живого» слова.

Всё ясно только в мире слова.
Вся в слове истина дана.
Всё остальное — бред земного,
Бесследно тающего сна.

Ф. Сологуб

5.1. «Языковая картина мира» и этнокультурная специфика «живого» слова

Истинный смысл этнокультурно маркированного «живого» слова обуславливается его статусом в языковой картине мира (ЯКМ), выступающей тем этнокультурным контекстом, в котором обычное слово приобретает ассоциативно-образные свойства, вне контекста не обнаруживающиеся. Только воссоздав соответствующий фрагмент образа столицы Чехии, полностью раскрывается этнокультурная специфика образного слова в романе П. Дашковой «Никто не заплачет»: *Злата Прага потому и осталась золотой, что во всех войнах сразу сдавалась на милость врагу. Турки, крестоносцы и прочие завоеватели, которых было немало за тысячелетие, не трогали чудесный город, не разрушали дома и соборы. Как было всё, так и сохранилось — Карлов мост, собор святого Витта, кривые улочки Стара Мясна. Чёрная брусчатка Вацлавской площади помнит, как горели на кострах инквизиции знаменитые на весь мир праж-*

ские алхимики. И эта древняя пивная, всё с теми же столами, бочками, лавками, всё с той же «деситкой» и «дванадцаткой» — тоже символ вечности. Этнокультурная специфика превращения прямых номинативных значений слов и словосочетаний в образные (*Злата Прага, Карлов мост, собор святого Витта, чёрная брусчатка помнит, костры инквизиции, «деситка» и «дванадцатка»*) становится понятной в процессе их дискурсивной адаптации к универсальной картине мира, которую можно назвать «Чешский город».

Иная этнокультурная специфика характеризует образное слово М.А. Булгакова в начале рассказа «Киев-город»: *Весной зацвели белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце лопилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру*. Так воспроизводится известная картина, открывающаяся каждому, кто пересекает Днепр с востока Украины. Однако обыденная картина мира, конечно же, будет отличаться от ее языкового воплощения М.А. Булгаковым.

ЯКМ, естественно, прежде всего связана с понятием «картина мира» — глобальным субъективным образом объективного мира, зарождающегося и существующего не только в сознании человека, но и в более глубоких, скрытых от самонаблюдения слоях его психики (подсознании и сверхсознании). Его мыслительным субстратом служит образ мира.

Образ мира — результат моделирования взаимосвязанных смыслов, появившихся вследствие взаимодействия человека с предметами, явлениями, ситуациями, зафиксированными в виде ценностно-смыслового отношения к ним. В этом плане образ мира сближается с языковым сознанием, существующим в форме системы значений и культурных смыслов языковых единиц. Именно системы сенсорных, деятельностных и эмоциональных эталонов переживания предметно-практического опыта формируют сознательный смысл.

Если следовать концепции Л.С. Выготского, то языковое сознание можно назвать структурной надсистемой образа мира. Благодаря механизмам аккомодации и ассимиляции этой надсистемы в языковом сознании завершается переработка чувственного восприятия действительности в словесный образ. Его национально-языковая специфика обуславливается когнитивно-прагматически-

ми доминантами сознания. Согласно нейропсихическому учению А.А. Ухтомского, в нашем организме при отражении того или иного фрагмента действительности активизируется господствующий очаг возбуждения, который подчиняет себе всю систему текущих реакций организма.

Принцип доминанты, по А.А. Ухтомскому, служит физиологической основой не только внимания, но и предметного мышления. Поэтому всякая когнитивная структура (культурный концепт, представление или понятие) есть след от некогда пережитой доминанты, сущность которой заключается в выделении *важного, существенного* для данного момента с торможением всего того, что для данной денотативной ситуации является второстепенным или и вовсе индифферентным. Такие доминанты, находясь между этнокультурным сознанием и миром, проецируют специфику внутренней формы образных единиц даже близкородственных языков.

Внутренняя форма, в свою очередь, обуславливает своеобразие их этноязыкового компонента. Ср.: рус. *радуга* — 'разноцветная (с переходящими один в другой семью цветами спектра) дугообразная полоса на небосводе, возникающая вследствие преломления солнечных лучей в дождевых каплях' и лексические соответствия в других славянских языках (без начального *ра-*): болг. (*небесна*) *дъга*, серб. *дуга*, словац. *duha*. П.Я. Черных не возражает против сближения первой части слова *радуга* (*ра-*) с прилаг. *рад*, сущ. *радость*, глаг. *радоваться*. Подтверждением тому служат укр. *веселка* и блр. *вясёлка*. Ср. казалось бы одинаковые по лексическому составу фразеологизмы: рус. *откалывать* (*выкидывать, отмачивать, делать*) *колени* (*коленце, коленица*); укр. *викидати* (*загинати*) *коліа* (*колінце, колінця*) — 'совершать, делать что-л. несуразное, необычное' и совершенно разные по компонентному составу и внутренней форме фразеологизмы: рус. *черная кошка пробежала* (*проскочила*) *между кем*; укр. *глек* (*горщик, макітру*) *розбили* — 'поссорились'.

Оязыковленный образ мира запечатлевается соответствующей языковой картиной мира (ЯКМ). В ее основе лежит картина мира, которая, как известно, не является зеркальным отражением действительности, поскольку картина мира — результат определенного мыслового моделирования мира в соответствии с определенной логикой миропонимания.

Системообразующими свойствами картины мира являются: 1) целостность, 2) космологичность (глобальность образа мира), 3) внутренняя безусловность и достоверность, 4) стабильность и динамичность, 5) наглядность и конкретность проявления элементов. Существуют разные картины мира: физическая, концептуальная, языковая. Важнейшей из них является ЯКМ. По мнению Е.С. Кубряковой, она представляет собой перевод констант сознания (концептов) на уровень вербального мышления. Побуждающим моментом порождения образного слова следует считать внешнее воздействие, вызывающее потребность (в виде мотива и коммуникативного намерения) в образных средствах коммуникации. Мотив и коммуникативное намерение предопределяют замысел — промежуточное звено между побуждающим и формирующим уровнями порождения образного дискурса. Замысел в свернутом виде воплощается в концепте, вокруг которого возникает соответствующее дискурсивное поле — сложное предтекстовое коммуникативно-когнитивное пространство. В его состав входят различные экстралингвистические факторы (знание мира, мнения, ценностные установки), играющие важную роль для построения и понимания (восприятия) той информации, которая в соответствии с коммуникативным намерением станет когнитивной базой текста. В такое дискурсивное поле входят подлежащие вербализации события (участники этих событий, перформативная информация) и «не-события» (обстоятельства, сопровождающие события, фон, оценка участников события и т.п.). В содержание смыслообразующего дискурса входят концептно-пространственная схема, предопределяющая выбор образных средств языка¹, и программа структурирования ЯКМ, в рамках которой определяются контуры будущего высказывания (текста). Такой перевод констант сознания (концептов) в слова осуществляется через семантические категории того или иного национального языка.

В конечном итоге сущность ЯКМ обуславливается содержанием языковых структур. Данное положение дает основание утверждать, что поскольку ЯКМ «лежит в основе мировидения носителей

¹ По Х. Джексону, сначала мысль приобретает форму предложения, затем подбираются слова, соответствующие мысли.

языка, репрезентирующего сущностные свойства мира в их понимании и являющиеся результатом всей их духовной активности» (Кубрякова Е.С., 1991: 21), она содержит те обобщенные личностные смыслы, которые делают эту картину «живой», живописной и пристрастной. Вне духовной активности трудно объяснить механизм превращения «обычного» языкового знака в образно-поэтический.

Механизм превращения сопряжен с одновременным порождением многомерной субстанции предметно-чувственного образа, которая описывается при помощи созданной В.Е. Василюком *модели образа сознания*. В соответствии с этой моделью остовом механизма порождения образного слова служат следующие «узлы»: 1) внешний мир являет предметное содержание образного слова, 2) внутренний мир — его личностный смысл, 3) культура — коннотативные значения, 4) а языковое сознание — образное слово. Вместе взятые эти составляющие задают объем, в котором пульсирует и оживает денотативная основа ЯКМ.

Воссоздание ЯКМ в ходе лингвокультурологического исследования осуществляется посредством дискурсивного анализа языкового материала. Подобного рода суждения снимают вопрос о первичности / вторичности *картины мира* и *модели мира*. Представляется, что первична модель мира. Она может быть объективирована как в языке, так и в дискурсе. Ср.: *Коли обриш ковтає сонце, із далини тозі у степ приходить синя ніч. Руки млосно над степом зведе, сіє чи Зорі, чи роси... Тихо, наештиньки хлібами бреде-бреде... А степ принишкне, зачарований. Зітхне. ...А десть у житах перепелиний крик...*

У балці на селі над стріхами тоді сиплються зорь. І на левади сиплються — жаринками горять по траві (А. Головка).

В отличие от модели мира, имеющей *объяснительную* силу, картина мира по сути своей *описательна*. Однако в обоих случаях единицей объяснения и описания служит «концепт», содержащий в себе когнитивную синергетику логического и чувственного (образного, эмоционально-оценочного) отражения мира (ср.: Langacker R.W., 1991: 28).

Концепт, в отличие от понятия, — это 1) некая идея, включающая и абстрактные, и конкретно-ассоциативные, и эмоционально-

оценочные смыслы, поскольку концепты, по Ю.С. Степанову, не только мыслятся, они переживаются (1997: 41); 2) точка пересечения между миром культуры и миром индивидуальных смыслов это «сгусток культуры в сознании человека и то, посредством чего человек сам входит в культуру» (1997: 40–42); 3) объективно существующее в сознании человека перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера, выработанное на базе конкретного житейского понятия; 4) это сущность, явленная в своих содержательных формах — в образе, в понятии и в символе; 5) это и ментальный генотип, атом генной памяти, и архетип, и первообраз (Колесов В.В., 2004: 19–20).

Если понятие рассудочно и связано с рациональным знанием, то концепт, по Абельяру, — производное возвышенного духа, разума, способного творчески воспроизводить смыслы; «гештальты» бытия, своеобразные культурные гены, опирающиеся на предпонятийный базис. Поэтому, в отличие от понятия, концепт — трудно определяемая сущность. Понимание концептов, вербализуемых ФЕ, достигается только в единстве дискурсивного (через рассуждение) и недискурсивного познания (через образ, символ, участие в осмысленной деятельности, переживание эмоционального состояния).

Для лингвокультурологии неприемлемо понимание концепта как образа исключительно абстрактной сущности. Видимо, поэтому было создано понятие культурного концепта. Намерения благие: спустить концепт с высот абстракции на осязаемую лингвокультурологическую почву. При этом обнаруживается другая крайность — попытки закрепить за культурным концептом исключительно этноцентрическое содержание. На наш взгляд, нет достаточных оснований причислять к культурным концептам лишь те объекты, которые обладают ярко выраженной национально-культурной спецификой. Только широкий подход к пониманию культурного концепта позволит не только развивать теорию взаимосвязи мышления, сознания, культуры и языка, но и приблизиться к когнитивно-дискурсивным тайнам порождения национально-культурного компонента в семантике языкового знака. В единстве лингвокультурологических и когнитивно-семиологических методик может быть решена проблема полномасштабного моделирования ЯКМ, а также выявления тех механизмов, которые определяют ее этнокультурное своеобразие.

Словосочетание «национально-культурный компонент языкового значения» хотя и стало популярным в современных исследованиях, еще не обрело устойчивого и общепринятого понимания. Понятно лишь, что оно призвано фокусировать смыслы, рождаемые взаимодействием национального и культурного факторов формирования семантической структуры образного слова (фразеологизма). Но в чем его терминологическое содержание? В поисках ответа на этот непростой вопрос В.Г. Гак предлагает различать национальную и культурную специфику. Однако здесь необходимо заметить, что разведение национальной и культурной специфики не является единственно возможным толкованием анализируемого явления.

Ряд лингвистов в качестве предмета анализа исследует национально-культурную специфику слова в ее единстве. Так, Анна Климчукова в статье «Функционирование местоимения 1 лица мн. числа в современной православной проповеди (русско-словацкий аспект)» убедительно показывает на фоне общей православной идеи соборности (крестьянской общности, совокупности) национально-языковое своеобразие употребления высокочастотного местоимения *мы* русскими и словаками. По наблюдениям автора, в словацком языке личные местоимения в роли подлежащего выступают редко, тогда как в русском позиция подлежащего для него является правилом. Зато в словацком более употребительны притяжательные местоимения (Климчукова А., 2003: 178–179). В основе этого подхода лежит точка зрения Н.А. Бердяева, признававшего культуру национальной по сути: «Культура никогда не была и никогда не будет отвлеченно-человеческой, она всегда конкретно-человеческая, то есть национальная» (Бердяев Н.А., 1996: 85).

Именно данное философское воззрение является базовым для исследований национально-культурной специфики фразеологизмов русского языка. В.Н. Телия убеждена: всё, что может быть истолковано в терминах оценочности, принадлежит к кругу национальной культуры (Телия В.Н., 1998: 214). Другие исследователи (например, Н.М. Фирсова) полагают, что национальная специфика слова этнически обусловлена, т.е. продиктована фактом принадлежности к определенному этносу.

Итак, лингвокультурологическое исследование сосредоточено прежде всего на анализе национальной специфики, реализующей-

ся в особенностях культурно-языкового взаимодействия. Поэтому второй задачей лингвокультурологии выступает исследование культурно-языковой специфики. Для этого предлагаются два метода: сравнительный и интроспективный. Сравнительный подход предполагает сравнение с другими языками и культурами, поскольку именно сравнение способствует выявлению общих и специфических черт образного слова. Ср.: а *Васька слушает да ест* // а *Kit ковбаску уминає* — 'о бесполезности увещаваний бессовестных людей' (общий предметный остов, но разные внутренние формы ФЕ — см.: Алефиренко И.Ф., 2005: 128), *зарубить [себе] на носу (на лбу)* // *закарбувати в пам'яті, [добре] затямити собі* — 'запомнить крепко, навсегда' (ФЕ русского языка в украинском соответствуют нефразологические устойчивые сочетания), *как свои пять пальцев (знать)* // *як свої старі чоботи, як свої п'ять пальців (знати)* — 'очень хорошо, обстоятельно разбираться, понимать', (в украинском языке русской ФЕ соответствуют два синонимических оборота, восходящих к разным внутренним формам); *не мытьем, так катаньем* // *не кием, так палицею* — 'не тем, так другим способом' (разные внутренние формы), *бобы разводить* // *теревені правити (розводити, точити, плести), ляси точити* — 'вести пустые разговоры, рассказывать небылицы' (национально-образная специфика ФЕ обусловлена их разными внутренними формами, вариацией глагольного компонента и синонимическим воплощением концепта), *шито-крыто* // *тишком-нишком* — 'о чем-л., что остается в тайне, неизвестным' (различие по предметному остову и по внутренней форме).

Для выявления национально-культурной специфики образного слова интроспективный анализ целесообразно осуществлять двумя методами: экспериментальным (работая с информантами) и методом сравнительно-контекстуального анализа слова в тексте и системе языка (Добровольский Д.О., 1997: 40). Сочетание интроспективного и сравнительного методов при изучении национально-культурной специфики поможет уйти от полного этноцентризма, когда культурно-языковым стандартам одного сообщества придается статус универсалий. С другой стороны, сочетание данных исследовательских эвристик позволяет избежать противоположной крайности, состоящей в обособленном описании лингвокультурно-

го содержания слова. Избежать этой крайности невозможно без обращения к внутренней взаимосвязи культурно-языковых универсалий и уникалий. Насколько это важно для изучения национально-культурной специфики слова?

В настоящее время этот вопрос находит различные, вплоть до взаимоисключающих, решения. С одной стороны, нигилистический взгляд на признание системных связей языка и культуры ведет к недопущению концепции культурно-языковой специфики. С другой стороны, признание тотального доминирования национально-культурной специфики в качестве следствия не допускает существования значимых универсалий. Языковые уникалии и универсалии существуют даже во фраземике близкородственных языков: *пришей кобыле хвост* // *приший кобилі хвіст* — 'о ком-л., чем-л. ненужном, неуместном' (полное совпадение компонентного состава ФЕ), *показывать свои когти* // *показувати свої кігті (пазури)* — 'проявлять, обнаруживать злые намерения, готовность к нападению, отщору' (различие в варьировании объектного компонента), *помнить до новых (свежих) венчиков* // *пам'ятати до нових віників* — 'очень долго не забывать' (различие в варьировании атрибутивного компонента).

Нам представляется, что культурно-языковая специфика и культурно-языковые универсалии не находятся в отношениях взаимоисключающего противопоставления, они сосуществуют. Такая точка зрения согласуется с утверждением Б. Рассела, что наше знание о мире и вещах (речь в данном случае идет о вербализованном знании) состоит из знания двух видов — когда вещи известны как конкретности и как универсалии. Соответственно, универсальная и национально-культурная составляющие образного слова (ФЕ) находятся в комплиментарных отношениях. Наличие культурно-языковой специфики отнюдь не отменяет действия культурно-языковых универсалий. Универсальное и культурно специфичное находит отражение в языке как системе, которая при анализе выстраивается в определенную ЯКМ.

Итак, этнокультурная специфика образного слова формируется и выражается в дискурсивном пространстве ЯКМ в процессе «перевивания» конкретно-ассоциативных и эмоционально-оценочных смыслов вербализуемого концепта.

5.2. «Живое» слово и поэтическая картина мира

Категория «картина мира» (КМ), впервые использованная в философских трактатах Л. Витгенштейном и перенесенная в лингвистику Лео Вайсгербером, порождает в науке множество разных субкатегорий. В их ряду появилось понятие «поэтическая картина мира» (ПКМ), которое становится предметом спора и в лингвокультурологии, и в лингвистике (см.: Куманок О.В., 2007). К сожалению, не обретя строго терминологического значения, словосочетание *поэтическая картина мира* нередко употребляется в качестве научной метафоры с размытым и завуалированным содержанием. Для получения статуса истинно терминологического значения в его содержании необходимо отразить, по крайней мере, три момента: а) когнитивную составляющую, б) интерпретационный характер и в) семиотическую природу.

Когнитивная сущность ПКМ заключается в том, что она является авторским преломлением коллективного отражения мира в этнокультурном сознании того или иного языкового сообщества. Такое отражение действительности представляет собой результат двуединого процесса — рационального и чувственного познания, что, собственно, и определяет творческий, преобразующий и интерпретирующий характер ПКМ. Преобладание второго аспекта познания обуславливает семиотическую природу средств репрезентации ПКМ. Этим, собственно, ПКМ отличается от ЯКМ, в содержании которой рациональное и чувственное сосуществуют на паритетных началах. ЯКМ определяется как языковые образы реальных предметов и отношений, периферийные участки вербальных представлений, которые становятся источником дополнительных сведений об окружающей нас действительности. Причем они часто производят стойкие отложения в сознании познающего субъекта в силу образного характера их информации (Е.М. Верещагин). ПКМ — индивидуально-авторская *интерпретация* смыслового содержания ЯКМ, направленная не столько на репрезентацию реальной действительности, сколько на моделирование возможных миров.

Интерпретационный потенциал понятия ПКМ обуславливается тем, что в отличие от логико-предметного содержания ЯКМ, экспрессивно-образное и эмотивно-оценочное содержание ПКМ

генетически связано с образными *представлениями*. Первая вербализуется прямонимативной, производной и профессиональной лексикой и терминами, а вторая — преимущественно знаками вторичной и косвенно-производной номинации (метафорами, фразеологизмами, паремиями). Первые представляют собой элементы объективно сложившегося коллективного сознания, вторые — элементы художественного (поэтического) сознания, отфильтрованные в идиоэтническом десигнате соответствующего поэтического знака.

Особую культурологическую значимость имеют те поэтические знаки, в основе которых лежат когнитивные категории, совмещающие в себе универсальные и идиоэтнические обобщения действительности, реальные и ментальные (возможные) миры. Знания об идиоэтнических, по своей сути ментальных, мирах образуют ПКМ — своеобразную сферу культуры, формой существования которой служат концепты, формируемые в результате своеобразного членения ПКМ на некие микромиры, соответствующие всем возможным ситуациям, известным человеку, и поэтому называемым возможными мирами.

Исследования последних лет дают основание разграничивать в ПКМ макроконцепты (константы национальной культуры) и субконцепты (идиоэтнические варианты последних). Сегодня особенно продуктивной разработке подвергается проблема константных концептов. Одной из причин такого положения дел служит количественный фактор (константы культуры могут быть представлены ограниченным списком типа «мир», «вечность», «сущность», «время», «огонь», «вода», «язык» и др.). К тому же их представляют слова весьма сложной семантической структуры, которые, несмотря на свою рациональную универсальность, обладают, как показала в своих работах А. Вежицкая, имплицитными национально-культурными различиями. Это служит основанием для выделения универсальной, языковой (ЯКМ) и поэтической картины мира.

Наиболее дискуссионной является проблема ЯКМ и ПКМ, поскольку она связана с критикуемой многими исследователями гипотезой Сепира-Уорфа. С такой критикой следовало бы, разумеется, согласиться, если бы теория ЯКМ и ПКМ действительно исходила из постулатов пресловутой гипотезы. На самом же деле в ее основе лежат постулаты об *инвариантности* логических и *вариативности*

языковых категорий, участвующих в формировании и ЯКМ, и ПКМ. Остовом любой ЯКМ является, конечно же, универсальная (логическая, инвариантная) модель действительности, структурированная при помощи таких невербальных средств, как универсальный предметный код или «язык» когнитивных примитивов. Этнические языки лишь переводят инвариантный код в соответствующие ему этнокультурные коды. Язык в подобных научных доктринах не принимает активного участия в познавательных процессах и поэтому связан с культурой только как средство ее репрезентации.

Согласиться с таким пониманием взаимоотношения языка культуры — значит, оставить без внимания интереснейшие наработки отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие имплицитные механизмы взаимодействия языковой и культурной семиотики (М. Коул). Достаточно вспомнить гипотезу «культурных знаков» Л.С. Выготского, согласно которой между человеком как субъектом познания и окружающим его миром существует влиятельнейший посредник и интерпретатор языка культуры, важнейшей разновидностью которого является естественный язык. Поскольку же язык вообще существует в конкретных этносемиотических системах, то язык каждого народа преломляет отражаемый в сознании мир в соответствии с его семиотическим устройством, грамматической структурой и накопленной в семантике языковых единиц социокультурной информацией.

Подобная лингвокультурологическая доктрина при всей ее привлекательности и непротиворечивости способна, однако, вызвать иллюзорное представление о господстве языка над культурой, возвратив нас тем самым в прокрустово ложе гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа. Язык в рамках этой доктрины выступает неким таинственным демиургом культурной реальности, ее творцом, создающим началом, креативной силой.

И все же (в который раз!) сегодня приходится задумываться над тем, так ли уж всё иллюзорно в этой гипотезе. Известны на этот счет два диаметрально противоположных суждения (оба представлены в работах последнего десятилетия XX века). Одно из них принадлежит С. Пинкеру, без оговорок отрицающему какой-либо разумный смысл нашедшей гипотезы. Такие безапелляционные оценки вы-

зывают вполне аргументированные возражения А. Вежбицкой, которая, обращая внимание на явные преувеличения роли родного языка в восприятии и понимании мира, все же принимает основной тезис Уорфа о том, что мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком, что мы расчленяем мир, как это закреплено в системе моделей нашего языка.

На наш взгляд, споры о том, насколько язык определяет стиль и образ мышления, подпитываются досадным исключением из обсуждаемой проблемы такой ее важнейшей когнитивной составляющей, как *этнокультурное сознание* и способы его семиотизации. Иными словами, различного рода иллюзии об абсолютном господстве одного из базовых элементов речемыслительной деятельности — *языка или мышления* — порождаются неразличением когнитивной значимости языковой и культурологической семиотики в познании и отражении мира. Экспериментальные исследования показали, что различия в мышлении обусловлены различиями не между языками, а между распространенными в той или иной культуре видами деятельности. Поэтому, если вновь апеллировать к гипотезе Сепира-Уорфа, следует говорить не о лингвистической, а о «деятельностной относительности», поскольку не может быть и речи о том, будто разным языкам соответствуют разные типы познавательных процессов.

В соответствии с *семиотической* концепцией сознания А.Н. Леонтьев выделяет в структуре сознания три образующие: чувственную ткань образа, значение и личностный смысл. Это особенно важно учитывать при описании концептосферы языка писателя. Согласно когнитивному подходу к языку энциклопедические знания или личностные знания о мире дают представление о том, что понимается под моделью мира в сознании писателя и читателя, и каково соотношение концептуальной и языковой картин мира в их воображении. ПКМ как субъективный образ объективного мира зарождается и существует в глубинных слоях психики писателя, как правило, скрытых от самонаблюдения. К таким слоям относятся области подсознания и сверхсознания. Каждая индивидуально-авторская картина мира всегда представляет национально-культурное видение действительности, смысловое конструирование мира в соответствии с художественной «логикой» построения поэтического

текста, отражающего ПКМ автора. Процесс же восприятия и понимания ПКМ читателем является с этой точки зрения результатом соотношения и наложения ЯКМ автора и ЯКМ читателя.

ПКМ, разумеется, не может быть полностью адекватной ЯКМ читателя. Вместе с тем по мере осмысления текста достигается сближение субъективных ЯКМ автора и читателя, что делает возможным *понимание* поэтического текста. При этом ПКМ должна содержать новую информацию об объектах, представленных в ЯКМ (ПКМ автора художественного текста должна быть шире и богаче ЯКМ читателя). Только в таком случае поэтическое произведение приобретает этнокультурную значимость. Это, в свою очередь, предполагает осмысление характера информации, представляющей в семантике поэтического знака (языкового знака вторичной и косвенно-производной номинации) соответствующие элементы ЛКМ и ПКМ. Иногда утверждают, что ЛКМ продуцирует логическую семантику, а ПКМ — языковую. На наш взгляд, генератором и носителем как логической (универсальной), так и идиоэтнической информации является все же языковая семантика. При этом, как нам представляется, соотношение в семантической структуре языкового знака универсального и идиоэтнического обуславливается природой той когнитивной категории (представления, концепта, гештальта, фрейма), которая лежит в основе семантики поэтического знака. Именно она определяет характер его культурной коннотации.

Большинство исследователей коннотации рассматривают в качестве возможных ее компонентов эмотивность, экспрессию, оценку, образность и стилистические характеристики языковых единиц. Полным набором перечисленных компонентов характеризуется коннотация в работах И.В. Арнольд и И.А. Стернина. При этом коннотативные признаки противопоставляются денотативным как вторичные, сопутствующие, дополнительные и поэтому факультативные. Эту точку зрения разделяют авторы многих исследований (О.С. Ахманова, Н.А. Лукьянова, Э.В. Кузнецова и др.). Ей противостоит концепция В.А. Булдакова и В.И. Шаховского, согласно которой коннотация — равноправный макрокомпонент языкового значения.

Вторая проблема связана с тем, какие из обсуждаемых признаков являются собственно коннотативными, а какие сопутствующими — культурологическими. Наиболее спорным оказался стилистический признак языкового знака. В.А. Булдаков называет его в иерархии

коннотативных признаков доминантным, а И.А. Лукьянова выносит за рамки коннотации. Подобное отношение наблюдается и к образности: В.К. Харченко считает её компонентом коннотации, а О.В. Загоровская рассматривает третьим макрокомпонентом значения после денотативного и коннотативного, т.е. элементом коннотации не признает. В.И. Шаховским за пределы коннотативной структуры выводятся экспрессия и оценка, поскольку он относит их к денотативному макрокомпоненту значения, а смыслообразующим элементом коннотации рассматривается эмотивность как коммуникативно-прагматическая категория. Столь противоречивое понимание коннотации обусловлено зыбкими критериями ее отграничения от денотации.

Как термин слово «коннотация» в лексикографической практике стало широко использоваться в двух основных смыслах: а) для обозначения «добавочных» (модальных, оценочных и эмотивно-экспрессивных) элементов лексических значений, фиксируемых в словарных статьях; б) для выражения оценочного отношения к предметам знакообозначения, которое не является элементом лексического значения. Однако это различие чаще всего не соблюдалось, что порождало терминологическую путаницу:

- *коннотация* — интенционал, смысловой конструкт, противопоставляемый *денотации* (логико-философская традиция, истоки которой следует искать в работах Дж. С. Милля);
- *коннотация* — синтаксическая, валентность слова (психолингвистическая традиция, сформированная К. Бюлером);
- *коннотация* — переносное значение фигурального происхождения (А.В. Исаченко);
- *коннотация* — факультативный элемент лексического значения (У. Майер-Барановска).

Приведенные определения помогают уяснить сущность *культурной коннотации* как особой разновидности традиционно выделяемого макрокомпонента семантики поэтического знака. Ср.:

Месяц рогом облако бодает,
В голубой купается пыли.
В эту ночь никто не отгадает,
Отчего кричали журавли.

С. Есенин

Переносное значение фигурального происхождения и факультативный элемент лексических значений именной метафоры *рог месяца* и глагола *бодает* в сопряжении с образной зарисовкой ночи (метафорическая семантика выражения *Месяц купается в голубой пыли*) в ритмико-мелодической тональности русской народной песни рожают народно-поэтические коннотации сквозь призму специфически есенинского мировосприятия.

Рассматриваемая категория, тем не менее, имеет и свои отличительные свойства. С одной стороны, понимание культурной коннотации сближается с этимологическим толкованием коннотации как со-значения слова. А с другой, — она все более явно приобретает собственно культурологическую значимость, становясь базовым понятием ПКМ. В ее содержание входят и когнитивные, и дискурсивные, и культурные смыслы.

Культурные смыслы отражают цель, значение и ценность слова-события. В связи с этим культурный смысл креативен, способен саморазвиваться и быть средством моделирования возможных миров. Он контекстуален, и в этом смысле процессуален, но и атемпорален одновременно, поскольку может быть транслирован. В этом плане он интертекстуален и интердискурсивен.

При таком подходе под культурной коннотацией следует понимать дискурсивно-когнитивную интерпретанту поэтического знака (знака этнокультурного сознания), связанную с его образно мотивированным значением. Именно из совокупности мотивированных значений поэтических знаков и моделируется индивидуально-авторская (поэтическая) картина мира писателя.

5.3. «Живое» слово, когнитивные структуры и языковое сознание

В разрабатываемой когнитивно-семиологической теории лингвокультурологии (Алексеев М.А., 2000: 36) соотношение названных категорий проблемно по нескольким причинам: а) отсутствует единообразие в понимании понятия «когнитивная структура»; б) все еще далека от завершения дискуссия о сущности сознания, в том числе этнокультурного и этноязыкового.

Когнитивные структуры. Когнитивная структура — это схема кодирования, хранения в сознании человека знаний, полученных в результате познания действительности, схема когнитивной «упаковки» смыслового содержания, представляемого знаковыми единицами естественного языка. Наиболее популярной ныне является типология когнитивных структур, разработанная А.П. Бабушкиным и З.Д. Поповой. Выделив одну базовую когнитивную структуру — концепт, ученые выделяют в ее рамках следующие типы когнитивных структур: концепт, представление, схема, понятие, фрейм, сценарий, гештальт. В работах других авторов концепты, фреймы, гештальты и образы выделяются как относительно самостоятельные образования.

Превращение беспристрастного знака в поэтический и сотворение в процессе такой метаморфозы индивидуального смысла художественного слова осуществляется благодаря его чувственному *переживанию*. Чувственная ткань образа, по теории Ф.Е. Василюка, — это многомерная субстанция. Чтобы понять и описать её, создается *модель образа сознания*, согласно которой 1) внешний мир являет предметное содержание, 2) внутренний мир — личностный смысл, 3) культура — значение, 4) а язык — слово. Вместе все эти составляющие (синергетические «узлы») задают объем, в котором пульсирует и переливается живой образ сознания языковой личности. Образ сознания языковой личности многомерен. Существует пять синергетических измерений, четыре из которых (значение, предмет, личностный смысл, знак) являются своего рода магнитными полюсами образа сознания языковой личности. «В каждый момент силовые линии внутренней динамики образа могут направляться по преимуществу к одному из этих полюсов, и возникающим при этом доминированием одного из динамических измерений создается особый тип образа» (Василюк 1984: 18). Пятое измерение — чувственная ткань, особая внутренняя «составляющую» образа сознания языковой личности поэта. Такой подход позволяет по-иному интерпретировать образный компонент когнитивной структуры. В этом случае образ становится уже не явлением извне, он предстает перед нами не как внешняя по отношению ко всем этим мирам сущность, а как часть каждого из них, как их интеграл, как их «голограмма», фокусирующая волны и энергии всех этих миров в едином пространстве языкового сознания.

Языковое сознание. Сознание — одно из центральных понятий философии, психологии и психосемантики. В наше время это один из проблемных вопросов когнитивной лингвистики, что обуславливается отсутствием методики адекватного исследования столь загадочного феномена: с одной стороны, есть понимание, что этноязыковое сознание — основной механизм «управления» речемыслительными процессами говорящих на том или ином языке, а с другой — недоступность непосредственному наблюдению, вследствие чего о его специфике приходится судить по косвенным данным. Сложность изучения сознания послужила поводом для Т. Гексли выразить в конце XIX века мнение о том, что природа сознания в принципе непостижима. Многие психологи в XIX–XX веках (В. Вундт и др.) считали, что научному осмыслению поддаются только отдельные явления сознания. Что же касается его сущности, то она не может быть выражена, хотя сознание субъективно дано в переживаниях. В XX веке усилиями главным образом отечественных ученых было создано несколько основных концепций сознания.

1. Концепция отождествления сознания с *знанием*, наиболее четко проявившаяся в картезианской традиции: все, что мы знаем, — это сознание, и всё, что мы осознаем, — знание. Однако современная наука о человеке столкнулась с фактами неосознаваемого, неявного *знания*. Это не только то, что я знаю, но о чем в данный момент не думаю, а значит и не сознаю, но что легко могу сделать достоянием моего сознания. Например, моё знание фактов автобиографии и т.д. Это также и такое знание, которым я располагаю и которым пользуюсь, но которое с большим трудом может быть осознано, если вообще это возможно (Бог, истина, любовь и т.п.).

2. Некоторые ученые в качестве главного признака сознания выделяют не знание, а *интенциональность* — направленность на определенный предмет, объект. Таким признаком, с этой точки зрения, обладают все виды сознания: не только *восприятия* и *мысли*, но и *представления*, *эмоции*, *желания*, *намерения*, *волевые импульсы*. Сознание может быть интенционально нацелено на физические предметы (реальные или мнимые), на идеальные предметы (числа, значения и др.) или же на состояния самого сознания. Однако понятие интенциональности (О.А. Алимуратов) не может объяснить

многих фактов «жизни сознания» («настроение» или же то «фоновое знание»).

3. Иногда сознание отождествляется с *вниманием*. Эта позиция особенно популярна у некоторых представителей когнитивной психологии, пытающихся истолковать сознание (т.е. *внимание* при данном понимании) как некоторый фильтр на пути информации, перерабатываемой нервной системой. Между тем ряд фактов психической жизни не поддается объяснению и с этой точки зрения. Современные американские психологи Дж. Лэкнер и М. Гэррет показали, что информация, воспринимаемая субъектом без внимания, тем не менее, в какой-то мере осознается им и влияет на понимание.

4. Одна из наиболее влиятельных концепций сознания связана с истолкованием его как *самосознания, саморефлексии, самоотчета «Я»* в собственных действиях. Сознание при таком понимании выступает как специфическая реальность, как особый «внутренний мир», данный субъекту совершенно непосредственно и познаваемый с полной несомненностью путем интроспекции. Так, согласно Декарту, самосознание — единственно достоверное, несомненное знание, которое поэтому является основанием всей системы знания. Такой подход тоже порождает ряд трудностей. Кто является воспринимающим *субъектом* в случае интроспекции? Где он «находится»? Насколько безошибочно самосознание, если само познание предполагает возможность заблуждения?

В понимании Дж. Серля, сознанию присущи следующие свойства: 1) единство; 2) интенциональность; 3) субъективность; 4) структурированность; 5) различие «центра» и «периферии»; 6) настроение; 7) темпоральность; 8) социальность. Наличие интенциональности и субъективной социальности, а также разное соотношение элементов «центра» и «периферии» позволяет говорить о языковом и этнокультурном сознании.

Под языковым сознанием мы понимаем совокупность значений языковых категорий, отражающих типовые коммуникативно-прагматические ситуации речевого общения, и знание алгоритма использования механизма взаимодействия языковых подсистем, необходимых для реализации коммуникативной интенции в данном — речемыслительном акте. Такие языковые знания существуют

обычно на уровне подсознания для говорящих на родном языке и с разной долей осознанного построения речевого акта для говорящих на неродных языках. В этом отношении языковое сознание напрямую связано с этнокультурой, поскольку именно языковое сознание народа является непосредственным объектом усвоения детьми этнокультурных ценностей при овладении речью, в том числе и родной.

Этнокультурное сознание — это результат отражения и восприятия образа мира в соответствии с особой сеткой ценностно-смысловых координат, представляющих собой содержательные контуры той или иной национальной культуры (А.Г. Гурочкина). По своей природе этнокультурное сознание сопряжено с языковым сознанием, поскольку специфику каждой этнокультуры определяет структурированная совокупность основных духовных ценностей, традиций и обычаев, закодированных в устно-поэтических и письменных произведениях. Прежде всего этнокультурной значимостью отмечены идиомы, паремии, языковые метафоры и устойчивые стилистические фигуры. Ср.: 1) *Ты представляешь, какое у меня было состояние. Хоть в петлю. Спасибо добрые люди отвели к одной ясновидящей. Грибова — отличный специалист, не чета всем другим* (Моя семья, 2007, № 19, с. 22); 2) *... при доработке (в Госдуме) кодекса санкции могут быть смягчены или вовсе убраны. Своя рука владыка...* (АиФ, 2007, № 8, с. 11). Подобного рода языковые структуры представляют в русском языковом сознании в образной форме наиболее важные для данной этнокультуры объекты — предметы, события, факты.

Представления о культурно значимых предметах, событиях, фактах, зафиксированных в концептах, связаны с понятием прототипа или, точнее, с прототипическими признаками тех или иных классов предметов. Прототипические признаки — это те свойства, которыми характеризуются предметы соответствующего класса. Причем набор таких признаков и их иерархия в каждом национальном языке «свой». Иными словами, одни и те же объекты воспринимаются и кодируются этноязыковыми сознаниями в соответствии с выработанными в данном этнокультурном сообществе представлениями о данном классе предметов. При том, что логические механизмы их концептуализации остаются универсальными.

Одинаковые концепты в разных языках могут иметь различные вербальные репрезентации. Ср. сходные идиомы в русском и словацком языках, репрезентирующие концепт «нищета»: в значении 'жить очень бедно, терпеть нужду, лишения' — перебиваться *из кулька в рогожку* (прост.) (син.: *перебиваться с хлеба на квас*) // *žiť z rúky do úst (zo dna na den)*. Видоизменяя слова-сопроводители (видоизменяя контекст употребления) идиома модифицирует и свое значение. Оно становится более обобщенным. Так, в сочетании с глаголами *попадать, переваливаться* данная идиома приобретает значение 'ничуть, нисколько' — *из кулька в рогожку* (попасть) // (*dostať sa*) *z blata do kaluže*. Например: 1) *Посадят тебя в Самаре на голодную карточку, и попадешь ты, мамаша, из кулька в рогожку* (Малышкин. Люди из захолустья); 2) *Живу по-разному. Осенью на купца похож: хлеб продаю, на базар езжу. За зиму приторговываюсь. К весне переваливаюсь из кулька в рогожку* (Неверов. Кой о чём).

Правомерность выделения в структуре сознания субкатегории языкового сознания объясняется наличием у него «своего» объекта. Дело в том, что объектом сознания может выступать не только действительность, но и язык. В сознании отражается звуковая сторона языка, категории языка и языковые значения. Кроме того, сознание выполняет и посредническую функцию, соотнося языковую действительность с реальной действительностью. В этом смысле сознание занимает промежуточную позицию между языком и действительностью. Только промежуточной функцией сознания можно объяснить гипотезу о довербальной стадии мышления, согласно которой действительность сначала отражается в сознании в виде мыслительных образов или понятий и только потом находит свое выражение в языке (П.В. Чесноков, Ю.С. Степанов, Б.А. Серебренников). В соответствии с данной гипотезой, если бы мышление в своём движении не опережало язык, а осуществлялось бы параллельно языковому оформлению, то говорящий не осознавал бы того, что он хочет сказать, и о чём говорит. Такое положение не характерно для осмысленного акта коммуникации.

Итак, в соответствии с функциональными особенностями сознания целесообразно различать: а) когнитивные структуры концептуального сознания, отражающие воспринимаемую объективную действительность; б) языковое сознание, отражающее структуру и содержание языка.

5.4. «Живое» слово и этнокультурные константы языкового сознания

Понятие «константа» заимствовано современной лингвокультурологией из математики. И как в математике, его основное содержание должны составлять такие параметры, как неизменность, постоянность, повышенная устойчивость в ряду меняющихся величин. Но таковы ли на самом деле культурные константы?

Как философская категория «константа» — реальность или идея, доминирующая над другими на протяжении длительного времени. Применительно к культуре барокко в этом понимании понятие «культурная константа», пожалуй, впервые было использовано в трудах испанского культуролога Э. д'Орса. Современное понимание понятия «культурные константы» было обосновано академиком Ю.С. Степановым. По сути своей лингвокультурологическими константами выступают концепты-архетипы. Согласно теории Ю.С. Степанова, концепты — это 1) «пучки представлений», 2) структуры знания и 3) переживаний, которые вызывают действия человека в отношении к объектам мироздания. Действительно, наш мир устроен не как некая заданная натуральная внешняя реальность, а как действительность, сформированная в ходе культурного развития самого человека, который находится в центре мироздания. Они — продукт и инструмент (способ) переработки, упорядочения и рационализации опыта, полученного из внешнего мира. И в этой ипостаси концепты-архетипы, образуя внутренний остов менталитета, как правило, человеком не осознаются, поскольку служат каркасом его *глубинного подсознания*. Иными словами, культурные константы возникают вне артефактной деятельности человека, хотя картина мира, которая выстраивается в сознании людей на основе культурных констант, может быть подвергнута анализу, реконструкции и новому моделированию. Но сами культурные константы никогда не становятся для языкового сознания предметом суждений хотя бы уже потому, что находятся на уровне нашего *подсознания*. Система культурных констант, образуя концептосферу языка, выполняет роль категориального сита, фильтрующего познаваемые объекты. В результате формируются основные лингвокультурные парадигмы, выстраивающие в нашем сознании всю структуру человеческого бытия.

Лингвокультура, структурированная в виде языковой картины мира, становится достоянием всего языкового сообщества. Поэтому языковую картину мира можно рассматривать, с одной стороны, как производную от культурных констант, а с другой — как социокультурный этап, определяющий доминирование тех или иных культурных констант. Итак, культурные константы можно рассматривать как доминирующие культурные топики, характерные для определенного исторического этапа культуры. Например, константы средневековой культуры будут иными, нежели доминирующие в Новое время, а для кочевых культур будут актуальны другие константы, нежели для урбанистических. Нет устойчивого, неизменного комплекса констант культуры — могут появляться как новые, так и видоизменяться уже существовавшие (второе происходит чаще). На базе одних и тех же культурных констант формируются самые разные картины мира (когнитивные, языковые, индивидуально-авторские и т.п.). В каждой из них культурные темы своеобразно интерпретируются. Культурные константы остаются неизменными на протяжении всего существования той или иной социокультурной системы. Однако ее ценностная ориентация обычно зависит от нашего выбора. Поэтому *ценностная* ориентация является тем фактором, на основании которого кристаллизуется определенная лингвокультура. Важно и то, что, с точки зрения автора, в культуре определенного типа можно выделить «основные» константы, определяющие структуру всего комплекса культурных констант, включающего также «второстепенные».

Все чаще в современной лингвокультурологии концептам приписывается способность субъективно отражать мир в наиболее обобщенном виде, в форме размытых, слабо структурированных мыслительных образований.

По мнению Ю.С. Степанова, концепты в отличие от понятий в собственном смысле, не только *мыслятся*, но и *переживаются*. Они — предмет *эмоций, симпатий и антипатий*, а иногда и *столкновений*. Однако главной отличительной чертой концепта является его *многослойная организация*. Ю.С. Степанов выделяет в структуре концепта три основных слоя: 1) актуальный «активный» слой концепта — своего рода верхушка айсберга, основной, очевидный для всех ныне живущих людей признак концепта, позволяющий к

пему апеллировать и им оперировать даже обыденному сознанию; 2) исторический «пассивный» слой (или слои) концепта — его дополнительные признаки, «кристаллизация» его важнейших осмыслений и толкований в различные культурные эпохи; 3) внутренняя форма, или смыслопорождающий, когнитивно-дискурсивный признак концепта, — его «смысловой исток», запечатленный во внешней словесной форме (см.: Алефиренко Н.Ф., 2004: 70). Трехслойная структура концепта — уже зримое свидетельство сочетания его постоянных и изменчивых факторов. Внутренняя форма — первооснова концепта, запечатленная во внешней словесной форме — *постоянна*, но способность концепта впитывать меняющийся смысл исторического и никогда не претендовать на завершенность предполагает *потенциальные изменения* его внутренней структуры.

Последнее время в лингвокультурологии все чаще (к сожалению, без должного обоснования) используется термин *культурный концепт*. Насколько оправдано его использование наряду с существующим однословным термином — *концепт*?

А priori ясно, что использование нового термина имеет смысл только в одном случае: если исходить из предположения, что не все концепты культурно маркированы. Такое предположение небеспочвенно. Обратимся к традиционному метаязыку, где концепт — смысловое целостное образование, объективируемое в языке не только словом, системой его ЛСВ или парадигмой словоформ, а некоторой совокупностью слов, такой, как ЛСГ или синонимико-антонимические блоки. Это некие универсальные знания, имеющие полевую организацию, которые образуют некие понятийные категории и кодируются большинством известных языков. С.Д. Кацнельсон называет их «онтологическими», «внеязыковыми», «когнитивными» или «речемыслительными». В том же ракурсе истолковывает концепт и Е.С. Кубрякова, определяющая его как оперативную содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (*lingua mentalis*) (КСКТ, 1996: 90). При таком понимании концепт оказывается родственен по своему содержанию более знакомым категориям — понятиям «информация» и «смысл».

Однако здесь также нет полного понятийного тождества: *информация* в отличие от концепта — это все те данные, которые

поступают человеку извне по самым разным каналам, чувственно-перцептуальным и сенсорно-моторным (Л.Г. Лузина). В традиционном языкознании под информацией понимают любые сведения о фактах, событиях, процессах, содержащиеся в семантике единиц языка и речи. В лексике и фраземике информация отождествляется с лексическим и фразеологическим значениями, в синтаксисе — с пропозициональным содержанием предложения, в тексте — с эвристически полученными сведениями коммуникативно-прагматического характера.

В когнитологии сформировалось понятие концептуальной информации, под которой понимают продукты осмысления всех поступающих по разным каналам сведений, в дискурсе представляющих говорящим не только собственно знания, но и *убеждения, мнения и установки*. **Концепт** же — это не просто информация, но тот формат, который служит своего рода «упаковкой» *осмысленной и структурированной* информации. И в этом плане концепт сближается с категорией смысла.

Собственно, некоторые исследователи используют *концепт* как синоним *смыслу*. Однако не лишено оснований мнение, согласно которому концепт относится к смыслу как его интерпретатор и как продукт его герменевтической обработки. Такое понимание соотношения концепта и смысла находит поддержку в теории концептуализации и категоризации мира, в процессе которых происходит классификация, подведение под те или иные категории осмысленной информации. Смыслы как минимальные единицы человеческого опыта структурируются в те или иные концептуальные модели (концепты, гештальты, фреймы и т.п.), а те, в свою очередь, на основании имеющихся в их составе общих смыслов объединяются в категории. В рамках концепта смыслы постоянно уточняются и модифицируются, приводятся в соответствие с вновь получаемой информацией. Именно поэтому концепты служат оперативными единицами нашего сознания.

В любом случае концепт выступает речемыслительным посредником между языком и внеязыковым миром. И в этом своем статусе концепт не обязательно оказывается культурно маркированным образованием.

5.5. Значение и поэтический смысл «живого» слова

Сознание и языковое сознание. Актуальность поставленной проблемы обуславливается главным образом недоступностью сознания как объекта лингвистического поиска. Видимо, поэтому в конце XIX века Т. Гексли была высказана мысль о том, что природа сознания в принципе научному исследованию не подлежит. Ту же позицию, хотя и не столь радикально, занимал и В. Вундт, полагавший, что научному осмыслению доступны только *отдельные* проявления сознания. В целом же считалось, что сущность сознания непостижима, хотя и не отрицалось, что субъективность сознания все же объективируется в таком нейрофизиологическом феномене, как переживание. Неудивительно, что на таком достаточно негативном для научного познания фоне понимание языкового сознания поэта остается в лингвокогнитивистике не только спорным, но и откровенно противоречивым. В целях постижения сущности сознания языковой личности все многообразие существующих концепций можно свести к нескольким точкам зрения.

1. Пожалуй, наиболее древней в этом отношении и наиболее доступной для лингвиста является картезианская традиция, согласно которой сознание отождествляется со знанием. Не мудрствуя лукаво, сторонники этой теории утверждают: всё, что мы знаем, — это сознание, и все что мы осознаем, — знание. Если переведем данную философию в плоскость когнитивно-семантической стилистики, получим постулат: все, что составляет содержание семантического континуума поэтического текста, является со-знанием всех членов того или иного этноязыкового сообщества, в том числе и языкового сознания поэта и читателя как особых типов языковой личности. И наоборот: вся информация, которую мы извлекаем из семантической структуры поэтического текста, всё, что мы осознаем через язык произведения, оказывается знанием. Однако современная лингвистическая поэтика, как известно, располагает неоспоримыми фактами существования имплицитного, неявного, знания, извлекаемого человеком из соответствующего дискурсивного пространства, т.е. благодаря так называемой *подтекстовой информации*. В таком случае языковое сознание несводимо к знанию. Подтекстовые сведения — это не только то, что в данный момент можно извлечь

из поэтического текста, но и то, о чем в данный момент не думают, о чем непосредственно поэтический текст не информирует. Это значит, что подтекстовые сведения напрямую не осознаются, но их легко можно сделать достоянием читательского сознания. Это и знание, которым «я» (как языковая личность) хотя и располагаю и даже пользуюсь в речевой деятельности, всё же остается для осознания проблемным, если вообще может быть осознанным (Бог, истина, любовь и т.п.).

Я завет Твой, Господи, исполнила
И на зов Твой радостно ответила,
На Твоей земле я все запомнила,
И любимого нигде не встретила.

А. Ахматова

Вот почему словосочетание *языковое сознание* используется в нашей науке неоднозначно и даже несколько хаотично. На наш взгляд, целесообразно различать **исследовательскую ценность** данного понятия и его **сущностную характеристику**. В русле первого аспекта, если следовать за Е.Ф. Тарасовым, «языковое сознание» а) как инструмент когнитивного анализа репрезентируемых поэтическими знаками знаний служит б) для анализа образов языкового сознания, ассоциированных с этими знаками и поэтому вовлекаемых в производство и восприятие поэтической речи. С точки зрения сущности «сознания языковой личности» поэта оно близко к тому пониманию, которое А.А. Леонтьев в современной отечественной психологии вкладывает в понятие «образ мира», разумеется, при условии, что язык рассматривается как система значений, способных выступать в предметной и вербальной форме.

2. Согласно второй точке зрения категориальным признаком сознания служит не знание, а **интенциональность** — направленность на определенный предмет, объект. Считается, что таким признаком обладают все виды сознания: не только восприятия и мысли, но и представления, эмоции, желания, намерения, волевые импульсы. Причем сознание может быть интенциональным во всем: относительно физических и идеальных предметов (чисел, значений и т.п.) и даже рефлексивно — на разные состояния самого сознания. Ср.: Ты

*одна разрыть умеешь, / То, что так погребено, / Ты томишься, сто-
нешь, млеешь, / А потом похолодеешь / И лежишь в око* (А. Ахматова.
Музыка). Как видим, понятие интенциональности не в состоянии
объяснить многие невидимые стороны языкового сознания, напри-
мер «стилистическое настроение», пресуппозиции и т.п.

3. Если сознание отождествлять с вниманием, в нем прежде все-
го эксплицируется свойство **фильтровать** информацию, перераба-
тываемую в процессе поэтического мышления. Эта позиция особен-
но популярна у некоторых представителей когнитивистики. Между
тем ряд фактов проявления сознания языковой личности поэта в
текстах их произведений не поддается объяснению и с этой точки
зрения. Следует учитывать также, что языковому сознанию поэта
далеко не безразлична и та информация, которая воспринимаемая
субъектом без особого внимания, но, тем не менее, в той или иной
мере осознается им и *влияет* на понимание. Ведь «*Поэт не чело-
век, он только дух — / Будь слеп он, как Гомер, / Иль, как Бетховен,
глух, — / Все видит, слышит, всем владеет...*» (А. Ахматова).

4. Пожалуй, наиболее обоснованной следует считать концеп-
цию, согласно которой языковое сознание отождествляется с ис-
толкованием его как некоего самосознания, самоотчета поэта о
собственных действиях. Языковое сознание в такой интерпрета-
ции выступает специфической реальностью, своего рода особым
внутренним миром, данным языковой личности непосредственно,
познаваемым интроспективно. Согласно уже упомянутой карте-
зианской философии самосознание — единственно достоверное,
несомненное знание, которое в силу этого является когнитивным
субстратом всей системы языковых знаний. Однако и этот подход
связан с известными противоречиями и вопросами, остающимися
пока без вразумительного ответа. Кто является воспринимающим
субъектом в случае интроспекции? Где он «находится»? Насколько
безошибочно самосознание, если само познание предполагает воз-
можность заблуждения?

5. В конце XX — начале XXI века некоторые ученые пытаются
решить проблемы сознания в связи с созданием искусственно-
го интеллекта (Д. Деннет). Критики концепции Деннета полагают,
что если отбросить компьютерные аналогии, в ней обнаружится

старый бихевиоризм. Деннет и его сторонники, по сути, отрицают существование сознания, что противоречит основным концепциям когнитивной поэтики. Для нас важнее акцентировать внимание на составляющих сознание языковой личности поэта, в центре которых находятся такие его свойства, как 1) целостность; 2) интенциональность; 3) субъективность; 4) структурированность; 5) различение «центра» и «периферии»; 6) настроение; 7) темпоральность и 8) социальность (ср.: Серл Дж., 2002: 29). Все эти компоненты можно найти у Анны Ахматовой: *Я бросила тысячи звонниц / В мою ледяную Неву, / И я королевой бессонниц / С той ночи повсюду слышу*. Каждая из этих характеристик сознания языковой личности связана с основополагающими категориями когнитивной семантики — *значением* и *смыслом* поэтических знаков.

Языковое сознание и семантика языка. Сознание языковой личности, представляя субъективный образ мира, реализуется в семантике поэтического знака. По Л.С. Выготскому, «сознание отражает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово относится к сознанию, как малый мир к большому, как живая клетка к организму, как атом к космосу. Оно и есть малый мир сознания. Осмысленное слово есть микрокосм человеческого сознания». Более того, «мысль не воплощается, а совершается в слове» (Выготский, 1982: 361). Поэтому становится понятным, почему рассмотрение проблемы сознания языковой личности невозможно без анализа одной из его главных составляющих — слова. По А.А. Леонтьеву, значение существует для субъекта в двойственном виде: с одной стороны, это объект сознания, с другой — способ и механизм осознания... Они (значения) входят в систему общественного сознания, являются социальными явлениями (и в этом качестве прежде всего изучаются лингвистикой); но одновременно они входят в систему личности и деятельности конкретных субъектов, являются частью индивидуального сознания (и в этом качестве изучаются психологией)» (Леонтьев, 1983: 8–9). Значению в поэтической речи противостоит личностный смысл как мотивированное отношение к обозначаемому. Такое противопоставление, а точнее, разграничение понятий «значение» и «смысл» было впервые введено Л.С. Выготским и сегодня является основой когнитивной поэтики (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А. А. Юм и др.).

Если под значением слова принято понимать объективно сложившуюся систему связей, одинаковую для всех носителей языка, то под смыслом — индивидуальное значение поэтического слова, выхваченное из этой устоявшейся системы связей. Вместо них в поэтическом тексте оно состоит из тех связей, которые имеют отношение к данной ситуации. Поэтому поэтический смысл — результат привнесения в слово коннотаций, соответствующих конкретному ощущению, восприятию и пониманию обозначаемого предмета. Одно и то же поэтическое слово имеет два значения: а) сформировавшееся в этноязыковом сознании исторически и б) которое потенциально сохраняется (возможно, в разном объеме и ракурсе у поэта и читателя), отражая с различной полнотой и глубиной «возможные миры».

Наряду со значением каждое поэтическое слово приобретает смысл, актуализирующий в этом значении те стороны, которые связаны с данной ситуацией и аффективным отношением к ней поэта: *Больничные молитвенные дни / И где-то близко за стеною — море / Серебряное — страшное, как смерть* (А. Ахматова. 1 декабря 1961. Больница). Однако понятие смысла поэтического слова, как нам представляется, не может быть сведено к различию потенциального (денотативного) и актуального (коннотативного) значений. Смысл поэтического слова возникает в процессе речемыслительной деятельности поэта и читателя в конкретный отрезок времени и в конкретной дискурсивной ситуации: различные типы контекстов и дискурсивная ситуация — условия обнаружения нужного смысла поэтического слова. Обычное слово в «ассоциативно-семантической сети» (см.: Болотнова Н.С., 2006: 451) поэтического дискурса обогащается особыми экспрессивно-смысловыми свойствами.

Высказанные здесь суждения позволяют определить категориальные свойства понятия «языковое сознание поэта». Прежде всего его нельзя ни сводить к совокупности речевых умений поэта и его знания языка, ни к отрицанию их взаимосвязи. «Языковое сознание поэта», скорее, сближается с пониманием «образа мира». Поэтому языковое сознание поэта является сложным феноменом. Во-первых, это вербальное средство формирования, хранения и переработки информации, получаемой поэтом извне. Во-вторых, это структура, кодирующая полученную информацию языковыми знаками

косвенно-производной номинации вместе с выражаемыми ими переживаниями, субъективными значениями (смыслами), правилами их сочетания и употребления. Всё это выражает отношение автора поэтического текста к действительности, своеобразие его мировосприятия и эстетические установки на речное творчество. Языковое сознание поэта ни онтологически, ни функционально не может быть замкнутой структурой. Оно связано с языковыми сознаниями читателей. Если рассуждать психосемантическими категориями, то языковое сознание функционирует благодаря общей нейронной сети. С этой точки зрения языковое сознание — явление кооперативное. Однако поэт как личность творческая обладает еще и уникальным сверхсознанием — творческой интуицией, или вдохновением, благодаря которому сигнал извне может вызывать взрывоподобный эффект цепных реакций и соединять вход нейронной сети буквально со всей информацией, уже хранящейся в мозге. Причем сверхсознание не контролируется сознанием. Сознание лишь осуществляет окончательный отбор и категоризацию вновь полученной информации, которая может использоваться им на уровне подсознания — набора программ поведения, усвоенных в процессе культурной социализации. Здесь они окончательно усваиваются, автоматизируются и становятся навыками. При наличии связи между нейронными сетями, находящимися в критическом состоянии, появляется возможность передавать информацию из любой части нейронной сети. Таким механизмом является прежде всего естественный язык.

Итак, когнитивно-синергетическая энергия поэтического текста исходит от двуединого лингвокреативного процесса — его порождения и восприятия. Данное утверждение основывается на том, что, во-первых, в их основе лежит единый универсальный механизм текстовой деятельности; во-вторых, своеобразие поэтического мышления, изначально определяясь особым восприятием объекта действительности, затем испытывает потребность в его ассоциативно-образном выражении, типичным средством которого, как известно, служит поэтический текст. Вне образного восприятия мира и моделирования поэтической картины мира невозможно порождение поэтического текста — живой формы существования языковой личности поэта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволяет сформулировать две важнейшие для когнитивно-семиологической теории «живого» слова закономерности:

1) формы репрезентации действительности (образно-пространственные, вербальные, семантические и т.д.) обуславливаются главным образом *типом дискурсивного мышления*;

2) между ними отсутствует строгая когнитивно-семиологическая детерминация, обеспечивающая практически неограниченные возможности наносмысловому взаимодействию языка, познания и культуры.

Выявленные закономерности опровергают ранее доминировавшее положение о *линейной, последовательной* обработке информации. Это, в свою очередь, обусловило поиск *синергетических* (нелинейных) способов обработки информации. Для достижения этой цели в когнитивно-семиологической адаптации нуждаются такие понятия, как «когнитивная карта», «схема», «фрейм». Они вполне соотносимы с идеями семиологии, поскольку ориентированы на функциональную связь системы со средой — содержат указание на решающую роль «рамки», «контекста», «значения» в когнитивной активности лингвокреативного мышления. В некотором роде появление этих понятий перекликается с учением А.А. Потебни о механизме апперцепции (само понятие обосновано немецким психологом И.Ф. Гербартом), лежащим в основе перекодирования предметно-чувственной информации в семантическую структуру слова. Ученый доказывал, что в процессе вербализации мысли полученное впечатление подвергается новым изменениям, т.е. воспринимается вторично. И это восприятие нелинейно.

Именно вторичное восприятие мира, закодированное в слове, А.А. Потебня называл апперцепцией. Ее результаты составляют когнитивную базу языкового значения. Подобные суждения высказываются и в современной когнитивной науке. Всё познаваемое нами воспринимается в определенном смысловом поле лексического значения, подвергается своего рода «априорному означиванию». Восприятие мира, как правило, осуществляется в рамках некоторой ранее созданной схемы, позволяющей обрабатывать информацию

тем или иным способом. По данным Р.Л. Солсо, в обработке информации принимают участие такие системы человеческой психики, как восприятие, распознавание образов, внимание, память, воображение, психология развития, мышление и решение задач, человеческий интеллект и искусственный интеллект и языковые функции.

Как видим, в сфере внимания когнитивной науки находится язык в особой его функции. Язык предстает здесь как система интегрирования *знаний* благодаря таким речемыслительным качествам человека, как *языковая способность, языковые умения и навыки*, что образует область сопряжения интересов когнитивной психологии и когнитивной лингвистики, в частности лингвистики дискурса. Синергетическое единство когнитивной и дискурсивной деятельности человека — сфера интересов когнитивно-семиологической субпарадигмы, интегрирующей знания о 1) *порождении речемышления* и сведения о 2) *восприятии* и 3) *понимании* языковых знаков, реперезентирующих соответствующие когнитивные структуры, под которыми понимаются содержательные формы кодирования и хранения информации (В.В. Красных).

Речевая деятельность в когнитивной лингвистике выступает одним из способов объективации деятельности когнитивной. И все же языковые структуры представляют лишь видимую часть речемыслительного процесса. Не случайно Е.С. Кубрякова для исследования когнитивных структур предложила «теорию айсберга». Психолингвисты утверждают, что основанием такого айсберга служат когнитивные способности. Они, конечно, не являются прямым предметом лингвистики (ее интересуют прежде всего *языковые способности человека*). Однако без них когнитивной семиологии не обойтись, поскольку когнитивные способности стимулируют появление способностей языковых.

В связи с этим можно понять тех ученых, которые не считают возможным рассматривать языковую семантику обособленно, вне когнитивной деятельности, памяти, внимания, общественных связей языковой личности и т.п. (Р. Лангакер, Дж. Лакофф, А. Вежбицкая, Р. Джекендофф и др.). Так, А. Вежбицкая, например, полагает, что уже по своим онтологическим свойствам означаемые языковых знаков кодируют в себе признаки и свойства номинируемой внеязыковой реальности, в том числе и культурные реалии.

Последнее обуславливается тем, что, по словам Э. Хатчинса, культура — это «протекающий внутри человеческой психики процесс познания, в котором участвуют наши повседневные культурные практики — эндопсихические и экзопсихические одновременно» (Hutchins E., 1995: 356) (ср.: греч. *endon* — внутри; *exo* — вне, снаружи). Язык же — тот канал, по которому названные внешние и внутренние практики сливаются в единое лингвокультурное образование. Языковые знаки как средство социального взаимного воздействия развивают общее для всех членов данного этнокультурного сообщества значения, становясь средством общения. Именно с возникновением знаковых лингвосистем, способных стать посредниками между внешними и внутренними сопереживаниями говорящих, принадлежащих к одному языковому сообществу, можно говорить о началах культуры, образующих со временем ценностно-смысловую доминанту любой дискурсивной деятельности.

Есть все основания в духе бахтинской концепции слова утверждать: «живое» слово превращает говорящего в заинтересованного субъекта познания, поскольку такое слово не только обозначает предмет, но и выражает то или иное отношение к предмету. Обозначенный предмет, став желательным и нежелательным, приходит в движение и воспринимается субъектами речи как некий момент *живой* событийности. В конечном итоге предмет, обозначаемый «живым» словом, приобретает дискурсивную многоликость: способность выступать в разных ипостасях — как потребность, мотив, ценность, смысл, цель или задача. Такое превращение возможно благодаря процессу интериоризации, если, конечно, под этим понимать не простое *перемещение* внешней деятельности во внутренний «план сознания», а такой процесс, в котором внутреннее содержание нашего сознания *формируется*. Его формирование состоит не столько в появлении у «живого» слова двух уровней семантики — значения и смысла, сколько в их расслоении. «Живое» слово всегда содержит прямые (первичные) и не прямые, которые в свою очередь членятся на вторичные и косвенные.

Когнитивно-семиологическая ценность такой многослойности «живого» слова определяется их востребованностью в различных областях культурной жизни данного этнокультурного сообщества. Прежде всего благодаря этой многоликости «живое» слово исполь-

зуется для координации общественного поведения — как отдельного человека, так и всего сообщества людей. В связи с чем важнейшей задачей когнитивно-семиологической теории «живого» слова следует считать выявление закономерностей, которые определяют взаимодействие составляющих семантику «живого» слова в реальных коммуникативных актах. Существенным также окажется и определение степени влияния каждого из этих семантических слоев на поведение и деятельность (практическую и речемыслительную) общающихся субъектов.

Можно считать доказанным, что уровень не прямых (вторичных и косвенно-производных) значений и смыслов «живого» слова оказывает более сильное воздействие на поведение людей, чем уровень прямых (первичных) значений и смыслов. Метафорическая природа «живого» слова, делая открытыми вторичные значения слов, позволяет выразить сразу несколько уровней содержания речевого высказывания, поскольку даёт человеку возможность говорить об одном, имея в виду нечто другое.

Метафора позволяет одновременно фиксировать и сходство и различие сопоставляемых объектов. В результате первичные и вторичные (прямые и переносные, косвенные) уровни значения и смысла языковых выражений и других знаковых систем, используемых в процессах культурной коммуникации, наслаиваются друг на друга, обеспечивая информационную избыточность семиотического пространства.

Различные типы «фундаментальных метафор» определяют отношение людей к действительности и задают способ их взаимодействия на различных этапах человеческой истории. Всякий раз, когда общество переходит на более высокий уровень интеллектуального и технологического развития, происходит и смена фундаментальных метафор. В связи с этим обсуждаются перспективные возможности появления новых вариантов фундаментальных метафор в процессе дальнейшего функционирования человечества.

Особую значимость в интерактивных процессах приобретают метафоры — когнитивные и словесные. При этом обе разновидности играют ведущую роль в формировании поэтической картины мира и прежде всего в создании коммуникативно-прагматического содержания дискурсивного пространства художественного текста.

Благодаря своей многослойности метафоры становятся одним из важнейших речемыслительных средств, позволяющих максимально явно выражать косвенное, скрытое содержание текстов, без которых не осуществляется жизнедеятельность ни одного этнокультурного сообщества. Кроме того, метафора способна создавать так называемые «возможные миры». Метафорические выражения, содержащие в себе многокачественные по своей природе элементы, способны формировать так называемый футуристический контекст. Он позволяет говорящим наглядно высветить в обитаемой концептосфере такие гипотетические объекты и свойства познаваемого, которые ещё не выявлены в реальной жизни, но приписываются ей в соответствии с креативной глубиной нашего воображения. Более того, во многих случаях именно возникновение метафорического контекста позволяет наглядным образом обнаруживать наличие скрытых возможностей восприятия объектов и характеристик всех тех событий и явлений, которые составляют содержание повседневной человеческой жизни. В обычных, стандартных, постоянно воспроизводимых ситуациях люди ориентируются на стандартные способы отношения к действительности, закреплённые в общекультурных знаковых системах. Эти общие привычные значения и смыслы воспринимаются большинством членов сообщества в качестве «прямых», регулирующих и объединяющих их коллективные усилия.

Однако ситуация становится необычной, когда традиционные, привычные способы, регулировавшие коллективную реакцию на изменения в окружающей среде, — оказываются неэффективными, недостаточными для достижения необходимого людям результата, различные индивиды могут осуществлять свою локальную поисковую деятельность, ориентируясь на значения и смыслы, ранее либо не замечавшиеся, либо оценивавшиеся обществом в качестве «вторичных». Поскольку при этом прежние традиции не сразу (и не полностью) вытесняются из поля зрения, постольку «старый» и «новый» уровни первичного значения на какое-то время совмещаются. Возникает контекст их воображаемой смысловой совместимости.

Когнитивно-дискурсивное назначение «живого» слова обусловливается тем, что в семиотическом пространстве той или иной культуры появляются и успешно функционируют различные виды метафоры, способной реализовать то, что не по силам обычному

слову: органически соединять, казалось бы, несовместимые предметы мысли, отождествлять их в условиях контекста, отражающего «возможные миры». Благодаря этим свойствам и возможностям метафоризации в наше время открываются новые формы отображения действительности и вербализации её «живым» словом. Осмысление содержания показывает ценностно-смысловые приоритеты того или иного этнокультурного сообщества, его коллективные представления о «важности», «существенности» свойств и сторон современного мира, отличающиеся от ранее объективированных в языке (просторечие, сленговая лексика, новая идиоматика и т.п.).

Такого рода динамика «живого» слова рефлексивно соответствует изменениям, происходящим как в структуре дискурсивно-семиотического пространства, так и во всей ценностно-смысловой гамме, определяющей своеобразие лингвокультуры на том или ином этапе развития данного этноязыкового сообщества.

Одновременное совмещение множества различных описаний действительности — основных и маргинальных — порождает отношения пересечения между ними. Такого рода пересечения создают особые «промежуточные» области дискурсивного пространства культуры. Именно здесь «конструируются» воображаемые предметы мысли и различные операции с ними. Однако не в этом суть. Для когнитивно-семиологической теории «живого» слова более существенно то, что в этих маргиналиях закрепляются косвенные значения и смыслы «живых» слов — знаков культуры.

Существует и обратный процесс: вторичные семантические слои «живого» слова, входя в языковое сознание человека наряду с прямыми, становятся ведущими средствами изменения, совершенствования и обогащения структуры и содержания нашего языка. При этом обращает на себя внимание следующая закономерность. *Прямой семантический сдвиг в слове увеличивает число языковых структур (слов, предложно-именных сочетаний и словосочетаний), а освоение языковым сознанием новых коннотаций приводит к интеграции уже имеющихся в семантической структуре слогов и в результате к обогащению лексико-семантической системы языка, к более гибкой смысловой модуляции речемышления.*

В связи с этим в продолжение данного исследования крайне важно выяснить скрытые внутренние механизмы взаимодействия

категорий когнитивно-дискурсивной лингвистики и лингвокультурологии. Для этого у них имеются внутренние предпосылки: с одной стороны, познание мира в определенном дискурсивном пространстве сопровождается его оценочно-смысловой интерпретацией, что порождает предмет культуры; а с другой стороны, лингвокультурология (описательно-иллюстративная дисциплина) стремится к когнитивно-дискурсивному осмыслению того, как в процессе познания действительности обычный предмет мысли превращается в факт лингвокультуры. В этом, собственно, и состоит главное отличие лингвокультурологии от общей культурологии.

Такого рода центробежные силы в перспективе потребуют когнитивно-семиологического переосмысления категорий «живого» слова, существующих в рамках каждой дисциплины, и формулировки новых, которые бы удовлетворяли процессы их интеграции — основу основ современной теории обычного «живого» слова. В этой связи вспоминается поэтическая фраза Давида Самойлова:

Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

ЛИТЕРАТУРА

Алексеевко М.А. Концепт культуры в языковом выражении // *Slowo. Tekst. Czas* IV. ' Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej. — Szczecin, 2000.

Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики. — М.: Гнозис, 2005.

Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-дискурсивные аспекты косвенной номинации (на материале восточнославянских языков) // *Slowo. Tekst. Czas* VII. Nowe Srodki nominacji jazykowej w nowej Europie. Red. prof, dr hab. Michail Aleksiejenko. — Szczecin, 2004.

Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурологическое содержание понятия «дискурс» в современной когнитивной лингвистике // *Русское слово в мировой культуре. Материалы X Конгресса МАПРЯЛ. Пленарные заседания: сб. докладов. В 2 т. Т. 1.* — СПб., 2003.

Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова: синергетика языка, сознания, культура. — М.: Academia, 2002.

Алефиренко Н.Ф. Проблемы когнитивно-семиологического исследования языка // *Слово — сознание — культура.* — М.: Флинта: Наука, 2006.

Алефиренко Н.Ф. Протовербальное порождение культурных концептов и их фразеологическая репрезентация // *Филологические науки.* — М., 2002а. №5.

Алефиренко Н.Ф. Синергетика лингвокультурологии как методологическая проблема // *Русское слово в центре Европы: сегодня и завтра.* — Братислава, 2005.

Алефиренко Н.Ф. Этноэдемический концепт и внутренняя форма языкового знака // *Вопросы когнитивной лингвистики.* — М.; Тамбов, 2004а. № 1.

Алефиренко Н.Ф. Этноязыковое кодирование смысла в зеркале культуры // *Мир русского слова.* — СПб., 2002а. № 2.

Алимурадов О.А. Смысл. Когнепт. Интенциональность. — Пятигорск: Пятигорск. гос. лингвистический ун-т, 2003.

Андерсо Д.Р. Когнитивная психология. 5-е изд. — М.; СПб.: Питер, 2002.

Апресян В.Ю. Метафора в семантическом представлении эмоций / В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. 1993. № 3.

Арутюнова Н.Д. Символика, уединения и единения в текстах Достоевского // Язык и культура. Факты и ценности. — М., 2001.

Арутюнова Н.Д. Вступительная статья // Теория метафоры. — М., 1990.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. — М.: Языки русской культуры, 1999.

Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996.

Базилев В.Н. Ментальные стереотипы // Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и функционирование. Материалы Междунар. науч. конф. — Белгород, 2005.

Балашова Л.В. Динамический аспект функционирования концептуальных метафорических полей (на материале пространственной модели системных связей и отношений) // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Балашова Л.В. Концептуальная метафора и литературные жанры // Жанры речи. Жанр и концепт: Сб. науч. ст. — Саратов: Колледж, 2005.

Балли Ш. Французская стилистика. — М., 1961.

Баранов А.Н., Караулов Ю.Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю). — М., 1991.

Бахтин М.М. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. — М., 1996.

Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники: Ежегодник. 1984—1985. — М., 1986а.

Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Литературно-критические статьи. — М., 1986.

Бельчиков Ю.А. О культурном коннотативном компоненте лексики // Язык: система и функционирование. — М., 1988.

Беляевская Е.Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах: Дис. ... д-ра филол. наук. — М., 1992.

- Бердяев Н.А.* Истина и откровение. — СПб., 1996.
- Берков В.П.* Большой словарь крылатых слов русского языка: Около 4000 единиц / В.П. Берков В.П., В.М. Мокиенко, С.Г. Шулежкова. — М.: Русские словари: Астрель: АСТ, 2000.
- Бибих В.В.* Слово и событие. — М.: Эдиториал УРСС, 2001.
- Бирдсли М.* Метафорическое сплетение // Теория метафоры. — М., 1990.
- Блэк М.* Метафора // Теория метафоры. — М., 1990.
- Богин Г.И.* Интенциональный акт как ситуация появления смысла // Язык и культура: Третья международная конференция. Доклады и тезисы докладов. — Киев, 1994.
- Болдырев Н.Н.* Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Изд. 3-е, стереотип. — Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 2002.
- Болотнова НС.* Филологический анализ текста. — Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ин-та, 2006.
- Бондарко А.В.* Теория значения в системе функциональной грамматики. — М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Буянова Л.Ю., Коваленко Е.Г.* Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой концептуализации сферы моральных качеств личности. — Краснодар, 2004.
- Быдина И.В.* Коммуникативно-прагматический подход к структурированию поэтического текста // Вестник Томского государственного педагогического университета. Серия: Гуманитарные науки (Филология). Томск, 2005. Вып. 3.
- Вайнштейн О.Б.* Язык романтической мысли. — М., 1994.
- Вардзелашвили Ж.* Наносмыслы лексических структур // Русское слово. — СПб., 2003. Т. 1.
- Васильев И.А.* Взаимодействие человека со сложной динамической системой // Первая российская конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов. — Казань, 2004.
- Василук Ф.Е.* Психология переживания. — М., 1984.
- Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов. — М.: Языки славянской культуры, 2001.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. — М.: Русские словари, 1996.

Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. Т. 2. — М.: Смысл: Академия, 2006.

Веселовский А. Н. Историческая поэтика. — Л., 1940.

Виноградов В.А. Иерархия категорий в грамматической типологии // Proc. Of the Fourteenth Intern. Congr. Of linguists. — Berlin, 1991.

Воркачев С.Г. Концепт «счастья»: понятийный и образный компоненты // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2001. Т. 60.

Воронкова О.А. Внутренняя форма как когнитивное основание формирования фразеологического значения // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Серия 3. Филология. — Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2007. С. 46–52.

Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1982. Т. 2.

Гак В.Г. Метафора: универсальное и специфическое // Метафора в языке и тексте. — М.: Наука, 1988.

Гак В.Г. Национально-культурная специфика меронимических фразеологизмов // Фразеология в контексте культуры. — М.: Наука, 1999.

Гак В.Г. Русская динамическая картина мира // Русский язык сегодня. Вып. 1: Сб. статей. — М.: Азбуковник, 2000.

Гашева Л.П. Фразеологизмы процесса и признака как компоненты искусствоведческих текстов / Л.П. Гашева, Т.Е. Помыкалова // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Гегель. Сочинения. — М., 1956. Т. 3.

Гетманова А.Д. Логика. — М., 1995.

Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. — М., 1990.

Гончарова Е.А. Еще раз о стиле как научном объекте современного языкознания // Текст — Дискурс — Стил: Сб. науч. ст. — СПб., 2003.

Гончарова Н.Ю. К проблеме языкового представления знания фактов // Когнитивная лингвистика. Ч. 1. — Тамбов, 1998.

Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 24. — М.: Прогресс, 1989.

Греймас А.-Ж. Структурная семантика: поиск метода. — М.: Академ. проект, 2004.

Гринёв-Гриневич С.В. Основы антрополингвистики / С.В. Гринёв-Гриневич, Э.А. Сорокина, Т.Г. Скопюк. — М.: Компания Спутник, 2005.

Гумбольдт В. Язык и философия культуры. — М., 1985.

Гурочкина А.Г. Этнокультура и языковое сознание // Филология и культура: Материалы III Междунар. науч. конф. Ч. 3. — Тамбов, 2001.

Гусев С.С. Наука и метафора. — Л., 1984.

Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. — М.: Прогресс, 1989.

Декатова К.И. Парадоксы мышления и их отражение в семантике языковых единиц // Культурные концепты в языке и тексте: Сб. науч. трудов. — Белгород: Изд-во Белгород. гос. ун-та, 2005.

Дементьев В.В. Коммуникативные концепты: к вопросу о коммуникативном идеале русской культуры // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. — М.: Гнозис, 2006.

Демьянков В.З. «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. — 1983. № 4.

Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии // Вопросы языкознания 1997. № 6.

Дымарский М.Я. Проблемы текстообразования и художественный текст (на материале русской прозы XIX—XX вв.). 2-е изд., испр. и доп. — М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры. — М., 1990.

Жинкин П.И. Речь как проводник информации. — М.: Наука, 1982.

Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. — М.: Высш. школа, 1978.

Залевская А.А. Национально-культурная специфика картины мира и различные подходы к ее исследованию // Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. — М., 2000.

Залевская А.А. Проблемы описания значения. — М., 1998.

Звегинцев В.А. Язык и лингвистическая теория. — М.: Эдиториал УРСС, 2001.

Зинченко В.П. Психологическая педагогика. Ч. 1. Живое слово. 2-е изд. — Самара, 1998.

Зинченко Т.П. Память в экспериментальной и когнитивной психологии. — СПб.: Питер, 2002.

Золотых Л.Г. Фразеологическая семантика и символ // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Иванова С.В. Лингвокультурология и лингвокогнитология: Сопряжение парадигм: Учеб. пособие. — Уфа: Изд-во БашГУ, 2004.

Илюхина Н.А. Образ как объект и модель семасиологического анализа: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — Уфа, 1999.

Казари Р. Река Волга как геокультурная панорама // Colloquium: Междунар. сб. науч. ст. — Белгород: Бергамо, 2005.

Калинина М.А. К вопросу о заимствовании концептов русской лингвокультурой // Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и функционирование. — Белгород, 2005.

Камелова С.И. О механизме формирования переносных значений // Облик слова. — М., 1997.

Карасик В.И. Лингвокультурологический концепт как единица исследования / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. — Воронеж, 2001.

Карасик В.И. Определение и типология концептов // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов / Сост. Л.Г. Золотых. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Караулов Ю.Н. Показатели национального менталитета в ассоциативно-вербальной сети // Языковое сознание и образ мира: Сб. статей. — М., 2000.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. — М.: Наука, 1987.

Караулов Ю.Н. Способы существования элементарных единиц знания в обыденном языковом сознании // Язык и действительность: Сб. науч. тр. памяти В.Г. Гака. — М.: ЛЕНАНД, 2007.

Касьянова Л.Ю. Лингвокогнитивные механизмы неологизации // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов / Сост. Л.Г. Золотых. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из научного наследия. — М.: Языки славянской культуры, 2001.

Кириллова Н.Н. Фразеология и прагматика // Studia linguistica. XIII. Когнитивные и коммуникативные функции языка: Сб. статей. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.

Киященко П.Л. В поисках исчезающей предметности: (Очерки о синергетике языка). — М.: РАН. Ин-т философии, 2000.

Клюков В.Т. Основные направления лингвокультурологических исследований в рамках семиотического подхода // Теоретическая и прикладная лингвистика. Вып. 2. — Воронеж, 2000.

Ковалева Л.В. Фразеологизация как когнитивный процесс. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2004.

Колесов В.В. Философия русского слова. — СПб.: ЮНА, 2002.

Колесов В.В. Язык и ментальность. — СПб.: Петербургское востоковедение, 2004.

Колианский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке. — М.: Наука, 1990.

Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. — М., 1976.

Контримович А.А. Концептуальная метафора как средство формирования концепта *punishment* // Лингвистические парадигмы и лингводидактика: Материалы Международной научно-практической конференции (Иркутск, 14–18 июня 2005 г.). Ч. 1. — Иркутск, 2005.

Корнеев Ю.А. О становлении когнитивной лингвистики как самостоятельной научной дисциплины // Русское слово в мировой культуре. — СПб., 2003. Т. 1.

Костомаров В.Г. Логоэпистема как категория лингвокультурорлогического поиска / В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова // Лингводидактический поиск на рубеже веков. — М., 2000.

Коул М. Культурно-историческая психология: наука будущего. — М.: Кигито-Центр, 1997.

Кошарная С.А. О процедуре концептуального анализа // Colloquium: Междунар. сб. науч. ст. — Белгород; Бергамо, 2005.

Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой категоризации. — Иркутск, 1999.

Кравченко А.В. Знак, значение, знание: Очерк когнитивной философии языка. — Иркутск, 2001.

Кравченко А.В. Место концепта в соотношении языка, сознания и мышления // Жанры речи. Вып. 4. Жанр и концепт: Сб. науч. ст. — Саратов, 2005.

Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. — М.: Гнозис, 2001.

КС — Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса: Пер. с фр. и португ. / Общ. ред. и вступ. ст. П. Серию: предисл. Ю.С. Степанова. — М.: Прогресс, 1999.

КСКТ — Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е.С. Кубряковой. — М., 1996.

Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. обзоров / РАН. ИНИОН. — М., 2000.

Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. — М.: Наука, 2004.

Кубрякова Е.С. О реализации значений слова в дискурсе // Язык и действительность: сб. науч. тр. памяти В.Г. Гака. М.: ЛЕНАНД, 2007.

Кузнецов В.Ю. Философия языка и непрямая референция // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. ред. Е.С. Кубрякова, Т.Е. Янко. — М.: Языки славянской культуры, 2001.

Куманок О.В. Поэтическое сознание как лингвокогнитивная проблема // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Серия 3. Филология. — Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2007. С. 53–58.

КФЭ — Краткая философская энциклопедия. — М., 1994.

Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение. — М.: Языки славянской культуры, 2003.

Лакофф Д. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон // Теория метафоры. — М.: Прогресс, 1990.

Лакофф Дж. Когнитивная семантика // Язык и интеллект. — М., 1996.

Леонтьев А.А. Деятельный ум. — М.: Смысл, 2001.

Леонтьев А.А. Формы существования значения // Психолингвистические проблемы семантики. — М., 1983.

Леонтьев Д.А. Психология смысла. — М., 1999.

Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

Лотман ЮМ. Семиосфера. — СПб.: Искусство-СПб., 2000.

Лурия А.Р. Язык и сознание. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979.

ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1990.

Макаров М.Л. Основы теории дискурса. — М.: Гнозис, 2003.

МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры. — М., 1990.

Манаенко Г.Н. Онтология мира дискурса (К проблеме соотношения сознания и идеального) // Язык. Текст: Межвузовский научный альманах. Вып. 2. — Ставрополь; Пятигорск, 2004.

Манаенко С.А. Дискурсивное употребление лексических единиц и параметры их функционирования // Язык. Текст. Дискурс: Межвуз. науч. альманах. Вып. 3. — Ставрополь; Пятигорск, 2005.

Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. — Киев: Знания, 2004.

Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. — М., 1990.

Мелерович А.М. Факторы, мотивирующие смысловое содержание фразеологических единиц в тексте / А.М. Мелерович,

В.М. Мокиенко // Культурные концепты в языке и тексте: Сб. науч. трудов. — Белгород: Изд-во Белгород. гос. ун-та, 2005.

Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. — М.: Академия, 2004.

Милевская Т.В. Связанность как категория дискурса и текста (когнитивно-функциональный и коммуникативно-прагматический аспекты): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — Ростов н/Д, 2003.

Миллер Дж. Образы и модели, уподобления и метафоры // Теория метафоры. — М., 1990.

Михайлова И. Б. Чувственное отражение в современном сознании. — М.: Наука, 1972.

Мокиенко В. М. Образы русской речи. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986.

Мокиенко В.М. В глубь поговорки. — Киев: Высш. школа, 1989.

Москальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс. — М.: Эдиториал УРСС, 2003.

Мягкова Е.Ю. Проблемы исследования метафоры // Языковое сознание: формирование и функционирование: Сб. ст. / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. — М., 2000.

Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. — СПб., 1996.

Никитина Т.Г. Так говорит молодёжь: Словарь сленга. — СПб.: Фолио-Пресс, 1998.

Никифорова Е.Б. Развитие смыслового содержания концепта как источник обогащения коннотативного содержания слова // Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и функционирование. — Белгород, 2005.

Новиков А.И. Смысл как особый способ членения мира в сознании // Языковое сознание и образ мира: Сб. статей. — М., 2000.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII (Когнитивные аспекты языка). — М.: Прогресс, 1988.

Овишева Н.Л. Когнитивная природа восприятия речи // Когнитивная лингвистика. Ч. 1. — Тамбов, 1998.

Огнева Е.А. Кинемы в культурологической составляющей концепта // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. — 2006. Т. 12.

Опарина Е.О. Концептуальная метафора // Метафора в языке и тексте. — М., 1988.

Павлов А.А. Иерархическая концептуальная модель (на материале критерия этнокультурной маркированности) // Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и функционирование: Материалы Междунар. науч. конф. — Белгород, 2005.

Павлов И.П. Полн. собр. соч. — М., 1951. Т. 3. Кн. 2.

Парандовский Я. Алхимия слова. — М., 1972.

Парахонский Б.А. Стиль мышления: Философские аспекты анализа стиля в сфере языка, культуры и познания. — Киев: Наук. думка, 1982.

Пауль Г. Принципы истории языка. — М., 1960.

Петренко В.Ф. Основы психосемантики. 2-е изд., доп. — СПб.: Питер, 2005.

Петрикова-Климчукова А. Духовное пространство православного мира как культурологический источник русского языка (сравнительный русско-словацкий ракурс) // Jazykove formy pravdy, omylu a lzi v rusko-slovenskych jazykovych kulturologickych porovnavaniach. Editor PhDr. Eubomir Guzi. — Presov: Presovska univerzita v Presove, 2005.

Петров В.В. Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы. Вопросы языкознания. 1988. № 2.

Пинкер С. Язык как инстинкт: Пер. с англ. Е.В. Кайдаловой / Общ. ред. В.Д. Мазо. — М.: Едиториал УРСС, 2004.

Пухтовникова Л.С. Синергія стилю байки. —Харків: Бізнес інформ,1999.

Пухтовникова Л.С. Языковые фильтры: неравновесные состояния и развитие языка // Нова філологія. Запоріжжя. 2002. № 1.

Плотникова Л.И. Авторские новообразования как репрезентанты индивидуальных концептов // Культурные концепты в языке и тексте: Сб. науч. трудов. — Белгород: Изд-во Белгород, ун-та, 2005.

Полонский А.В. «Ты»: частеречная объективация концепта // Современная филология в международном пространстве языка и культуры. — Астрахань, 2004.

Полонский А.В. Эпитет, или Оживляющий слово / А.В. Полонский, В.Г. Глушкова // *Colloquium: Междунар. сб. науч. ст.* — Белгород; Бергамо, 2005.

Попова З.Д. Когнитивные пропозиции и семантика языка // *Язык и национальное сознание. Вып. 2.* — Воронеж, 1999.

Попова З.Д. Метафора и метонимия в семантике глагола // *Когнитивная семантика: материалы второй международной школы-семинара. Ч. 2.* — Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000.

Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин. — Воронеж, 2001.

Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // *Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира.* — М.: Наука, 1988.

Потебня А.А. Собрание трудов. Мысль и язык. — М.: Лабиринт, 1999.

Прохоров В.Ф. Принципы синергетики в языкознании // *Colloquium: Междунар. сб. науч. ст.* — Белгород; Бергамо, 2005.

Прохорова О.Н. Потенциал когнитивных методик исследования концепта // *Colloquium: Междунар. сб. науч. ст.* — Белгород; Бергамо, 2005.

Пульчинелли О.Э. К вопросу о методе и объекте анализа дискурса // *Квадратура смысла: Пер. с фр. и порт.* — М.: Прогресс, 1999.

Ракитина С.В. Научный текст: Когнитивно-дискурсивные аспекты. — Волгоград: Перемена, 2006.

Ратникова И.Э. Имена собственные как «смыслы в масках»: степени образности // *Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов / Сост. Л.Г. Золотых.* — М.: Флинта: Наука, 2006.

Рахилина Е.В. Основные идеи когнитивной семантики // *Совр. американская лингвистика: Фундаментальные исследования.* — М.: Едиториал УРСС, 2002.

Ревзина О.Г. Язык и дискурс // *Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология.* 1999. № 1.

Ризель Э.Г. Полярные стилевые черты и их языковое воплощение // *Иностр. языки в школе.* 1961. № 3.

Рикер П. Метафорический процесс как познание, воображение и ощущение // Теория метафоры. — М., 1990.

Ричарде А. Философия риторики // Теория метафоры. — М., 1990.

Робен Р. Анализ дискурса на стыке лингвистики и гуманитарных наук: вечное недоразумение // Квадратура смысла: Пер. с фр. и порт. — М.: Прогресс, 1999.

Розенталь Д.Э. и др. Словарь-справочник лингвистических терминов. — М.: Просвещение, 1985.

Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге. Глагол. — М.: Азбуковник, 2005.

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира: Сб. статей / Отв. ред. Б.А. Серебрянников. — М.: Наука, 1988.

Рубинштейн С.Л. К психологии речи // Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та. — Л., 1941. Т. 35.

Руденко Д.И. Когнитивная наука, лингвофилософские парадигмы и границы культуры // Вопр. языкознания. 1992. № 6.

Савенкова Л.Б. Концепт в семантической структуре пословиц // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Саморукова И.В. О понятии «дискурс» в теории художественного высказывания // Вестник Самарского гос. ун-та. Серия «Литературоведение». — Самара. 2001. № 1.

Сандакова М.В. Метонимия прилагательного в русском языке. — Киров: Старая Вятка, 2004.

Седов К.Ф. Становление дискурсивного мышления языковой личности. — Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1999.

Седых А.П. Языковая картина мира и национальная концептосфера // Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и функционирование: Материалы Международной научной конференции. — Белгород, 2005.

Селиверстова О.Н. Когнитивная семантика на фоне общего развития лингвистической науки // Вопр. языкознания. 2002. № 6.

Семейн Л.Ю. Когнитивные аспекты лингвокультурологии / Л.Ю. Семейн, И.А. Тарасова. — Омск, 2005.

Семенов Н.Н. Русская пословица: функции, семантика, системность / Н.Н. Семенов, Г.М. Шипицина. — Белгород: Изд-во Белгород. гос. ун-та, 2005.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. — М.: Прогресс, 1993.

Серебрянников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. — М.: Наука, 1988.

Серио П. В поисках четвертой парадигмы // Философия языка: в границах и вне границ. — Харьков: Око, 1993.

Серио П. Как читают тексты во Франции // Квадратура смысла: Пер. с фр. и порт. — М.: Прогресс, 1999.

Сёрль Д.Р. Что такое речевой акт? // Философия языка: Пер. с англ. — М.: Удиторнал УРСС, 2004.

Сёрль Дж. Метафора // Теория метафоры. — М., 1990.

Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты. — Волгоград: Перемена, 2004.

Соловьева Н.В. Особенности трактовки термина «предметное значение» в современной науке // Психолингвистические проблемы семантики и понимания текста. — Калинин, 1986.

Солсо Р.Л. Когнитивная психология: Пер. с англ. — М.: Тривола, 1996.

Соссюр де Ф. Труды по языкознанию. — М.: Прогресс, 1977.

Степанов Ю.С. Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия / Ю.С. Степанов, С.Г. Проскурин. — М., 1993.

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. — М., 1997.

Степанов Ю.С. Между системой и текстом: выражения фактов // Язык — система. Язык — текст. Язык — способность. — М., 1995.

Степанов Ю.С. Семиологический принцип описания языка // Принципы описания языков мира. — М.: Наука, 1976.

Стернин И.А. Лексическое значение слова в речи. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985.

Стефаненко Т. Этнопсихология. — М.: ИП РАН; Екатеринбург, 2000.

Сулейменова Э.Д. Понятие смысла в современной лингвистике. — Алма-Ата: Мектеп, 1989.

Сусов И.П. Деятельность, сознание, дискурс и языковая система // Языковое общение: Процессы и единицы. — Калинин, 1988.

Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение — новая онтология анализа языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания: Сб. статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. — М., 1996.

Телия В.Н. Русская фразеология. — М.: Языки русской культуры, 1996.

Токарев Г.В. Дискурсивные лики концепта. — Тула, 2004.

Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области славянской мифологии и этнолингвистики. — М., 1995.

Топорова В.М. Концептуальные параметры семантической абстракции // Вопросы когнитивной лингвистики. — М.; Тамбов, 2004.

Топорова Т.В. Семантическая структура древнегерманской модели мира. — М.: Радикс, 1994.

Трахова А.Ш. Фразеологическая концептуализация морально-нравственной сферы личности и народа: мифолого-религиозные и этнокультурные основания (на материале русского и адыгейского языков). — Краснодар: Изд-во КубГУ, 2006.

Турапина Н.А. Образная языковая картина мира и метафора // Слово и текст: Сб. науч. статей. — Белгород, 2002.

Ужченко В.Д. Східноукраїнська фразеологія. — Луганськ: Альма-матер, 2003.

Уилрайт Ф. Метафора и реальность // Теория метафоры. — М., 1990.

Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принципы семиологического описания лексики. — М.: Наука, 1986.

Уфимцева Н.В. Слово и культура // Когнитивная семантика: Материалы II Междунар. школы-семинара. В 2 ч. Ч. I. — Тамбов, 2000.

Ушакова Т.Н. Языковое сознание и принципы его исследования // Языковое сознание и образ мира: Сб. статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. — М., 2000.

Фесенко Т.А. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода. — Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2002.

Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. — М., 1990. Т. 2.

Фокина М.А. Фразеология в русской повествовательной прозе XIX—XX веков. — Кострома: Изд-во Костр. ун-та, 2007.

Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996.

Фуре Л.А. Характеристика концепта «побуждение к действию» // Язык как функциональная система: Сб. ст. к юбилею проф. Н.А. Кобриной. — Тамбов, 2001.

ФЭ — Философская энциклопедия, 1962. Т. 2.

Харченко В.К. Функции метафоры. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1992.

Худяков А.А. Опыт терминологического анализа // Филология и культура. Ч. 2. — Тамбов, 2001.

Чейф У.Л. Значение и структура языка. — М., 1975.

Чернова С.В. Об одном секрете писательского мастерства // Русский человек на изломе эпох в отечественной литературе. — Киров, 2007.

Чуковский К. Высокое искусство. — М., 1961.

Чумак-Жунь И.И. Концептуальное пространство интертекста // Культурные концепты в языке и тексте: Сб. науч. трудов. — Белгород: Изд-во Белгород. ун-та, 2005.

Шабес В.Я. Речь и знание. — СПб., 1990.

Шабес В.Я. Событие и текст. — М., 1989.

Шаклеин В.М. Историческая динамика концептосферы русского языка // Гуманитарные исследования. — Астрахань, 2004. № 3.

Шаклеин В.М. Концептуализация словесного образа (на материале произведений А.П. Чехова) // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Шахнарович А.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики (на материале онтогенеза речи) / А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. — М: Наука, 1990.

Шаховский В.И. Словная идиоматика как межкультурный феномен // Изв. Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: Филологическая. 2002. № 1.

Шевченко И.С. Анализ дискурса и жанристика // Единство системного и функционального анализа языковых единиц: В 2 ч. — Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. Вып. 9. Ч. 1.

Шестак Л.А. Общая когнитивная теория образности (мышление — язык — социум — культура) // Слово — сознание — культура: Сб. науч. трудов. — М.: Флинта: Наука, 2006.

Шмелев А.Г. Введение в экспериментальную психосемантику / А.Г. Шмелев. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983.

Шпет Г.Г. Философские этюды. — М., 1994.

Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольта. Изд. 2-е, стереотип. — М.: Едиториал УРСС, 2003.

Штоф В.А. Введение в семантику. — М., 1963.

Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. — СПб: Петрополис, 1998.

Юрина Е.А. Лексическая образность по данным психолингвистических экспериментов // Вестник Томск. гос. ун-та: Бюллетень оперативной науч. информации. Томск, 2004. № 38.

Янковский С. Концепции общей теории информации. www.citforum.ru.

Яценко Е.Ю. Культурологические механизмы адаптации концепта к лексической системе языка // Реальность, язык и сознание: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 1. — Тамбов, 1999.

Althusser L. Lire le Capital. I. — Paris: PetiteCollection Maspero, 1968.

Bartminski J. Zalozenia teoretyczne slownika // Slownik ludowych stereotypow jezykowych. Zeszyt probny. — Wroclaw, 1980.

Black M. Models and metaphors studies in language and philosophy. — N.Y.; Ithaca, 1962.

Boroditsky L. Evidence for metaphorical representation: Understanding time // Holyoak K., Gentner D & Kokinov B. (Eds.). Advances in analogy research: Integration of theory and data from the cognitive, computational, and neural sciences. — Sofia: New Bulgarian University, 1998.

Chafe W. Beyond beads on string and branches in a tree // Conceptual structure, discourse and language. — Stanford, 1996.

Closner T.C. Productivity and schematicity in metaphors / T.C. Closner, W. Croft // Cognitive Science. Vol. 21 (3), 1997.

Eko U. A theory of semiotics. — Bloomington: Indiana Univ. Press, 1976.

Fllesdal D. Husserl's notion of noema // Husserl, Intentionality and Cognitive Science. — Cambridge (Mass.), 1982.

Fodor J.A. The language of thought. — Cambridge (Mass.), 1979.

Givón T. Syntax: A Functional-Typological Introduction. Vol. 1. — Amsterdam: J. Benjamins, 1984.

Herrmann Th. Über begriffliche schwachen kognitiver Kognitionstheorien: Begriffsinflation und Akteur-System-Kontamination // Sprache, Kognition. — 1982. № 2.

Husserl E. The crisis of European sciences and transcendental phenomenology: An introduction to phenomenological philosophy // Evanston: Northwestern Univ. Press, 1999.

Huichins E. Cognition in the World. — Cambridge, 1995.

Kintsch W. Memory and cognition. — N.Y. etc., 1977.

Kovecses Z. Emotion concepts. — New York, etc.: Springer Verlag, 1990.

Lakoff G. The cognitive model of anger inherent in American English / G. Lakoff, Z. Kovecses // Holland D. & Quinn N. (Eds.) Cultural models in language and thought. — New York: Cambridge University Press, 1987.

Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor // Antony A. (ed.), *Metaphor and Thought*. Cambridge: Cambridge University Press. Second edition.

Langacker R. W. Why a mind is necessary: Conceptualization, grammar and linguistic semantics // *Meaning and Cognition: A multidisciplinary approach*. — Amsterdam / Philadelphia, 2000.

Langacker R. W. Concept, Image and Symbol: the Cognitive Basis of Grammar. — Berlin, N. Y., 1991.

Langacker R. W. Foundations of cognitive grammar. V. 1: Theoretical prerequisites. — Stanford, CA, 1987.

Langacker R.W. The conceptual basis of cognitive semantics // Language and conceptualization / Ed. by J. Nuyts and E. Pederson. — Cambridge, 1997.

Lyons J., Introduction to Theoretical Linguistics. — Cambridge, 1968.

Majer-Baranowska U. Z historii uzycia terminu Konotacja // Konotacja. Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Bartminkiego. — Lublin, 1988.

Mokienko V. Russische Phraseologie fur Deutsche Lehrmaterial fur Studenten der Slawistik / V. Mokienko, T. Malinski, L. Stepanova, H. Walter. — Greifswald, 2004.

Morris Ch. W. Foundations of the Theory of Sings // International Encyclopedia of Unified Science I. — Chicago, 1938.

Pinker S. Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet. — Munchen: Kindler, 1996.

Rosch E. Principles of Categorization // Cognition and categorization. — Hillsdale, 1978.

Schank R. C. Scripts, plans, goals, and understanding: An Inquiry into Human Knowledge Structures / R. C. Schank, R.P. Abelson. — Hillsdale, 1977.

Schank R.C. Dynamic Memore. — Cambridge, 1988.

Schwarz M. Einfuhrung in die Kognitive Linguistik. —Tubingen, 1992.

Skalicka V. The need for a linguistics of la Parole // Recuel linguistique de Bratislava. — Bratislava, 1948. V. 1.

Smitek Z. Kristalna gora: mitolosko izrocilo Slovencev. —Ljubljana, 1998.

Spaghska-Pruszek A. Inteleki we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej (z problemow jezykowego obrazu swiata). — Gdansk: Wydwo Uniwersytetu Gdahskiego, 2003.

Turner M. An image-schematic constraint on metaphor // Geiger R.A., Rudzka-Ostyn B. (Eds.) Conceptualizations and Mental Processing in Language. Mouton de Gruyter. — Berlin, New York, 1993.

Turner M. As imagination bodies forth the forms of things unknown (review of Raymond W. Gibbs, Jr. The poetics of Mind: Figurative

thought, Language and understanding. — Cambr. Univ. Press, 1994) // Pragmatics and cognition, 1995, vol.3, No 1.

Ungerer F. The linguistic and cognitive relevance of basic emotions // Dirven R. & Vanparys J. (Eds.). Current approaches to the lexicon. — Frankfurt am Main, etc.: Peter Lang, 1995.

Ungerer F. An Introduction to Cognitive Linguistics. / F. Ungerer, H.-J. Schmidt. — London, New York: Longman, 1996.

Violi P. Prototypicality, typicality and context // Meaning and Cognition: A multidisciplinary approach. — Amsterdam / Philadelphia, 2000.

Webster's Dictionary of Synonyms. — Springfield (Mass.), 1951.

Wiersbicka A. Semantics, culture and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations. — N.Y., 1992.

Научное издание

Алефиренко Николай Федорович

«ЖИВОЕ» СЛОВО
Проблемы функциональной лексикологии

Монография

Подписано в печать 16.11.2009. Формат 60×88/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 21,07. Уч.-изд. л. 17,06.

Тираж 1500 экз. Заказ № 179. Изд. № 2039.

ООО «Флинта», 117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, комн. 324.

Тел./факс: (495)334-82-65; тел. (495)336-03-11.

E-mail: flinta@mail.ru; WebSite: www.flinta.ru

Издательство «Наука», 117997, ГСП-7, Москва В-485, ул. Профсоюзная, д. 90.

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «ПК «Зауралье».

640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 106.

E-mail: zpress@zaural.ru

